

ГРАНИ

GRANI

110

1978

Verlagsort: Frankfurt/M, Oktober-Dezember

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

**к литературной молодежи, к писателям
и поэтам, к деятелям культуры
— ко всей российской интеллигенции**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev- Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»



Легко и радостно жить тому, кто ищет в других хорошее, ищет и находит. Исканием своим помогает он тем, в ком ищет, раскрыть и проявить светлые грани души. Но для этого он прежде всего в самом себе должен раскрыть их, должен стремиться к совершенствованию.

Каждый человек — часть органического целого; человечества. Совершенствуется часть — совершенствуется целое. Тот, кто становится на путь Правды, помогает всему человечеству стать на тот же путь. А необходимость этого, может быть, никогда так не была велика, никогда так не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая и ответственная задача стоит перед теми, кто служит Слову — Слову Правды.

*Е.Романов
Грани № 1, 1946*

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXXIII

№ 110

1978 год

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Даниил АНДРЕЕВ – Изменение	5
Л. ДАНИЛЬЦЕВ – В войну, трудную и для собак	36
Давид ДАР – Ленинград. Судьба. Поэт	43
Олег ОХАПКИН – Стихи	52

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

<i>К 150-летию со дня рождения Л.Н.Толстого</i>	
Альберт ОПУЛЬСКИЙ – Вокруг имени Льва Толстого. Расцвет и гибель одного литературного института	58
М. К. – Памяти Евгении Гинзбург	172

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Д. ШТОК – Земля моя родная...	182
-------------------------------	-----

ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

Б. ДЫНИН – Религия и идеология	199
--------------------------------	-----

О РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

От редакции	234
К.П. КРАМАРЖ – Основы Конституции Российского Государства	236

БИБЛИОГРАФИЯ

Б.П.Вышеславцев. Г.П.Федотов. – С.Кирсанов. Современные проблемы западноевропейского общества. – Н.Редриков. Первые четырнадцать лет. – А.Русак. Из тьмы веков. – В.Володин. Трое в разных лодках. – В.Чернявский. Братство гонимых. – Юрий Иофе. Рио-Гранде впадает в Волгу.	254
---	-----

Список книг, присланных на отзыв	274
Содержание журнала с № 107 по 110	275

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Даниил АНДРЕЕВ

Изменение

НАЧАЛО

Ранним утром некоего повторяющегося года Рокин Р. как всегда отправился в Учреждение. Еще до того, как он успел описать každоутренний круг на трамвае, блокнот оказался захлопнутым. Это очень удивило Рокина Р., потому что ранее с ним ничего подобного не случалось. Он проверил веки — они были в порядке, щели между ними оставались вполне достаточны, чтобы обозревать, зрачки (так он увидел в зеркале, которое всегда возил с собой) расширены не более, чем обычно, пленки на глазах не было — стояло ежегодно повторяющееся лето, ресницы были оборваны матерью сегодня столько же, сколь и вчера. Никаких изменений в сопровождающем он, таким образом, не заметил.

Однако записывать становилось все труднее: мир странно сворачивался в трубочку, как увядший лист. Рокин попробовал открывать и поочередно закрывать глаза, но этот эксперимент привел лишь к тому, что с каждым новым открыванием снаружи что-то исчезало — будь то деревья, часть дома или полицейский. Закономерность сказывалась твердо и устойчиво относительно всех.

Из самиздатского сборника, посвященного вопросам ирреализма. Москва, 1975. — Р е д.

Рокин зажмурился и решил дышать глубоко и прерывисто, чтобы отогнать видение или, вернее, невидение... Мир закачался, заколебался вслед за неравномерностью воздуха, зависимого от Рокина, стал столь же неравномерно восстанавливаться.

Сначала появился полицейский с росшим из плеч тополем, уходившим далеко вверх, вершал все это сооружение знак препинания, большой и тусклый; затем возник чужой небоскреб, прозрачный и чистый, во внутренностях его сквозь полупрозрачность можно было отчетливо проследить свернувшийся эмбрион, размером соответствующий утробе... показался передок трамвая, выезжающего откуда-то из-под ног легко раскинувшейся на тротуаре мертвой женщины... вывеска зубного врача приняла странные очертания библейского пророка... какой-то еврей в полуразрушенном парке болтался подобно страху на дереве и плакал судорожно, а может быть, и смеялся одновременно... линия трамвая, извиваясь, как холодная змея, раздвоившаяся в звенящем качании летнего воздуха, насыщенного плотной жарой, утопала в канаве каких-то работ, на краю которой сидел сантехник в одеянии римского кардинала, в кирзовых сапогах и с полуистлевшей сигаретой в зубах; одна рука его была неестественно далеко завернута за спину и покоилась там совершенно недвижно, вторая же почти уже отсохла, — и Рокин с удивлением заметил, что он думает сейчас о том, как же удастся рабочему-кардиналу курить, если обе его руки... Над городом висел густой, толстый, прямой, как пожарная кишка, столб серовато-черного дыма, он был совсем неподвижен, только изредка кто-то высовывался из него с гаечным или разводным ключом в руке и постукивал по его металлической обивке, подавая сигнал на нижние этажи... Рокин понял, что неравномерность дыхания может причинить разрушения, и распался.

Исчезнув, он наблюдал, как восстанавливается

мир в первоначальном своем варианте. Тополь спрыгнул с плеч полицейского на бульвар и застыл там в гордом одеревенении, откуда-то из подворотни выкатилась голова в фуражке, вскочила на шею полицейского и быстро закрутилась по сторонам, устраиваясь поудобнее. В ротовой щели торчал свисток, частично еще кошачий хвост, который медленно растворялся, пертурбируясь постепенно в части лица.

Эмбрион, как развязанный шар, уменьшаясь в размерах, превратился, наконец, в обычного человека, встал на ноги, откуда-то очутился на нем вполне приличный костюм, усы, шляпа, желтые на толстой подошве ботинки, портфель — и полностью заверченный вид служащего заспешил куда-то по своим человеческим делам: в канцелярию или на доклад.

Кардинал, перевоплотившись в рабочего, сплюнул остервенело на мостовую, крикнул, потер ладони и необычайно энергично схватился за лопату.

Еврей, висевший в парке, соскочил с дерева на землю, покрутился, на секунду замер на месте и вдруг исчез, а вместо него возникла пивная палатка. У палатки мгновенно образовалась очередь, а часть кустов на бульваре пропала.

Вывеска зубного врача засмеялась нехорошим смехом, дернулась, жестянно загрохотала, забилась в железных своих конвульсиях и упала на мостовую, превратившись при падении в траурную процессию. Она двигалась медленно и торжественно, перегородив всю улицу. Транспорт стоял, не осмеливаясь гудеть или скандалить. Долго-долго это длилось: гроб на катафалке, человек двадцать вокруг него, все в черном с черными цилиндрами в руках, и громадная, человек сто — сто семьдесят, толпа. Оркестр важно и глухо ухал в мощный барабан своего Шляпена, женщины утирались, мужчины хмуро разговаривали о политике, вполголоса. Над городом повисло блестящим, только что купленным тазом невероятно ослепляющее солнце. На та-

зу у одной из женщин была приколотая ярко-красная восковая роза.

Было холодно. Было жарко. Рокин Р. равнодушно следил, как процессия заворачивает за угол, как постепенно вместе с воздухом растворяются звуки марша, случайно зацепившиеся за деревья, стены домов, фонари и полицейских. Трамвай дернулся и поехал.

„Во всяком случае, — подумал Рокин, — не я один видел это. Многие подтвердят уважительность. Причины. Моего опоздания. На. Работу. Все. Не все.”

Здание Учреждения, где работал Рокин Р., представляло собой неимоверное нагромождение громадных кубов, стеллажей, толстых широких спиралей, цилиндров с узкими длинными отверстиями окон без стекла, параллелепипедов и трапеций из серого и черного гранита. Все было новое, модное, по последнему слову техники, даже без старых прямых лестниц, и потому выглядело несколько неестественным среди милых, обжитых взорами городских домиков, окружающих Учреждение.

Долго, как всегда, шел Рокин узкими и тесными темно-желтыми коридорами, обшитыми фанерными панелями с невообразимыми для их ширины высокими потолками, теряющимися в самих себе... Четырнадцатый переход давался ему уже с трудом, на пятнадцатом он позволял себе немного отдохнуть, несмотря на привычный страх попасть на глаза начальству, а на шестнадцатом его опять же встречал длинный изогнутый транспарант „КУРЕНИЕ — ЛОЖЬ”. Еще через семь пролетов находился кабинет самого Рокина, в котором он работал вот уже два года (до этого он работал этажом ниже).

Этажей было больше, чем лет в жизни Рокина. Это считалось естественным. Вопросов не было. Скорее удивление возникало при вопросах. „А что, собственно, такое?” Поэтому или не поэтому все предпочитали молчать.

Хотя Рокин прекрасно понимал, что молчать можно лишь умея говорить, он осознавал жизнь всех именно как молчание. У него была своя тайна. Но никто не знал о ней. Кроме Департамента. Но там как раз не спешили — они ставили новый эксперимент под кодовым названием „У нас сегодня — месячник реализма” (должно было быть написано „либерализма”, но по традиции написали обратное). Все шло, как шло. Никто не удивлялся печатным буквам: ведь были же когда-то такие, что читали транспаранты! (память прапрадедов сохранила многое).

На письменном столе кабинета Рокина поджидала ежедневная порция — кружка пива, тарелка с сосисками (двумя) и полураспечатанная пачка сигарет. Он без промедления уселся за стол, быстро позавтракал, выкурил две сигареты и занялся делом.

Работа его заключалась в том, чтобы с листа, лежащего слева от него, переписывать на лист, лежащий перед ним, столбик цифр, отнимая от каждой „2”. За это он получал несколько тысяч в год, чем и был совершенно доволен. Впрочем, мало кто был недоволен своей работой в Учреждении, да и те — скорее от собственного безличия. Так и говорили все: „Он безличен, ха-ха!” — все, кто работал в Учреждении, о тех, кто там не работал.

Сегодня у Рокина был особенный день. Часть запланированной на сегодня работы ему тайно удалось сделать вчера, и потому свободный кусок времени он решил посвятить своему второму таинству. Он запер дверь на ключ, что само по себе являлось полнейшей бессмыслицей — двери были стеклянными, — прислушался, потом сел за стол, осторожно извлек откуда-то книгу в кожаном переплете, раскрыл ее и торопливо начал писать на чистом листе бумаги:

„Жизнь для меня стала пыткой (вариант: я еще имею силы, но смертельно болен). Я хочу тебя (вариант: я болезненно раздвоен). Ты далеко (вариант: ты

близко). Ты недостижима (вариант: ты достижима). Я люблю тебя, верь мне... (вариант: Ира, Лена, Коля, Петя, Сема, Брам, Треухов, Сонведеров... далее — см. телефонную книгу за прошлый век, словарь слов, энциклопедию сна и беспамятства)”.

Рокин закрыл книгу, поставил точку на письме, подписался: Рокин Р., — сложил бумагу вдвое и сунул в узкую щель на корешке.

Еще раз полюбовался пурпурной обложкой, на которой золотом было тиснено: „ПРЕДМЕТ — ПИСЬМО И РУКОВОДСТВА. ЭТАЛОНЫ, ВАРИАНТЫ, ВЗДОХИ, МЕНЮ”. Отличная книга — верх достижений современной мысли. Он заплатил за нее полугодовым жалованьем...

Спрятав книгу в стол, он снова принялся переписывать столбики цифр, отнимая от них „2”, с листа, лежащего слева, на лист, лежащий прямо перед ним.

Кому было отправлено письмо, он не знал.

Первые отклонения, которые интуитивно ощутил Рокин Р., заключались в том, что в некий неопределенный момент он почувствовал вдруг какую-то непонятную легкость, и не только в своем собственном теле (это не показалось бы чересчур необычным), а как бы во всем окружающем его пространстве.

Все предметы как будто оставались на своих местах, но необычная легковесность, отмеченная Рокиным, ощущалась довольно-таки ясно. Поначалу он только как бы краем глаза приметил это и не придал ему никакого значения, продолжая заниматься своим делом (семнадцать минус два давало пятнадцать). Работа не требовала больших физических усилий и все-таки изматывала однообразием. И хотя он свыкся и почти перестал замечать нудность своего труда, сейчас мелькнула мысль о переутомлении. Все может быть: давно не отдыхал, работал сверхурочно, иногда и дома, надо посоветоваться с начальником...

Однако когда прозвенел звонок на обед и Рокин облегченно выскочил из-за стола, зацепив ножку стула, удивлению его не было границ — стул упал на пол плашмя!

Да, это был все тот же стул, но утративший свою перспективу. Он лежал плоским листом на полу. Рокин поднял его и сел. Все в порядке. Встал — стул был плоский.

„Странный стул, — подумал Рокин и до того разволновался, что притопнул ногой, — что за безобразие! Подсовывают честным служащим плоские стулья!”

Сам факт отсутствия перспективы у какого бы то ни было предмета до глубины души возмутил Рокина. Он взял стул под мышку и пошел по коридору, решив по пути в столовую зайти в кабинет своего непосредственного начальника с тем, чтобы принести жалобу на глупые и бестактные шутки со стульями, которые позволяет себе кто-то в Учреждении или, может быть, только в его кабинете, но это сути дела нисколько не меняет.

По дороге он не заметил в коридоре никаких странностей, кроме разве того, что дверные ручки стало невозможно рассматривать анфас — они казались плоскими и терялись на фоне дверей.

Сделав такое открытие, Рокин не удивился уже, а только усмехнулся с видом человека, который... „уж он-то все понимает”. Причащения к тайне никогда для него не существовало — он не верил в тайны; поскольку они были не очевидны, их можно было лишь предполагать. Ручки же невозможно предполагать, потому как они ручки („Никаких абстракций!” — всегда говорила Рокину мать-по-здоровью).

Войдя в кабинет начальника, Рокин совсем обомлел — начальник, говоривший в это время по телефону, стоял, повернувшись боком к двери, и походил на прямую, неопределенного цвета черту, словно проведенную кем-то в воздухе. Повесив трубку, черта повер-

нулась к вошедшему лицом и превратилась в строгого начальника.

— А, Рокин, — сказал он, — в чем дело? Что это вы со стулом?

Не отвечая, тот поставил стул на пол, стараясь не прилагать к нему никаких усилий и не придерживать его. Стул остался стоять. Перспектива у него так и не появилась. Рокин сел на него. Все было в порядке. Он даже ощутил задом промятины в сидении (которого не было), появившиеся за многие годы безупречной службы в Учреждении.

— В чем дело? — спросил начальник уже иным тоном, заметив какую-то странность в поведении своего подчиненного.

Рокин молча повертелся на стуле, слегка подпрыгнул, затем внезапно вскочил и резко толкнул стул спиной. Он плашмя упал на пол. У него — чудовищно! — не было перспективы. Рокин посмотрел на начальника. Начальник смотрел на Рокина.

— Ну, — выжидательно сказал он.

— Посмотрите на стул, — сказал Рокин.

— Да, — подтвердил начальник, — это стул.

— Какой? — спросил Рокин.

— Какой? — переспросил начальник. Он определенно ничего не понимал. Рокин схватил со стола пепельницу — в руках она оказалась совсем плоской.

— Вы ничего не замечаете? — спросил он.

— А что я должен замечать? — ответил начальник, с подозрением поглядывая на него.

— Стул! — закричал Рокин. — Посмотрите на стул. И на пепельницу. И на себя. Ощупайте себя. Скажите, как я могу сидеть на стуле, если, — он взял стул в руки и еще раз провел по нему рукой, — если он... фанерный! Лист фанеры. Ведь не будете же вы утверждать, что и вы... фанерный!

Долго и молча смотрел начальник на Рокина, а потом, как будто внезапно что-то сообразив, облегченно

взмахнул плоской рукой и выдохнул довольно громко: А!

— Слушайте, Рокин, — твердо продолжал он, — вы знаете, как я к вам отношусь. Вы отличный работник, и мне совсем не хочется вас терять. Лучше вас никто не справляется со своими обязанностями. По правилам я должен был бы немедленно позвонить в Департамент и поставить их в известность о том, что вы здесь вытворяли. Но я не буду этого делать. У меня сын вашего возраста, и к тому же я вас все-таки понимаю. Лето, жара, переутомление. К сожалению, я не имею возможности дать вам преждевременный отпуск, а по очереди он вам следует лишь через два месяца, поэтому я предлагаю вам денек-другой отдохнуть, успокоиться, прийти в себя... Поезжайте за город, на речку, поваляйтесь запросто на травке, понюхайте цветы... И уверяю вас — все пройдет. Обратитесь — неплохо бы! — к матери-по-адекватности (конечно, не к официальной, я дам вам адресок), принимайте, наконец, таблетки... знаете, какие... — он полез в стол и когда нагнулся, Рокин увидел, что это сгибается пополам лист какого-то плоского материала.

— Ага! — воскликнул начальник, — вот. — И прочитал надпись на этикетке, — „Адекватин”. Сильнейшее, говорят, средство. Не выдается даже по рецептам. Исключительно по знакомству, импортное. Надеюсь, это останется между нами. Хотите, уступлю вам по-дружески ампулу? Всего полторы тысячи. Дороговато, если учесть ваш заработок, но безотказно. Ну как, идет?

— Но позвольте! — возмутился Рокин. В мозгу его начинались (впервые за последние несколько лет) смутные движения. Казалось, плотная и тяжелая, как ртуть, жидкость перекачивается от темени ко лбу по левой стороне черепной коробки. — Позвольте... Ведь действительно все плоское!

Он в один прыжок подскочил к столу и схватил начальника за руку — она была сухая, плоская, деревянная на ощупь.

„Фанера!” — ужасом пронеслось в голове Рокина, и, повинувшись неясному импульсу, он повернулся, выскочил вон из кабинета и быстро побежал по коридору, не слыша возмущенных криков начальника.

Он ничего не понимал. Все казалось более, чем странным. На бегу он пинал двери и перегородки, и они рушились от одного только толчка, — все было из фанеры, настоящей трехслойной непрессованной фанеры.

Удивленные и испуганные лица сотрудников, сидящих в ящиках кабинетов, поворачивались на его грохот — и, вытянувшись, смотрели ему вслед.

Обогнув угол, он со всего хода налетел на такого же торопливого служащего. Раздался сильный треск — и встречный человек сломался пополам у талии, развалившись на два куска фанеры у ног Рокина. На одном был нарисован человек от подошв до пояса, на другом — верхняя часть туловища.

Ощупав искаженное болью лицо нарисованного, Рокин вскрикнул — все было из фанеры! — и упал сам. При падении послышался характерный — сухой и деревянный — треск.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

На бескрайнем цельном листе фанеры было нарисовано: белые кучевые облака, желтое летнее солнце и крохотный самолет. Все остальное было покрашено небесно-голубым.

Самолет медленно передвигался по листу. Если приглядеться — можно было заметить, что он это делает рывками, как стрелки вокзальных часов. Плоские деревья, покрашенные в зеленое, стояли по краям деревянного бульвара, а сзади них под небольшим углом торчали тонкие подпорки.

Рокин осторожно подошел к одному дереву, огляделся — нет ли кого поблизости, и рывком прыгнул за

дерево. Подпорка, похожая на узкую рейку, была из прессованного тряпья и упиралась в незакрашенный фанерный щит.

Неожиданно где-то рядом послышался полицейский свисток, побежали какие-то люди, мгновенно образовалась бессмысленная толпа, мечущаяся в панике по бульвару. Рокин незаметно и благоразумно смешался с ней.

— Вы не видели человека, прыгнувшего за дерево? — спросил его какой-то полный пожилой мужчина, пробегая мимо.

— Нет, не видел, а что? — спросил тот.

— Вот нахал! — бросил мужчина, весь красный от злости, а по лицу текли нарисованные капли пота, — и побежал дальше.

Сквозь толпу себе прокладывал дорогу полицейский, высокий громила, уверенно расталкивающий любопытную публику.

— Где он? — спрашивал он как бы самого себя.

Толпа волновалась.

— В чем дело? Что случилось? — спрашивали одни.

— Кто-то прыгнул за дерево!!! — кричали им.

— Боже мой, какой ужас!

— И куда полиция смотрит!

— Господи! У меня ребенок где-то здесь на бульварах гуляет!..

— Убили ребенка! — закричали в толпе.

Раздался дикий визг. Рокин слышал, как трется фанера о фанеру. Скрип, треск, деревянное шуршание и легкий — деревянный же — стук.

Полицейский рапортовал кому-то в штатском:

— Когда я находился на своем посту на другом конце бульвара, неизвестная личность забежала за дерево и, по рассказам свидетелей, — он понизил голос, — попыталась...

— Замолчите, — оборвала его фанера в штатском. — Болван! Ищите!

А вдоль улицы выли гудки сирен, и репродукторы хрипели со всех сторон:

— Достопочтенные граждане! Среди вас находится человек, осмелившийся забежать за дерево. Его неадекватность грозит спокойствию общества. Вы должны принять все меры для того, чтобы помочь нашим органам поймать и изолировать несчастного. Знайте: он не отвечает за свои поступки — преступник тяжело болен. Будьте милосердны!.. Приблизительные приметы неадекватного: странный вид, растерянность, бесцельность следования, блуждающий взгляд, нервная торопливая походка. Будьте осторожны — преступник может оказаться заразным!

После этого сообщения в толпе поднялся ужасный треск, люди бросились в разные стороны, и через минуту бульвар опустел. Остались трое: полицейский, лист фанеры в штатском и громоздкий жестяной репродуктор. Он тихим голосом отдавал какие-то распоряжения штатскому, но внезапно круто повернулся на месте и уставился на спокойно стоявшего невдалеке Рокина.

Полицейский медленно, словно крадучись, громко хрустя оставленными толпой щепками, начал приближаться к Рокину. Тот вздрогнул и побежал. Репродуктор, перемахнув через бульварную изгородь, вскочил в машину, она рванулась и понеслась. Тогда Рокин выхватил из кармана спички и загремел ими в воздухе.

Машина резко затормозила и болезненно-жалостно закричала гудком. Полицейский бросился врассыпную. Штатский упал плашмя на тротуар и сыпал себе на голову щепки. Вскоре они совсем закрыли его.

И Рокин смело запалил дерево.

Треск горящей фанеры перекрыл вопли ужаса. Повсюду захлопывались окна и гремели засовы на запираемых дверях. На мгновение у него возникло желание (впереमेжку со смехом) поджечь всю улицу, но сознание своей силы успокоило его, и он неторопливо двинулся дальше. Тут ему пришла в голову странная

мысль о пожарной машине, — и он опять побежал во весь дух.

А из-за угла уже выезжала пожарная машина из листового железа, в ней сидели жестяные пожарники. Заметив Рокина, они устремились к нему. Он закрыл глаза и исчез.

Пожарники долго топтались на том месте, где он стоял секунду назад, и их короткие, стриженные под бобрик с проседью волосы топорщились и пылали красными огнями. Штатский плакал, валяясь у их ног.

— Как же их не сдувает? — подумал Рокин и, подойдя к табачному киоску, бросил на прилавочек фанерную копейку. — Спички, пожалуйста.

Продавец, старый испуганный еврей, тот самый, что висел на дереве, забился куда-то вниз и жалобно захрустел.

— Ну! — повелительно зарычал Рокин. Продавец застонал, разделился на три тонких фанерных слоя и с заискивающей улыбкой начал цепляться сам за себя.

— Боже мой, — запричитал он, — у меня жена, дети, один другого меньше...

— Спички давай!

— Да нет же, нет, — плакал старик крупными рисованными слезами, — нет их у меня!..

— Врешь! — крикнул Рокин, — у тебя все есть.

Старик задрожал и вновь сцепился в трехслойный лист, что для него было большим облегчением. Но вдруг Рокин вспомнил заклинание; и не успел он договорить его до конца, как старик распался и исчез. Но спичек у него действительно не оказалось.

Стоял чудесный летний фанерный день.

Наступил вечер, а Рокин все брел по каким-то закоулкам, съездившись, засунув руки в деревянные карманы. К фанерным фонарям были приклеены тонкие светлые лучи. На фанерном небе сияли маленькие фанерные звездочки, обтянутые блестящей синей фоль-

гой. Стараясь не особенно греметь своими деревянными ботинками, Рокин шел по направлению.

Вдруг навстречу ему из-за угла появился невысокого роста пожилой человек и остановился, увидев Рокина. Тот тоже остановился и на всякий случай сунул руку в карман, где оставалось еще несколько спичек. Человечек же, внимательно взглядевшись в его лицо, тихо спросил, словно утверждая:

— Это вы сегодня прыгнули за дерево.

Поняв, что он полностью разоблачен, Рокин ответил сдержанно и спокойно:

— Я.

— Слушайте, — торопливо зашептал человечек, испуганно оглядываясь, — не делайте больше этого. Если вас, конечно, не поймают раньше, чем вы успеете сделать это в следующий раз. Но ничего! Некоторых, говорят, по несколько лет ищут.

— А почему?

— Но подумайте сами, — отвечал человечек, — уж коли вы засомневались в подпорках, так они совершенно определенно — тряпочные! Чего и проверять! Зачем? Молчали бы себе, жили бы тихонечко в свое удовольствие, и никто бы о вас никогда не догадался...

— Я уже выдал себя раньше, — махнул Рокин, — когда еще ничего не понимал.

— А, — вздохнул незнакомец, — это хуже. Ну ничего, не так все это и страшно. Полежите годика два, а потом сделаете вид, что верите — вот все и обойдется... И не думайте, что я вас успокаиваю — со мной тоже был подобный случай в свое время. В молодости. Я хорошо понимаю вас.

— Я слышал, что там не по годiku, а по пятнадцать лежат, — вставил Рокин.

— Пятнадцать отнять два будет тринадцать.

— А что у вас было? — в голосе Рокина зазвучали нотки недоверия.

— Почти то же, что и у вас, — не задумываясь отвечал

незнакомец; и настороженным шепотом продолжал: — у них стали исчезать части тела, чаще всего — головы. Я сразу смекнул, в чем дело и, разумеется, промолчал. Не то, что вы: не бросился бегать по улицам и вопить, что у людей нет голов, или сердец, или чего там еще. Нет, я знал и молчал. А однажды утром увидел, что у меня самого нет ног. Да что там ног — вообще ничего не было ниже пояса! Вы представляете! Бог с ними, с ногами-то, но... Вы понимаете, о чем я говорю!

— Да, — безразлично кивнул Рокин, — понимаю. И что же дальше?

— А дальше я совсем обезумел, ведь у меня молодая жена была, Ирэн! Светлый идеал женщины, богиня да и только, а как же я... Д-да. Тоже побежал по улице, разрыдался, как мальчишка, в магазине „Металл” пилу стал требовать. Нет, чтоб сразу же пойти к матери-по-восприятию, или в крайнем случае к матери-по-патологии... Так ведь угораздило же к людям кинуться! Но они же, сами знаете, без глаз. Все абсолютно слепые. Ничего не видели.

— Они фанерные, — хмуро заметил Рокин.

— Фанерные, фанерные, — успокоительно согласился человечек и продолжал, — ну и попал, разумеется, в... сами понимаете, куда. Десять лет и четыре месяца (отнять два, само собой). Ирэн за это время успела приобрести вторые глаза. Самое ужасное, что у нее — а я любил ее куда сильнее себя самого — тоже не было глаз. Вы представляете?! Руки были, ноги были, сердце — о, какое сердце! — тоже было, даже голова (или что-то вроде этого) была! Понимаете? А глаз не было! Ужас! Она ничего не видела... Мало того, что вообще ничего не видела, так ведь и меня — только наощупь!.. Да... И за это время она сумела приобрести себе вторые глаза — этакий милый мужчина, моложе ее, правда, но неплохо зарабатывает, да и любит ее, и она вроде... Я уж, конечно, как вышел, так и не претендовал ни на что, — разве только на небольшое денежное вспомоществование... так и живут они тихо-мирно...

— А вы? — поразился Рокин.

— И я, — радостно захихикал человечек, — тихомирно... Изучаю иностранную литературу, анализ и, так сказать самоанализ... Печатаюсь иногда — анализ только, разумеется... Небольшое, но все же вспоможение. То есть я хотел сказать — достижение. Это ведь, молодой человек, самое главное — никого не трогать. Тогда и вас никто не тронет. А вы — за дерево. Да как же вы могли!.. Ведь это же — н е д о в е р и е ! Они вас за это мало того что... упекут куда надо, — так и вообще затопчут! насмерть! Времена-то теперь изменились...

— Послушайте, — доверительно зашептал Рокин, нагнувшись к самому лицу плоского человечка, — но ведь они действительно фанерные, а? И если бы хоть пустые внутри, но — объемные, сколоченные трехмерно, это куда ни шло, а тут ведь — плоские! Абсолютно плоские! Вот вы, например, из фанеры, да? признайтесь! — Рокин схватил незнакомца за рукав и потянул, — рукав захрустел.

— Фанерный, фанерный, успокойтесь, — ласково заговорил человечек, — такой же, как и все, как вы и как другие...

Озаренный светлой идеей, Рокин выхватил из кармана спички, в одно мгновение зажег одну из них и подпалил заверещавшего незнакомца. Тот ярко вспыхнул и тут же сгорел.

В окнах домов появился рисованный свет, заматались тревожные тени, взвились к ночному небу жуткие вопли и крики. Рокин бросился в сторону и заспешил.

Странно изменился за эти несколько часов Рокин Р. Он стал более сильным, спокойным и хладнокровным. Уверенность в себе, также считавшаяся преступной среди фанерных, зависимых даже от ветра, крепла в Рокине одним из проявлений его нового существа. И нечто иное, неведомое раньше, мучило его — устрем-

ленность. Куда?.. Ему еще никогда не приходилось задумываться о цели.

Приблизившись к своему дому, одиноко торчавшему посреди пустыря, где ветер постоянно дул в межфанерные щели и был каким-то тяжелым, плоским, деревянным, Рокин осторожно обошел кругом его, прислушиваясь и приглядываясь, но ничего подозрительного не обнаружил.

Тогда он решился и, распахнув дверь, вошел. Тут же в прихожей зажегся фанерный искусственный свет. В слепленном из кирпичей не толще фанеры (производства артели добровольных инвалидов по изготовлению старины из фанерного папье-маше) камине ярко и уютно задержались нарисованные светящейся желтой и красной краской языки фанерного пламени. В некоторых изысканных домах большого света было модным и пикантным добавлять в камин мелкие опилки, выкрашенные в фиолетовый цвет.

Опустившись в бесперспективное кресло, Рокин уронил голову и устало поник. Теперь его ждала томящая неизвестность. У него не было сил даже сварить фанерный кофе. Тяжелые, непривычные мысли угрюмо шевелились в его мозгу, усиливая оцепенение тела. Несмотря на пылающий камин, было холодно.

Дверь открылась без стука и вошла Лена-Маша-Ира-Валя-Доротея-Света-Еще Раз Лена-Оля-Катя-Вторая Ира и Сима (последнее — самое противное). Она села в кресло напротив Рокина, поставила на пол бутылку коньяку и улыбнулась довольно естественно:

— Здравствуй, милый. Что с тобой сегодня — депрессия?

— Слушай, — помолчав, сказал Рокин, — тебе никогда не казалось, ну хоть на одно мгновение, что все люди... плоские... скажем, фанерные, а?

— Что за странный вопрос! — Она весело рассмеялась. — Ну конечно же! они просто неинтеллектуальные.

— Вот как, — произнес он.

— Давай лучше выпьем...

— А что если, — он поднял на нее задумчивый взгляд, — я тебя возьму и...

— Ради Бога! — перебила она.

— ... и сожгу, — закончил он.

— Съешь, родной, — попросила она.

„Живая ли она? — думал Рокин, медленно жуя грудь, — черт, а может, рожательница просто? Или затухшая цивилизация? Под влиянием природных и прочих тяжких условий... — Нет, — думал он дальше, — если все умершее должно возродиться, то зачем же умирать? Но ведь бывают же такие — сегодняшней незнакомец рассказывал, что все понимают, хотя бы наощупь. Что же э т о ?..”

Они неторопливо раздевались, плавно совершая в мягком мраке дома последний танец человечества. Они терлись друг о друга, поцелуи замирали на губах, оставаясь на одежде. Они впадали в странный транс, сон смерти, апофеоз чистой любви... И опять продолжали раздеваться, ощущая каждую секунду близость наслаждения...

Вдруг Рокин вскрикнул и вскочил на ноги. По бедру текла кровь, а в пределе его мечтаний виднелась смятая постель. Он тряхнул головой — перед ним лежала плоская фанерная фигура. С невероятной злобой он ударил по фанере и заорал:

— Убирайся прочь! Пошла вон, проклятая деревяшка! Вон из моего дома, квинтэссенция обмана! Прочь, чертова кукла!

— Но почему? — Она стояла перед ним голая, с распущенными волосами, и он, взирая на этот шедевр столлярного искусства, на секунду усомнился в своем зрении, но вскоре пришел в себя и ответил, совсем тихо:

— Потому что мне больно...

Она ушла, и он улегся спать. После всех перипетий такого страшного дня он уснул мгновенно, словно погрузился в прохладное озеро, блаженно раскинувшись на постели.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Трое жестяных верзил держали его за руки и за ноги, а четвертый, весь в белом, стоял и глубокомысленно размышлял. Обдумав все, он дернул массивной чугунной головой и сказал резко с металлическим скрежетом:

— Повели!

Верзилы вынесли Рокина из дома и запихнули в пожарную машину, где из фанеры был только шофер, — он то и дело испуганно косился на преступника.

А тот, связанный тонкой стальной проволокой, лежал неподвижно на носилках и с ненавистью смотрел на чугунного, который неуклюжими руками-болванками вертел его коробок спичек.

Это был маленький, но объемный блокнотик с привязанным к нему золотым карандашиком: при одном лишь прикосновении его к бумаге возникала искра, и вслед за ней появлялось легкое пламя, которое потом при желании можно было превратить в костер — из тех, на которых жгли книги. Рокин пользовался этой штукой только для себя — утонченное наслаждение, получаемое им при небольшом самосожжении, было его тайной. Так как наркотики давно были запрещены Муниципалитетом и использование их преследовалось по законам Департамента, Рокину приходилось скрывать и блокнотик, и карандаш.

Еще в детстве мать-по-здоровью предупреждала его о том, какой вред приносят маленькие костры извращенцев не только им, но и всему обществу. Позже, когда Рокин достиг совершеннолетия, ему удалось однажды, скорее из спортивного интереса, чем из особой какой-то патологической наследственности (война, смерть, голод, сифилис), из обыкновенного, присущего всем людям, любопытства попробовать огонек самосожжения и сладостную боль, и неопишемое счастье, и полное блаженство, испытываемые при возрождении...

Даже разговоры об этом были запрещены на основании указа Муниципалитета и рассматривались как устное хулиганство, выпад в адрес общества, основным принципом существования которого считалась стабильность.

С того момента — самой первой своей смерти, он уже не мог жить без тайного огонька, без страха и ужаса перед мгновенной смертью и моментальным возрождением из ничего. Иногда в результате чрезмерности пользования наркотиком возникали неполадки: то мир начинал разрушаться, то люди менялись местами с неживой природой, — блокнотик ведь не обладал человеческим разумом, он был просто-напросто счетно-вычислительной машиной, сконструированной на новой основе — по принципу генератора случайностей на пятнадцати миллиардах кристаллов. Миниатюрность его выполнения могла сравниться лишь с гармонией чертежа трех простейших компонентов: круга, треугольника и прямой...

Чугунный человек в белом пристально рассматривал этот шедевр, тупо и удивленно вертя его в своих металлических пальцах.

— Осторожнее! — крикнул Рокин.

— Что еще! — тут же ответил один из жестяных; чугунный не обращал на Рокина ни малейшего внимания.

— Сломаете! — стонал Рокин, извиваясь всем телом под проволокой.

— Ничего, — с издевкой в голосе успокоил его жестяный, — тебе его все равно теперь уже не видать, как своих ушей...

— Да не в этом дело, — умолял Рокин, — это же бесценная вещь!

И тут же бесценная вещь хрустнула в пальцах чугунного. Рокин вскрикнул. Чугунный, наконец, обратил на него внимание. Глаза его — две выпуклости серебристого жидкого металла, похожего на ртуть, — вонзились в Рокина жгучим холодом сиреневой фоль-

ги. Он задохнулся и со все возрастающим ужасом смотрел на две дырки в чугунной болванке, откуда изливался холодный, неживой свет. Сияние все росло, крепло, становилось слепящим... Острый холод пронзил Рокина насквозь, и он ощутил, как опустела голова, а тело словно исчезло в своей легковесности, во всяком случае, он его не чувствовал. Спокойствие и полнейшее безразличие овладело всем его существом...

В этом состоянии абсолютного равнодушия он совершенно отчетливо и беспристрастно наблюдал окружающее.

Люди на улицах спешили по своим делам: кто в магазин, кто в Учреждение, кто в гости, кто домой, — и лишь некоторые из них с интересом оглядывались на пожарную машину.

Ответственные за естественность мира уже снимали, стоя на длинных лестницах, фанерные лучи с фонарей, двое из них на воздушном шаре болтались под самым „небом”, заменяя темно-фиолетовую окраску его на голубую. Снизу им подали фанерный круг солнца, и они закрепили его на веревке невысоко над горизонтом. Рядом повесили несколько облаков, в корзинке спустили звезды, подвесили пару самолетов и отправились дальше, в сторону пригородных деревень: там по расписанию должен был пройти дождь.

Толстый резиновый мешок с дождевой водой тяжело болтался в сетях под корзинами воздушных шаров. Несколько рабочих приступили к ремонту столба дыма, торчащего над городом, — в газетах немало писали о безалаберности Муниципалитета, не сумевшего правильно поставить реставрацию знаменитой городской достопримечательности. Рабочий в кардинальском облачении почти по голову скрылся в канаве со своей лопатой: здесь велись исторические раскопки. В Учреждении уже была открыта парадная дверь, в которую толпой валили служащие.

Холодным и безразличным взглядом озира́л Рокин

жизнь мира и без блокнотика совсем не чувствовал себя преступником. Убедившись, что больной успокоился и состояние аффекта миновало, чугунный заговорил тоном явного превосходства здорового и честного служащего:

— Вы совершили еще одно преступление против общества — к вам ходила незарегистрированная Департаментом женщина. Что вы с ней делали по ночам?

— Стихи читали.

— Как ее имя?

„Пожалуй, нет смысла скрывать, ведь она уже мертва”, — подумал Рокин и ответил: — Лена-Маша-Ира-Валя-Дора-Света-Лена-Оля-Катя-Ира-Сима... — Чугунный сразу же сделал запись в фанерной тетради.

— Так, — сказал он, показывая остатки блокнотика, — на какие средства и где был приобретен вами этот аппарат?

— Сам сделал, — отпарировал Рокин. Присутствующие в машине разом отшатнулись от него. Чугунный казался шокированным.

„Лет двадцать не меньше, — тоскливо подумал Рокин, — лучше было бы сказать, что на улице нашел или в канцтоварах купил...”

— Кому вы писали письма в рабочее время?

— Ей, — нехотя отвечал он, приводя в замешательство пожарников.

— Упущение, — пробормотал про себя чугунный, с озабоченным видом записывая что-то, — столько времени, столько преступлений... и ничего не знали... докладная... форма... содержание... гербовая печать... подпись...

Приехали. С привычной сноровкой жестяные подхватили Рокина и внесли в камеру, представляющую собой пространство, окруженное полем „безмеры” и „безвремени”, кусок пустоты, где единственным существом был новый узник.

Замысел пытки был тонок и безжалостен: здесь че-

ловек оказывался лишенным всяческой информации. Изредка появлялись благодетели — приносили апельсины и сигареты. Мало того, изоляция в конечном пункте была рассчитана на то, чтобы со временем произошло полное отъединение себя от самого себя же. Это и называлось исправлением — достижение таких результатов, при которых человек фактически переставал существовать в собственных ощущениях. Иногда для этой цели пациента держали в камере лет десять-пятнадцать-двадцать, а то и всю жизнь (некоторые долго не хотели расставаться с собой).

Тяжелее всего приходилось тем, что от рождения обладал иным цветом глаз. Редко случалось, чтобы они выходили из своего вечного заключения. Чаще всего они до самой смерти оставались в углу камеры, скорченные, неподвижные, глядящие в одну точку и не видящие ничего...

Первые дни жизни Рокина в камере ознаменовались полнейшим одиночеством. Позже стали появляться различные видения. Они выползали из каких-то углов, из белесой пелены тумана беспространства-бесвременности, садились, полупрозрачные, рядом с ним и шелестели мертвыми воспоминаниями — тени странного, чуждого, трансцендентного мира... Далеко не всем удавалось понять их. Рокину это давалось с трудом. Принцип их существования можно было предполагать только в самых общих чертах, знания же никакого не было — что можно ощутить, если закрыт от мира?

Некоторые видения казались вполне полноценными — объемные, живые, они имели способность беседовать на самые различные темы, говорили много и чрезвычайно умно, но за всем этим явственно чувствовалось, что они сами не понимают кому, зачем и почему они все это говорят. Стена бессмысленности вечно воздвигалась перед ними тяжким упреком и бесконечным напоминанием об их убогости и никчемности.

Многие из них веровали и носили на груди малень-

кие таблички с надписями на каком-то романском языке, но мало кто из них читал эти прелестные картинки деревянного прошлого, а если и читал, то подобно усердному школьнику, зубрящему свой вечный урок...

Один дух постоянно ползал по стене, исписывая ее нескончаемыми формулами, цифрами, вычислениями, чертежами — уродцами Гармонии, разорвавшими ее круг и выскочившими в реальность. Двое других переводили толстый, в пятнадцати томах, роман на язык поэзии, зарифмовывая строчки, — невозможность общего ритма мучила их до истерических приступов рыдания и битья головой об стену. Остальные сидели в клозете, курили и вспоминали свое счастливое прошлое.

Сам Рокин, устроив вокруг себя двадцатичетырех-часовую ночь, все время писал что-то, не замечая, что каждое, наступившее в галлюцинациях, утро исписанные листки исчезали куда-то. Но ему было все равно, судьба написанного не волновала его, ведь впереди было так много времени и бумаги! Однажды только закралось в душу страшное подозрение, что он может стать бумажным... но он вовремя отогнал эту глупую мысль. Еще раз с ним случился приступ, и он попытался пробить окружающую стену и наткнулся на тривиальную записку, приколотую ржавой кнопкой ко лбу скелета: „Ничего не выйдет, я пробовал тоже”. И он понял, что, узрев хоть раз внутренние рамки своего сознания, он уже никогда не вырвется из них.

Тогда он оставил всяческие попытки освободиться и начал жить спокойной заурядной жизнью деревянного дома. Ел, спал, выходил на прогулку, думал о погоде и политике, интересовался хоккеем, стал видеть во сне голых девушек, и остальные больные сделались более близкими ему. В это время и произошло первое явление матери.

— Вы как, онанизмом не брезгуете? — спросил он, оправляя на себе белый халат с вычурно вышитым вензелем „М”.

— Вы кто? — удивился Рокин, откладывая в сторону газету „Спорт”.

— Зовите меня просто мамой, — мило улыбнулся „мать”, присаживаясь, — итак, как самочувствие? температура? бессонница не мучает?

— Не знаю, — хмуро отвечал Рокин, — спросите об этом себя самого.

— Да что вы! — деланно изумился мать, — разве можно задавать вопросы себе самому? Это ведь приводит к нехорошим последствиям... как вас, например... и других...

Рокин проглотил комок горечи, подступившей к горлу, и, не отвечая, уставился в стену, за которой смутно маячили чуть видимые очертания стоящих на всякий случай жестяных санитаров.

— Вы понимаете меня? — повторил мать.

— Да... понимаю, о чем вы говорите, — задумчиво произнес Рокин, — там обитали нормальные, полноценные хотя бы на вид, люди... правда, они слегка как бы не существовали, но здесь... кто был здесь? Кроме симулянтов, вон тех, фанерных.

— Ну, они и не так плохи. Конечно, кое у кого краска пооблупилась или там спина растрескалась, да ведь это же дело поправимое — небольшой ремонт...

— Вот почему у вас так переполнено...

— Что поделать, — искренне вздохнул мать, — нервный нынче век... переутомление принимает просто массовые формы.

— А содержание?

— Гербовая печать, — ответил мать и поперхнулся. Рокин рассмеялся:

— Снимите очки. Ртуть все равно видно.

Мать рассердился и закурил сигарету. Несколько

минут он молчал, потом полез внутрь, покопался и вновь включился:

— Все в порядке. — Сделав тембр немного помягче, он продолжал: — А скажите, пожалуйста, это правда, что вы сами изготовили этот... предмет?

— Да, — решительно отвечал Рокин, — сам.

— А чертежи где же взяли?

— Здесь, — сказал Рокин, сжимая верхнюю часть головы и показывая сложную схему устройства своего мозга. Мать отшатнулся.

— Боже мой! — воскликнул он, всплеснув руками, — какой ужас! закройте немедленно! Как сильно вы больны! Какие муки! Разве можно?! Какие кошмары!.. женщины по ночам снятся? или мальчики?.. а вы не брезгуйте, это оздоравливает. Если бы у вас была зарегистрированная в Департаменте девушка, мы могли бы (при вашем хорошем поведении, разумеется) разрешить вам свидание... Но увы! ее нет. Вы были очень непредусмотрительны. В таком случае, пользуйтесь тем, что есть. Ведь туалет, признайтесь, у нас роскошный. А? Кафель, стекло, бетон, библиотека!..

— Слушайте, чего вам нужно? — устало спросил Рокин, откидываясь на спину.

Мать вынул фанерную тетрадь.

— Фамилия, имя, отчество, дата изготовления, печать, подпись, квадратный штамп, водяные знаки и прочие данные...

— Водяные знаки, — перебил Рокин, — водяные жуки... водяные крысы... Ну чего я вам сделал? Чего вам от меня надо? Я ведь прекрасно все соображаю...

Мать сначала оторопел от его жалобного хныканья, но тут же взял себя в руки и ответил спокойно и даже торжественно:

— Вы неадекватны, Рокин Р. Вы не можете жить в нашем обществе. Вы социально опасны. Мало того, что вы сожгли человека, вы сожгли еще и дерево, перед этим прыгнув за него и схватившись там за... Э... дерево!

Рокин уныло глядел в пол и почти не слушал пустую болтовню матери, которая, оправляя оборки платья и натягивая съезжающий набок чулок, рассказывала об успехах младшенького братца в училище, о том, что Неллочка выскочила-таки замуж, Петр Петрович помер от пережору, а на улице Девятого пса нашли вчера труп собаки, совсем свежий...

— Мам, — внезапно перебил ее Рокин, поворачиваясь к окну, — тебе не казалось странным мое имя?

Мать испуганно смотрела на него, бледнея от горя, слезы наворачивались на ее громадные голубые глаза.

— Что ты, Роки... что ты, милый... — бормотала она, отодвигаясь от него.

— Ведь послушай, — продолжал он, не обращая на нее никакого внимания, — послушай, было бы совсем неплохо, если бы люди чаще вслушивались в свое имя...

... Каждый человек сам довлеет над собой, сам своя предопределенность. Возможно ли изменить себя? Неизменность: верность или предательство? Но если я в себе, почему я не свой. Ведь когда я открыт — я большой эгоист. Все, что вокруг, — для меня. Но ведь и я, Рокин Р., исчезаю при максимуме меня, потому что я дан... кому? Его нет. Может быть, себе? А где я? Выше себя — я? Нет, не докричаться, не увидеть — каков должен быть... все впотьмах, все наощупь...

Чувствуешь шершавость стен — медленнее... Трах по голове — стой! Еще раз трах! — назад! Стой, тебе говорят, здесь уже был... не то ты, не то кто-то раньше, лет триста или пятьсот назад. А может — тысячу... Пещера старая, и знали ее давно, за две тысячи лет изменение небольшое — понарыли нор, ходов и лабиринтов, а выхода не нашли... Говорят, все ищут, ищут... А куда выход-то — вот самый непонятный вопрос... Есть ли он вообще?

Если бы не блокнотик, найденный в темноте, трещал бы сухим деревянным треском всю жизнь. А это

так скучно. Особенно, если ничего не видно, кроме пространства, нарисованного на кусках фанеры...

И время запрещено, нет не Муниципалитетом — ему плевать на время, он измеряет время иными рамками — целями (настоящее меряется будущим)... Время запрещено фанерой. Вот что ужасно. И всех, кому приходит в голову, что фанера — это, собственно, только... фанера и не более — быстро хватают жестяные и сажают в камеру отрешенности...

А что если рухнут от соприкосновения с истинным фанерные декорации — что станет с миром? И каков этот мир, если он может рухнуть от одного более глубокого глотка — кто рожден глотнуть! — звездного ветра? Кто-то среди нас вздохнет сильнее обычного, изменится баланс давления, усилится напор пустоты — и рухнет все...

— А вы не брезгуйте, не брезгуйте, — залопотал мать, сладко почесываясь, — туалет у нас один чего стоит! Кафель, стекло, бетон, библиотека... Дюма, Элиот, Грины, Камю, Ромютекс, Купаты, Грибы, Цинандали, Яйцо — под майонезом, Салат — столичный... А если что — санитарочку окрутите, они у нас понятливые, знали на какую работу шли... Ну и премиальные за это... надбавка... за тяжелые условия. А не выйдет, так и аминазин можно, кубика четыре для полного удовольствия... Ведь все ж это в ваших интересах, так сказать, на благо общества... К тому же медицина должна быть гуманной...

Но откуда этот страх, это почтение? Оттого, что каждая смерть — настоящая — пробивает брешь в фанере декораций? Вам бы — вечную жизнь! И много книг. И много бумаги. И один письменный стол, одну жену и много детишек, маленьких ублюдочков на радость людям... А задохнись ты в своем кабинете! Проклятие всякому, осмелившемуся умереть! Осмелившемуся умереть не по расписанию Департамента...

Что? Что вы мне тычете благодарностью? Какого дьявола я должен быть кому-то благодарен, если за всю жизнь никто ничего мне не сделал? Я не просил вас... Не навязывался... Так увольте же меня от этого дерьма! Еще пару страдающих ублюдков на сцену? Сначала в роли младенцев, затем — детей гения, а потом... отцов и матерей? Жесть и фанера, фанера и жесть... Нет, я не хочу ничего понимать, если понимание обязывает к смирению. Нефанерен не тот, кто понимает, что все из фанеры, а тот кто сжигает себя и все!.. Остальные — каша опилок...

Прошел год. Рокин до того опустилсЯ и размяк в своем заключении, что ночами писал одни стихи, причем только гекзаметром. Стихи были из тех, что через два-три дня после написания становятся непонятными самому автору. Во время очередного явления матери Рокин потребовал однажды вынесения обвинительного приговора.

— По закону вы не имеете права держать меня более полугода без суда и следствия! Предъявите обвинение! Покажите решение присяжных заседателей! Где обвинительный вердикт! — кричал он, все более и более распаляясь.

— Да сидите вы! — рывкнул мать. — Как вы мне надоели своим визгом. За последние четыреста лет я не встречал ни одного такого беспокойного больного. Просто наказание какое-то!.. У вас же все есть. Чего вам еще надо?

— Хочу знать, в чем меня обвиняют и постановление судьи, — твердо ответил Рокин.

— Все будет предъявлено вам после окончания следствия и заключительного постановления судебной коллегии в письменном виде, в семи экземплярах, — официально ответил мать и вытащил из кармана свернутую трубочкой бумагу. — А сейчас подпишитесь здесь и здесь. Не читая. Так. Печатными. Теперь палец приложите. Так. Отлично.

Он брякнул массивный квадратный штамп в левый угол, поставил круглую печать внизу, плюнул в правый угол густой вязкой слюной, благодаря чему на бумаге тут же проступили водяные знаки, и, свернув лист трубочкой, запечатал сургучом.

— Вот ваш приговор.

Заклубился в бесконечном пространстве белесый густой туман. Странные испарения появились в спертom воздухе камеры. Откуда-то из глубины возник яркий фосфоресцирующий свет. Чьи-то резкие крики разорвали тишину.

Волнение охватило все здание. Метались неясные тени, орали истошно обезьяны, пожираемые туманом, пол провалился, исчез с искаженным болью лицом мать, растаяли санитары, где-то далеко с жестяным грохотом падая на камни... Мир распадался:

Рокин, всплыв куда-то высоко-высоко, увидел панику на площадях деревянного города — мечущиеся, пропадающие, редющие с каждым мгновением толпы фанеры, густые ультрамариновые подтеки акварели, проломленную фанеру голубого облупившегося неба (дыру пробила чья-то громадная рука, схватившая хрипящую достопримечательность города, изви-вающуюся густыми бурными клоками тающего дыма), падающих ярко размазанных девушек, жестяных пожарников, крушение Учреждения, смятение и развал... Мир рассеивался.

Рокин стремительно парил в мягком голубом объемном небе, чувствуя запах ветра, бесконечную глубину пространства и лазурную прозрачность воздуха. Сияющее солнце слепило глаза. Было легко и свободно.

Взглянув вниз, он увидел под собой совершенно голую пустыню, ровную, безжизненную, безбрежную. Земли больше не было. Не было никаких предметов, не было строений, не было людей — ничего не было.

Только яркий ослепительный свет разливался над гладкой пустыней. Убедившись, что ничего нет, Рокин прекратил полет.

Он упал маленькой серебристой точкой. Через секунду эта переваливающаяся точка смешалась с пустыней, оставив в воздухе раскаленную прозрачную вязь — имя Рокина, — которая вскоре тоже исчезла.

1973

В войну, трудную и для собак

Охранник Панкратов спешил ночью через пустырь. Он торопился домой из лагеря. Он возвращался один, без Федора. Федора в лагере сегодня убили.

Пустырь раскинулся на добрый километр — за просто не проскочишь. Панкратов сначала насвистывал „Мы едем, едем, едем”, чтобы не дрожать, но потом примолк, чтобы не привлекать к себе внимания. Двигался перебежками. То разгоняясь, то притормаживая шаг. Не слишком бы топать.

Панкратов боялся собак.

К осени, как и птицы, собаки собрались в стаи. С осенью птицы улетели на юг, а собаки на днях загрызли учительницу. Говорят, будто видели со стороны, как собаки стайей учительницу замаяли. Окружили, точно волки. Одну. А она махала руками из стаи. А потом нагнулась, вроде спряталась. Сорок второй год был трудным и для собак.

Всегда через пустырь Панкратов ходил с Федором. Но Федора в лагере сегодня убили. Ему нанесли двадцать шесть ножевых ран. Из них три — в сердце. Если из первых — в сердце, то далее ясно: кололи мертвого.

Панкратов один на пустыре иногда останавливался и вглядывался в темноту. Темь была непроглядна, как непонятная бездна смерти. И — как неотвязный ужас жизни. И — как неотвальный груз: что сделал? „Что сделал?.. Ничего не сделал! Ничего я не делал!..” Но надо было перебежать темь. Как-никак, перебегать было

надо. И Панкратову мнились за темнотой знакомая калитка, у которой запор некрепкий, и дорожка от калитки к дому, куда вбежать поскорей, и холодные сени с засовом, с настоящим засовом, и знакомый запах сортира, неизменный запах сортира, и теплый тулуп в комнатах на полу, а на кроватях — жена на сносках. Лупоглазая. А пустырь был в кочках. И Панкратов прыгал по кочкам, дергаясь от страха, который за плечами, как рюкзак, а кочки прыгали с Панкратовым, за Панкратовым и дергались, как собаки. Но надо было перебегать темь. Как-никак, перебегать было надо. И Панкратов бежал напрямки, напрямки.

Ведь когда в городе развелось слишком много собак, их попытались выловить и перестрелять. Но бездомные собаки, точно почуяв, убежали в степь и там собрались в стаи. В это время и птицы собирались в стаи, чтобы улететь. Облетели листья по дорогам, и рыжие лиственницы облетели, и птицы отпрощались в горизонтах, а собаки осадой обложили город. Обезумевшие, на полях засели. Озверелые, стали рыскать по окраинам. Нападать на людей. Страшнее грабителей. На днях загрызли учительницу. Дура учительница.

Сорок второй год был трудным и для собак.

Утром, идя на дежурство, охранники натолкнулись у пустыря на стаю голов в двести. На мерзлом поле. Перед рассветом. На двух мужиков собаки не напали. Лишь проводили их голодными глазами. На сером поле — серые собаки. А вблизи — так с голодными глазами. И в стае оказалась Динка, собака Федора, рыжая сука. Динка уселась на тропке прямо на пути, напротив. И уставилась голодными глазами. Федор закомандовал ей, но она не шелохнулась, словно приросла. Рыжая сука. Тогда приятели швырнули в собаку камнями. А Федор еще комком грязи. Динка оскалилась и зарычала. Сгорбив хребет. Рыжая сука. Но комок упал, и она, взвизгнув, отбежала. Без лая.

Панкратов когда-то подкармливал Динку.

Неделю назад Панкратов видел, как Динку в городе стреляли. Она металась, угорелая, по улице от подворотни к подворотне, а в нее, затравленную, стреляли подряд — из одного двора, другого, третьего. А сегодня Динка повстречалась в стае. С голодными глазами. Рыжая сука.

Панкратов проклял тех незадачливых охотников, не сумевших пристрелить Федорову суку.

Панкратов вспомнил жену на сносях, которая тоже, бывало, подкармливала Динку. Опять же, у него разболелась язва, и надо было срочно что-то поесть. Но больше подгонял страх неотвязный. За спиной, как рюкзак. Панкратов прыгал через кочки и останавливался, и вглядывался в кочки, которые как собаки, и проклинал кочки, и быстро бежал до новых потемнений от страха. До новых потемнений.

Сам-то Панкратов — из заключенных, но вышел в охранники. Как-то скостил срок, а отбыв срок, остался в охранниках. И здесь же женился и обзавелся хозяйством. А дом убитого Федора к его дому соседский — забор в забор. На дежурство и с дежурства приятели ходили вместе... и вот, на тебе! — пока нынче Панкратов незадолго до конца смены бегал в будку за содой от язвы, Федора убили. Ему нанесли двадцать шесть ножевых ран. Видно, кололи и мертвого.

Наподконец смены Панкратов проклял распроклятых заключенных.

И ведь не далее как позавчера, Федор ударил Лысого. Панкратов на Лысого наорал и толкнул его. А Федор его ударил. Наотмашь. Стоявшие рядом заключенные подняли головы и строго на охранников посмотрели. Заключенные были с носилками и с лопатами. Но не вскинули лопат. Уныло и покорно поплелись с носилками. И с лопатами.

А сегодня Федора убили. Ему нанесли двадцать шесть ножевых ран. За минуту.

Панкратов на пустыре снова проклял Лысого. Который раз распроклятого проклял.

Лысый — это кличка заключенного. Он маленький и слабый еврей. В башмаках не по ноге. Маленький и слабый, таскал тяжелые башмаки. А рожа асбестовая. Поначалу арестанты травили. Но потом перестали травить. Стали относиться иначе. Почему-то. Даже уголовники. Остались травить одни охранники. Особенно увлекался Федор. Он нарочно выкликал заключенного не прозвищем, а действительной фамилией. Специально не номером, а фамилией. И подчеркивал нерусское звучание. И гнусавил акцентом. Но заключенный откликался незамедлительно, точно бы с радостью. Как бы не замечал, что его задевают. Словно гордился. Или будто так и надо. Знакомый позвал, вроде. Но когда охранник придирался слишком, глаза еврея из добрых менялись в строгие. И тогда все арестанты, бывшие поблизости, даже уголовники, поднимали головы и смотрели строго. А позавчера Панкратов наорал на Лысого. И подтолкнул его сапогом и прикладом. А Федор его ударил. А сегодня Федора убили. Нанесли двадцать шесть ран. Кололи, видать, и мертвого.

Панкратов вспомнил, и ему хлынула кровь в глаза. И в голову.

И он проклял кровь. А потом и свои глаза и свою голову. (Зачем они есть — и кровь, и глаза, и головы?!)

Панкратов задержался после дежурства с показаниями и с проверкой. Но, освободившись, поторопился домой. Он сослался на жену на сносях. А по правде, ему маячили двадцать шесть ран. Двадцать шесть ран за одну минуту. Слишком много ран за минуту. И слишком уж лагерь был сегодня лагерем.

Очутившись в ночи, Панкратов проклял Федора и собственную неосторожность. Точно взвыл от бессилия. Взвыл и проклял.

И теперь скакал один ночью через пустырь и проклинал темноту, и Федора, и кровь из ран, и Лысого, и власти города, не сумевшие известить собак. Язва болела в желудке, а в сердце плавал страх черным пятном.

Страх плавал черными пятнами по всему пустырю. Небо было в тучах. Сквозь платиновые тучи полусветом проскакивала луна. По пустырю скакали тени от туч. Панкратову казалось, что в черных тенях скачут стаи собак.

Панкратов знал, что собаки нападают на одиночек. Недавно собаки загрызли учительницу. Дуру-учительницу, пошедшую через пустырь. А сегодня утром собаки проводили охранников голодными глазами.

И Панкратову в темных тенях мерещились собаки. И среди них Динка. Ему представлялось, как накатывается стая собак черной тучей, а во главе стаи — рыжая Динка. В темноте она бурая, как кочка, и лишь светятся голодные глаза. И в стае рассыпаны собачьи глаза, как звезды. Звезды вспыхивают и набегают. И Панкратов вынужден отбиваться от собак. Но собаки жмутся и мучаются, и визжат, и грызут его. Но первая его грызет Динка.

Но потом Панкратов вспомнил снова, что подкармливал иногда Динку. И ему стало обидно за Динку. И он поверил в Динку. И он вообразил, как собаки подкрадываются тучей, но вдруг к ногам его подкатывается Динка, и ластится, и юлит, и огрызается на озверевших собак. А собаки жмутся и мучаются, и теснятся, но не смеют напасть на Панкратова с Динкой. Сам же Панкратов треплет Динку за ухом и спокойно идет к дому, и входит прямо в сени, где знакомый запах сортира, и вводит в комнаты Динку, и они вместе едят из миски, а собаки — черной тучей за двором, за забором. Только светятся в заборные щели их голодные глаза. А завтра он шагает в лагерь с Динкой. Притом — озверевшие беглые арестанты поджидают его с ножами на пустыре, но видят Динку и не смеют их двоих тронуть, лишь провожают долгими глазами. А Панкратов треплет Динку за ушами и хочет натравить ее на арестантов.

И Панкратов сладостно воображает, что будет от-

ныне и до века кормить Динку, как и свою язву, а жена, которая разрешится, будет кормить Динку, как и ребенка.

И Панкратову стало спокойно. И смело. И он перестал проклинать.

Он вдруг представил пустырь как высокую плешь. Как высокую плешь, куда не забегают травля. Как лысину на черепе, куда не заползают вши. Как плешь на возвышении от земного шара, куда не достигают волны и не заползают вши. Одинокая плешь на макушке земного шара, и сюда не заползают вши, не забегают собаки, не залетают снаряды от далекой войны. И Панкратов подумал, что, чтобы быть спокойным, нужен пустырь. И он подумал, что есть счастливицы в пустырях. И он понял, что у Того человека есть свой пустырь.

А потом Панкратову вообразилось, что за темной произрастают листья. Много-много звонких зеленых листьев. И по окраинам пустыря стоят транспаранты. Фанерные щиты с белыми диаграммами, на которых изображены его, Панкратова, планы. Много транспарантов вокруг пустыря, и на всех — планы с красными стрелами. Про пятилетки и про войну, и про жену на сносях, и еще про кухарку Зину... Какие-то серьезные планы.

И он стал думать, что нужно, что нужно, что нужно. Упорно стал думать, что нужно.

Вдруг он застыл. Он увидел стаю собак. Он ощутил рядом стаю собак. Он почувствовал, как рядом в темной тени от тучи таится стая собак. А потом он увидел, что тень заходит сбоку, и понял, что собаки его окружают.

И Панкратову до смерти захотелось поверить в Динку.

Но тут он услышал вздохи собак и перестал верить в Динку. А тут луна выскочила из-за туч, и Панкратов увидел живую стаю собак.

И Панкратов проклял войну, трудную для собак.

И жену, с тем, что она на сносях.

И страну, зачем в ней, в огромной, он на пустыре один.

Но собаки ждали Панкратова.

И собаки окружали Панкратова.

И он понял, что он среди собак.

Тогда Панкратов опрометью побежал назад к лагерю. Он побежал на свет фонаря, что светил вдалеке возле вышки охранника.

Он летел через кочки и спотыкался, и падал, и вскакивал, огрызаясь и молясь, но не успевал проклясть кочки. Он слышал, как стелются за ним собаки. Он задыхался, и сил не хватало, а в голове стучало, и фонарь у лагеря плясал и делился на множество фонарей, но он слышал, как в спину дышат собаки, и бежал, и бежал, и бежал.

А потом он услышал, как собаки за спиной закричали: „ха-ха-ха!”

И темнота закричала: „ха-ха-ха!”

И земля с кочками закричала: „ха-ха-ха!”

И тогда Панкратов вылетел к забору лагеря и полез на высокий забор. Он прыгнул на высокие доски, и стал карабкаться по высоким доскам, и скользить, и уцепился за гнездышко от сучка в доске, и наконец ухватился за колючую проволоку, и разодрал руку, но повис, и только тогда перевел дух. Он повис как раз под фонарем возле вышки охранника.

„Кто идет, твою мать? — крикнул охранник с вышки, — застрелю!”

А с пустыря, точно эхо, протрубило протяжно: „Проклина-а-а-аю!” Панкратов огляделся и понял — собак на пустыре не было.

Тогда Панкратов проклял весь свет.

Но охранник застрелил Панкратова.

Ленинград. Судьба. Поэт

Я не думаю, что поэтами становятся. Поэтами рождаются. Это, как чаша, врученная при рождении, чаша, которую надо пронести через всю жизнь, не расплескав. Я встречал общепризнанных в России поэтов — богатых и высокопоставленных. В ночные пьяные часы они иной раз горько признавались: сосуд расплескан, жизнь отвратительна. Я встречал и других поэтов. Их жизнь проходила в безвестности, нищете и унижениях: ни одно их произведение не было напечатано; никто, кроме трех-четырех друзей, не знал их имени, но какой-то божественный свет озарял их лица.

Я не берусь судить, кто из поэтов — моих современников — великий, а кто — не великий. У поэтов один неподкупный и неумолимый судья — время. Время может стереть в памяти потомков имя ныне знаменитого поэта. Но ничто не может стереть в моей памяти прекрасную, хотя и горестную жизнь тех моих современников, которые мужественно несли и несут крест своего избранничества, независимо от того, признанные ли это потомками Ахматова и Мандельштам или почти никому неведомые и, быть может, обреченные на полное забвение ныне живущие в России поэты Александр Ожиганов, Геннадий Трифонов, Виктор Кривулин, Олег Охупкин.

В лютый для России год, во время Ленинградской блокады, когда младенцы рождались, как маленькие трупики, в одном из родильных домов на берегу Невы родился мальчик. Ангельской красоты. „Нянечкой” в том родильном доме была последовательница о. Иоанна Кронштадтского. Умирая, о. Иоанн Кронштадтский пророчествовал: „В самый лютый год родится в Петрограде младенец мужеского полу ангельской красоты. Он возвестит слово Божье впадшему в грех русскому народу”.

Все совпадало: лютый год, ангельская красота.

Младенец никому не был нужен. Мать — душевно-больная, отец неизвестен. Только бабка мальчика и „нянечка” из родильного дома уверовали в божественную миссию новорожденного. Нарекли его Олегом. Фамилия — Охалкин.

Иногда, просыпаясь посреди ночи, он видел возле своей постели коленопреклоненных старушек, освещенных мерцающим светом лампадки.

Когда подросток — пел в церковном хоре в Александро-Невской лавре. Пел сладчайшим голосом. К ангельской красоте прибавился ангельский голос. Уже в девять-десять лет он умел читать по церковнославянски, помнил множество молитв, псалмы, жития святых. Выходя из собора, нередко слышал негромкую старушечью просьбу: „Благослови, отрок”. И сухие губы тянулись к его руке.

В школе его не любили. Учился он отлично по всем предметам. Хорошо рисовал. Был во всем ловок, сноровист. Но был он не как все. Никому не рассказывал о своем назначении, но скрыть его не умел.

Летом бабка возила его по монастырям. В Почаевской лавре, на Украине, ждала его будущая келья.

Однажды мальчика повезли в какую-то деревню возле Луги. С ним хотел познакомиться архиепископ

подпольной Тихоновской церкви. Долго сидели в крестьянской избе, разговаривали. Архиепископ (был он без рясы, в пиджаке, в очках, похож на учителя) сказал:

— Не ходи в монастырь, не служи антихристовой церкви. Иди в мир. Читай Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Гоголя. А мое благословение будет всегда с тобой.

В четырнадцать лет Олег решил испытать себя. Был последний день Великого поста. Весь этот день мальчик провел на коленях, отбивая поклоны, прося Господа вразумить его: действительно ли Господь Бог возложил на него особую миссию? К вечеру, когда бабка уже уложила на тарелку пасху, кулич, крашеные яйца, чтобы вместе с внуком отнести их в церковь святить, он встал на негнущиеся ноги, отвел взгляд от иконы и увидел в миске остатки сладкого творога. Со вчерашнего дня он ничего не ел. И вдруг, как неожиданный вихрь, как порыв ветра из окна, непреодолимое детское искушение — он зачерпнул пальцем лакомство. И будто услышал голос Бога:

— Поддался искушению. Малодушен. И избранничество твое — искушение. Только старушечьи суеверия вознесли тебя на высоту гордыни.

И пока бабка переодевалась в другой комнате, он, в каком-то небывалом злобном отчаянье, сорвал со стены и растоптал иконы, порвал священные книги и убежал из дома.

Так он рассказывал мне о своем детстве.

Я впервые увидел его, когда он учился в ремесленном училище. Он пришел в Дом культуры трудовых резервов, в литературный кружок. В его лице была еще детская незавершенность, почти иконописная чистота и такая же иконописная закрытость. Он принес наивные и неумелые стихи. О себе. О себе? Я не сразу понял, что не о себе, а мальчишке-маляре, о весне, о том же, о чем писали другие участники кружка.

В ремесленном училище его не любили, как и в школе. Он учился и работал лучше других; хорошо рисовал, занимался в яхтклубе. Но был не как все. И он сам это чувствовал.

Иногда он с артистическим вдохновением красил стены — его работа вызывала всеобщий восторг. „Артист, — говорили о нем, — художник!“. Иногда уводил парусник в синь Финского залива. Тогда казалось, что он весел и счастлив. Но, оставшись один, мрачнел. И краски тускнели в его глазах. И морская даль была ему не нужна. Он весь день бродил в одиночестве по городу, забредал в церковь и опять бился головой о пол, прося Бога вразумить его: что он должен делать? Почему он так одинок? Неужели только гордыня отличает его от других?

Я как-то встретил его, выходящим из церкви. У него были заплаканные глаза, какое-то отрешенно-просветленное лицо.

Малляр из него не получился. Стал работать в Малом оперном театре. Сначала осветителем, потом мистом. Много читал. Без разбора, все, что попадало под руку, все, о чем слышал от других. У него была удивительная память. Она хранила все прочитанное, даже не хранила, а как-то перерабатывала и присваивала так, что затем, окрашенное его собственными красками, оно становилось как бы его собственным, и он не мог уже отличить, что принадлежит кому — все принадлежало ему.

В неправдоподобно короткий срок он прочитал очень много книг по истории, философии, литературе, живописи, музыке; воспринял все тонкости хорошего воспитания, так что, когда однажды попал в семью академика Ландау, там его приняли за потомственного интеллигента, с детства окруженного всеми аксессуарами наследственной культуры и образования.

Главным делом его жизни в те годы были стихи. Писал он так же много, как и читал. Стихи были подра-

жательными. Сначала Маяковский, потом Цветаева, потом Пастернак. Охотно читал свои стихи другим. Читал прекрасно. Когда стоял посреди комнаты, высокий, широкоплечий, красивый — мало кто мог не поддаться его обаянию. Но его убедительная личность существовала сама по себе, а стихи — сами по себе. Он чувствовал это: он нравился всем; стихи — нравились немногим. Ему казалось, что его не понимают, не слышат того голоса, который он сам слышал в себе. От этого был несчастен и одинок.

В это время услышали его другой голос. Бас. Сильный, хорошо окрашенный. Его услышали с театра. Сказали: „Будущий Шаляпин! Надо учиться”. Ему было тогда лет восемнадцать. Он поступил в музыкальное училище. Шаляпинская фигура. Привлекательность. Артистизм. Восхищение педагогов, соучеников, знакомых. „Шаляпин! Шаляпин!” — слышал он.

Он пел мне однажды в лесу. Во всю мощь. Голос гремел, как ливень. Он был плотен и властен. Он сливался с лесом, с небом, со всем вокруг. И только вне своего голоса, как бы в отдалении от него, стоял тот, кто пел. Я не знаю, почему так было.

Его ждала карьера артиста. Закончив училище, он был сразу же принят солистом в хор Ленинградского радиокомитета. Репетиции. Ожидание премьеры. Приготовление. И вдруг, накануне первого концерта, пришел ко мне прощаться.

— Я не буду артистом. Я уезжаю.

— Почему?

— Не могу объяснить. Чувствую — сцена не то, не для меня. Поеду в деревню. Буду работать в избе-читальне. Жить по совести. Помогать людям. Просвещать. Учить добру...

Он собрал вещи в дорогу. Прощался с Ленинградом. Сосредоточенный в себе, что-то потерявший и что-то нашедший, ходил по знакомым с детства проспектам, набережным, улицам. Один. Непризнанный Ленин-

градом, отвергнутый тенями Пушкина, Блока, Ахматовой. Ходил в Эрмитаж, в Петропавловскую крепость, в Летний сад. Прощался.

Однажды забрел в Смольный монастырь. Не туда, где колыбель революции, а со двора, где стояла заброшенная, нереставрированная колокольня Растрелли. Это одна из самых высоких колоколен Ленинграда — какой с нее, должно быть, открывается вид на город!..

Залез в разбитое окошечко и стал подниматься по ненадежным ступенькам винтовой лестницы. Поднимался долго. Вышел на верхнюю площадку. Под ним лежал осенний Ленинград, весь в золоте садов и парков, куполов, колоколен, кирпичных труб.

Увидел, что не один. Облокотившись о парапет, там стоял незнакомый золотоволосый юноша.

— Чего забрался сюда?

— А ты?

— Ты кто? — спросил Олег.

— Поэт, — ответил юноша.

Привычное слово „поэт“, произнесенное только что вернувшимся из ссылки Иосифом Бродским, произнесенное на этой высоте, над городом поэзии, в золотом сиянии, по всей вероятности, прозвучало так, что обрело для Олега Охапкина какой-то новый, особый смысл, который стал смыслом всей его дальнейшей жизни.

Иосифа Бродского ленинградская молодежь тогда уже знала. Уже слышали неистовое молитвенное полубормотание-полупение его стихов, уже пересказывали его речи на суде — речи, в которых он с таким достоинством защищал высокое звание Поэта.

Я не знаю, о чем говорили на колокольне Смольного собора Олег Охапкин и Иосиф Бродский. Я знаю только, что Бродский читал Охапкину свои стихи. Я знаю еще, что Охапкин спустился с колокольни в необычайном волнении. Потом он написал об этой встрече стихи. Он говорил мне, что это был самый важный день его жизни.

Он никуда не уехал. Не вернулся на сцену. Сутками не выходил он из своей крохотной проходной комнаты — писал, читал, изучал языки, переводил. Так шли месяц за месяцем, год за годом. Его не печатали. Жить было не на что. Устраивался на месяц-другой то в экспедицию, то грузчиком, то курьером, то сторожем. Но все это было — как тюрьма. Свобода была только за столом, среди чистой бумаги, рукописей, книг.

Стихи будто прорвали какую-то плотину. Они несли его куда-то, как бешеный поток. Они смели влияние учителей: Маяковского, Цветаевой, Пастернака, а затем и Бродского. Поэт уже не думал, похож он на кого-то или нет, ему было безразлично, как относятся к его стихам другие, стихи изливались из каких-то глубин его существа. Это был отчаянный вопль одинокой души, восторг перед щедрой гармонией природы, страстные призывы к сверстникам, злые насмешки над слепцами, монашеские славословия Богу, нежный лепет любви, гневные обличения властей.

Я думаю, что, хотя Олег Охупкин никогда не говорил этого, но стихи были для него исполнением того пророчества, той веры и тех завещаний, которые окрасили его младенчество и детство. Мне кажется, что он иногда почти физически ощущает за своей спиной крылья — громадные крылья, которые не уместить ни в комнате, ни в доме, ни на тесных улицах города. Ему необходимо было расправить их. Говорят: „Самоуверенность! Мания величия!“. Может быть. Но разве он виноват, что чувствует за спиной крылья и они мешают ему жить? И его мощный голос тоже не умещался в тесных комнатах его друзей и знакомых. Он рвался в большие залы, на страницы книг и журналов. Этот голос теперь слился с личностью поэта. Он был не похож ни на чьи другие голоса. И, еще не получив доступа ни на эстраду, ни на печатные страницы, он уже заглушал голоса многих официально признанных и знаменитых.

Его убеждали:

— Хочешь печататься?

— Хочу.

— Пиши то, чего требуют партия и правительство.

— Не хочу.

Его подкупали:

— Мы напечатаем твои стихи о природе, а за это ты пиши не так, как хочется тебе, а так, как хочется нам.

Несколько стихотворений о природе были напечатаны, но он писал так, как хотелось ему.

Его пугали:

— Перестань шуметь, привлекать к себе внимание, а то будет хуже!

Он вел себя, как прежде.

Однажды пришел ко мне и заплакал. Большой, широкоплечий, здоровый мужчина сел на диван, закрыл лицо руками и плакал. Я жил возле издательства „Советский писатель”. Только что редактор этого издательства, невежественный и бездарный партийный подонек Качурин выгнал его из своего кабинета.

— Чтоб ноги твоей здесь больше не было. Кому нужны твои стихи про душу и Бога? Иди трудиться на завод, на стройку, пока тебя, тунеядца, не выслали из Ленинграда.

Потом пришло время, когда Олегу Охупкину действительно грозила высылка за „тунеядство”. Тогда несколько наиболее интеллигентных беспартийных писателей, в их числе Е.Г.Эткинд, проделали тот же головомошительный трюк, какой несколькими годами раньше проделали с Иосифом Бродским. Они добились того, что отвергнутого властями поэта „поставили на учет в группкоме писателей”. Это давало право жить в Ленинграде, не устраиваясь на постоянную службу.

Но принадлежность, хотя бы косвенная, к Союзу советских писателей, этому партийно-правительственно-полицейскому ведомству, обязывала посещать собрания, отчитываться в своей работе, скрывать веру в Бога, прикидываться таким, как все. А позади была

встреча на колокольне Смольного собора. А позади была легенда о Божественной миссии. А позади были годы нужды, отчаяния, одиночества и страстной слепой веры в свое назначение. И не по возрасту постаревший поэт, нищий, бездомный, униженный, пишет заявление, что он отказывается от презренно-почетной принадлежности к сословию продажных советских литераторов.

Последний раз я встретил Олега Охупкина за несколько дней до моего отъезда из России. Я встретил его на улице. Он сидел на скамье после болезни — облысевший, с большим цветом кожи, почти беззубый, с согнутыми плечами. Ему еще не было сорока лет. Ему можно было дать пятьдесят.

— Послушайте, — сказал он счастливым голосом и стал читать новые стихи.

И мне показалось, что я снова увидел за его спиной крылья.

Сейчас Олег Охупкин начал печататься за пределами Советского Союза. Я не знаю, „признают” ли его современники и потомки, или же он останется непризнанным, как тысячи или десятки тысяч других поэтов. Но я не считаю это важным, ибо думаю, что божественное чудо существования поэта уже само по себе — венец творения.

Дай Бог Олегу Охупкину не расплескать своей чаши до конца жизни.

Совесть

*Тень, тень, потетень.
Выше города плетень.*

Над миром ли, над морем ли, кошмаром,
Циклоном ли, циклопом, но слепым
Прошел Тугарин-змей, и что наш Муром,
Коль замурован в склепе глас толпы!

В сельце ли Карачарове на печке,
На тракторе ль, корчующем пеньки,
Заглохнул богатырь, и в свете спички
Алмазы обратились в угольки.

В запечном ли углу, но сам Емеля,
Не то что бы Илья — Емеля сам
Без помощи, какой на самом деле
И не было, поверил чудесам.

И печь пошла по-щучьему веленью
Самой ухи, какой не расхлебать,
И в непогодь кидались поленья
Из деревень, ютившихся под тенью
Плетней, где в лопухах и погибать.

12.9.73

13 СЕНТЯБРЯ 1973 ГОДА

Под небом ныне вопиет
Людьми поруганная правда,
И снова Спас отраву пьет
Из чаши спящего народа.

И дьяволовой бомбой Н
Взрывается полнощный морок,
И весь громозд его, дробящ
Сентябрьский мир, слепящ и марок.

Замаран каждый яркий миг,
В котором разломилась плазма,
И это все — Христов тайник —
Яд гефсиманского миазма.

Отец! Я предан. Человек
Смесил вино Твое с отравой...
Но кто там смотрит из-под век
Так тяжело, что жутко, право?

Кому еще не спится здесь?
Ответствуй, соглядатай, где ты?
И в блесни лунной лик планеты
Блеснул, зеленоясен весь.

13.9.73

ВОСКРЕСЕНИЕ

Зеленое в лазури багрецом
Подернуло смиряющее время,
И то, что было упования имя,
Явилось перед Господом истцом.

Дохнул неисследимый синеве,
И облаком створожился творимый
И хладный ток в блеснеющей Неве,
И выяснило стынь ультрамарина.

И в этой-то сребрящейся струе
Таинственного ныне водохода
Изобразились воздух и свобода —
Воскрылья на сентябрьском острие.

И душу имя дня захолонуло.
И это — Воскресение, и в нем —
Стяжение сердцебиенья с днем,
Где огневицей чудо полыхнуло
И через край грядущее плеснуло —
Пасхальный свет, которым и живем.

* * *

И как читали мы не раз
В правдивом Господа Завете,
Над нами чаша пролилась,
И ужас в тайне и секрете.

И в таинстве смешилась кровь
С вином веселья и печали,
В секрете ж тайну замолчали,
Но разгласилась любовь.

И вот немотствует секрет
И жутью удавилась немень,
Но полыхнул ужасный свет
И озарил слепую темень.

И ныне тайну в сердце зрим —
Соборную, святую совесть,

И в ней уже судима зависть,
И дар небес богохраним.

18.9.73

* * *

Тихая отвага
Посреди злоречья —
Чистая бумага,
Совесьть человечья.

И на ней скупые
Горести крупины —
Все, что мы скопили
На душе грустины.

Русичи святые,
Где бы вам ни случилось,
Оставайтесь чисты,
Чтобы грусть читалась!

Только совесть наша,
Только наша святость
Озаряют душу,
Где затмилась радость.

Но предвечна правда
И неистребима,
И душа ей рада,
Радость ей любима.

Правда наша — совесть,
Пребывай святыней!
Вот какая новость:
Ложь повсюду ныне.

Но еще не поздно
Заглядеться в сердце,
Где сегодня постно,
А завтра — солнце.

Только этим светом
Наша речь ведома,
И на месте святом
Затемно мы дома.

Праведная доблесть —
Правда наша, совесть,
И к веселью снова
Нет пути иного.

17.2.74

13 ФЕВРАЛЯ 1974 ГОДА

*Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.*

А.Ахматова

Мы ведаем, что совершается в нас
И что совершилось над нами.
День гнева Господня и совести глас
В соборном, запущенном храме.

Вершится ужасный божественный суд,
Сбывается правда Христова,
И сердце сжигает неведомый студ —
Победа бесстрашного слова.

И то, что отныне мы скажем себе,
Услышано будет повсюду.
Но прежде увидим в природном рабе
Искарриота Иуду.

И доблесть, и робость зачтутся Петру.
Иуда же сам задохнется к утру,
И бесы над трупом завьются...
Но прежде с Иудами бьются.

И мы им дадим надлежащий отпор
Мечом нашей правды. До этих же пор,
Пока предается свобода,
Нам нет и названья народа.

Но праведник знает Голгофу свою,
И он не оставит нас в страшном бою
За честь нашу — чистую совесть,
О чем и клянемся мы помнить.

И в недрах народных восстанет Господь,
И мышцею сильной и душу, и плоть
На доблесть и подвиг восставит
И славой страдальца прославит.

И будет нам судное Слово Его,
И лживых тогда не спасет ничего
Пред солнцем Господнего света.
Да сбудется слово поэта!

20.2.74

Очерки современности

К 150-летию со дня рождения Л.Н.Толстого

Альберт ОПУЛЬСКИЙ

Вокруг имени Льва Толстого

Расцвет и гибель одного литературного института

ГЛАВА 1. КАК Я ПЕРЕШАГНУЛ ПОРОГ ХРАМА ТОЛСТОВЕДЕНИЯ

..Толстоведение... Написал я это странное слово и подумал, что едва ли кто-нибудь из тех, кто его прочтет, не удивится. Да и я сам узнал о толстоведении, лишь перешагнув через порог его храма. Произошло это через год после окончания второй мировой войны и странным образом оказалось связано с событиями, вызванными постановлением ЦК КПСС „О журналах „Звезда” и „Ленинград”, выношенным тогдашним партийным идеологом Андреем Ждановым.

Надо сказать, что окрик Жданова, потребовавший от имени партии, чтобы интеллигенция придерживалась в своем творчестве угодного партии образа мышления и образа выражения своих мыслей, не был первым: еще в 1937 г. он опубликовал две статьи („Балетная фальшь” и „Сумбур вместо музыки”), изничтожавших композитора Д.Шостаковича за его балет „Светлый ручей” и оперу „Леди Макбет Мценского уезда” и положивших начало борьбе партии с „формализмом в искусстве”, названной неким печальным каламбуристом „сечей при Керженцеве”, — по имени тогдашнего председателя Комитета по делам искусств, активного проводника идей Жданова.

И все же, сколь ни brutальным было выступление партии по поводу творчества Д.Шостаковича, оно не имело столь пагубного влияния на искусство, какое было у постановления о ленинградских журналах.

Постановление о „Звезде” и „Ленинграде” касалось как будто только литературных вопросов, однако оно имело огромное значение для страны вообще, развязав новую мрачайшую кампанию против всего прогрессивного, что оставалось еще не уничтоженным в интеллектуальной жизни советской страны. Для литературы же постановление „О журналах „Звезда” и „Ленинград” было как бы первым после передышки ударом административного бича, который потом хлестал ее не переставая и куда попало, хотя жертва была уже сбита с ног и глаза ее кровоточили.

Естественно (для советских условий, разумеется), что постановление было немедленно включено в учебную программу всех литературных, художественных и даже негуманитарных институтов, где немедленно же начались „массовые осуждения творчества и общественной позиции” тех, по кому непосредственно и в первую очередь ударило постановление: Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. После этого была команда приступить к поискам „клеветников на советскую действительность и затворников в башне из слоновой кости”, так сказать, местного значения. Кампания проводилась столь грубо и столь глупо, что оказалась скомпрометированной в самом начале. Недаром в эти дни на стенах университетских уборных (едва ли не единственное тогда безопасное место, где молодежь привыкла искать и находить свободное выражение своих мыслей) неистребимо красовалось четверостишие, густо насыщенное терминологией „партийного документа” („ахматизм”, „зощенкизм”, „наплевизм”, „башня из слоновой кости”, „глубокое познание жизни”) и уже тем самым его пародирующее:

Ахматизм и зощенкизм
вызывают наплевизм.
Чтобы с башни не плевать,
надо глубже жизнь познать.

Если кампания затрагивала каждого филолога, то меня она не то что затронула, а просто-напросто сбила с ног, да так, что я едва поднялся. Произошло это потому, что моя одержимость стиховедением и формальным анализом поэтического текста, проявившаяся еще на школьной скамье, в университетские годы свела меня, а потом и сблизила со всеми, кто тогда работал над анализом поэтической формы: с Сергеем Бобровым, Георгием Шенгели, Михаилом Штокмаром, Михаилом Малишевским, Иваном Розановым, Леонидом Тимофеевым и особенно близко — с Борисом Эйхенбаумом и Борисом Томашевским. Они, в свою очередь, познакомили меня с поэтами Алексеем Крученых и Анной Ахматовой, драматургом Евгением Шварцем.

Естественно, что близость студента к известным литераторам и его явное предпочтение (и в практической работе, и в разговорах с товарищами) формального метода социологическому не могли не быть доложены по начальству и были им восприняты отнюдь не положительно. Еще бы! Ведь, в отличие от „социологов”, „формалисты” не пользовались готовыми формулировками, не втискивали факты литературного процесса в заранее установленные политические и иные схемы, а исследовали произведение, исходя из собственного его понимания и объективного анализа его художественных особенностей. В советских условиях это могли позволить себе люди, обладающие не только нестандартным мышлением, но и независимым характером. Мои друзья и наставники были именно такими людьми.

Вспоминается, например, случай с профессором Б.М.Эйхенбаумом, который жил тогда в Ленинграде и приехал в Москву, чтобы сделать доклад в Институте мировой литературы. Окончив блестящий, как всегда,

доклад, опирающийся на обширнейший фактический материал, профессор под громкие аплодисменты аудитории начал быстро собирать в портфель привезенные книги: он торопился на поезд. Однако секретарь парт-организации института И.Н.Успенский не разделял восторгов аудитории.

— Ваш доклад совершенно аполитичен, внесоциален! — выкрикнул он с места.

— Были бы котлеты и специи, — ответил старый профессор, — а водичку для соуса какой-нибудь младший научный сотрудник нацедит. Вот вы, например, Игорь Николаевич: в результате нашего с вами соавторства я бы приобрел славу политически грамотного ученого, а у вас в активе появилась бы, наконец, научная работа. (Сорокалетний Успенский никогда не защищал никакой диссертации и не публиковал никаких статей: с малых лет подвизаясь на комсомольско-партийной работе, он и в члены Ученого совета был введен лишь в качестве секретаря парторганизации.)

Независимость Б.М.Эйхенбаума, Б.В.Томашевского и других в их личных отношениях с любым начальством и их явное нежелание покориться каким бы то ни было официальным (чаще всего весьма далеким от подлинного литературоведения) „установкам” вызывали у тех, кто руководил идеологией, желание дискредитировать непокорных — и не только на научном поле брани (где это было нелегко), но и политически.

С этой целью было задумано общее собрание преподавателей и студентов филологического факультета, финалом которого должно было стать „всеобщее осуждение” Ахматовой, Зощенко, а заодно всех „безыдейных формалистов”. Естественно, что „разоблачения”, которые публично произнес бы студент, вращавшийся в кругу „формалистов”, могли сыграть в этом спектакле немаловажную роль. Тем, кто это задумал, дело казалось простым, и потому Р.М.Самарин, тогдашний декан филологического факультета, остановив меня в

коридоре, коротко сообщил, что я „должен выступить” на предстоящем собрании с заявлением о том, что формализм — не просто метод литературоведения, а камуфляж, прикрытие для антисоветски настроенной группы, ведущей разлагающую работу среди молодежи.

Меня возмутило и само предложение декана, и то, что ему и в голову не приходило, что я могу от его предложения отказаться. Изливать свое возмущение я отправился к заведующему кафедрой русской литературы Б.В.Михайловскому. Человек отличного литературного вкуса, крупнейший знаток поэзии Иннокентия Анненского, профессор Михайловский тщательно скрывал все эти качества и был известен как социолог-начетчик, превозносивший до небес даже самые слабые произведения Горького и трактовавший творчество большинства русских писателей начала XX века как „упадок и разложение критического реализма”. Выслушав меня, Михайловский испуганно попросил не вмешивать его „во все эти истории” и заключил наш разговор назидательной сентенцией, смысл которой сводился к тому, что поскольку мне „прочат научную карьеру”, я должен уже теперь все оценивать с точки зрения своей будущей корпорации и, стало быть, понимать, что в качестве студента не имею „морального права” осуждать своего декана. Впрочем, он выразил уверенность, что на следующий день я и сам одумаюсь.

У Самарина, однако, такой уверенности, по-видимому, не было. Во всяком случае, на следующий день меня вызвали в кабинет ректора, где со мной пожелал говорить заведующий аспирантурой Г.Н.Поспелов. Присутствие при разговоре с ним некоего человека в полувоенной одежде не предвещало для меня ничего хорошего. Впрочем, и одного профессора Поспелова для этого разговора было вполне достаточно, ибо он был человеком, связанным с ГБ. Мы уже тогда об этом догадывались, а впоследствии, когда из лагерей был выпущен его учитель, один из крупнейших совет-

ских литературоведов, эти догадки подтвердились: реабилитированный ученый заявил, что в ГБ против него фигурировал лишь один документ — донос Поспелова, обвинявшего „любимого” профессора в антисоветской пропаганде (ученик, по всей вероятности, был уверен, что повсюду заместит своего учителя, и не ошибся).

И вот я сидел против Поспелова и слушал его рассуждения о моих достоинствах, о его искренней радости по поводу того, что кафедра рекомендовала меня в аспирантуру, и о том, как жаль, если я в своей дальнейшей работе пойду по пути формалистов, ибо они напоминают ему некоего анекдотического музыкального рецензента, который, сообщая о концерте, ограничивался описанием участвующих в нем инструментов. Затем зав. аспирантурой перешел к тому, ради чего меня вызвали, и я впервые увидел лицо человека в полувоенной одежде — до того он сидел, упершись рукой в лоб, и безучастно молчал. Теперь он смотрел на меня с интересом — с интересом удава к кролику. Он и дальше ничего не сказал, в то время как Поспелов, известный своим краснбайством, превзошел самого себя. Только в конце, когда я уже был у двери, кагебист кинул мне неожиданным для его плотной фигуры тенорком: „А ведь не заниматься вам своим стиховедением! И аспирантуры не видать, как своих ушей!”

Так оно и произошло: в аспирантуру Московского университета меня не пустили, и научную степень я получил лишь через много лет и в институте, где сотрудники были не столь „бдительны”. Началось мое многомесячное хождение в поисках работы. Наконец я совершенно отчаялся и уже собирался „законтрактоваться куда-нибудь на Север”, как вдруг одно учреждение согласилось меня взять к себе на работу. И что за учреждение! Не какая-нибудь маленькая районная библиотека (я давно уже поставил крест на своих мечтах о стиховедении, и выдавать книги в такой библиотеке

мне казалось величайшим счастьем), а Государственный музей Льва Толстого, который только что был передан в ведение Академии наук и для деятельности которого в связи с этим открывались широчайшие перспективы. К тому же и брали меня в музей не на какую-нибудь пустячную должность, а научным сотрудником для работы над рукописями великого писателя. Так началось продолжавшееся более двух десятков лет мое служение науке, которую все вокруг меня (одни — серьезно и даже в официальных документах, другие — смущаясь или полусуто) называли толстоведением.

ГЛАВА 2. МУЗЕЙ ТОЛСТОГО И ВНУЧКА ТОЛСТОГО

Передача музея Льва Толстого в ведение Академии наук была одним из важнейших актов в цепи мероприятий, направленных на создание единого литературоведческого центра по изучению и популяризации творчества великого писателя. Ко времени моего появления в музее он представлял собой сложно построенный институт, базирующийся как в Москве (где находилась дирекция, мемориальный Дом-музей и литературный музей писателя), так и на периферии (тульское имение Толстого Ясная Поляна и музей на станции Астапово, где Толстой скончался).

Популяризаторская работа в музее проводилась главным образом в виде экскурсий, для проведения которых имелся довольно большой штат квалифицированных экскурсоводов. Немалую роль в популяризации творчества Толстого играли также лекции и выставки.

Если популяризаторская работа в музее Льва Толстого мало чем отличалась от подобной работы в других музеях, то собирательская и хранительская — имели свои особенности. Прежде всего группа основателей

музея — родственников и последователей Толстого — добились постановления о концентрации всех материалов, связанных с именем писателя. Благодаря этому музей стал обладателем едва ли не самой крупной в СССР литературной коллекции. В библиотеке были собраны редчайшие прижизненные и посмертные издания произведений писателя, вышедшие более чем на 75 языках мира, и критические работы о нем. В отделе художественных фондов хранились все значительные живописные и фотографические портреты писателя и его близких, а также иллюстрации к его произведениям. Но настоящей сокровищницей была так называемая стальная комната — бетонированное сводчатое помещение со стальными дверями, запирающимися и отпирающимися тремя ключами в соответствии со специальным шифром. В этой комнате в стальных сейфах (размером с большой гардероб) хранились рукописи Толстого — от его детского рассказика, написанного в девятилетнем возрасте, до последней, предсмертной дневниковой записи, то есть рукописи „Войны и мира”, „Анны Карениной”, „Воскресения”, всех пьес и повестей, рассказов и статей, всех дневников и записных книжек, всех сохранившихся (более десяти тысяч) писем...

Популяризаторская, собирательская и хранительская работа в музее Льва Толстого были тесно связаны между собой на научной основе. Научная работа велась большой группой сотрудников, среди которых было несколько кандидатов и докторов филологических и педагогических наук. Привлекались к научной работе музея исследователи творчества Толстого и из других учреждений Москвы и даже из других городов.

Всю работу толстовского музея возглавляла дочь младшего сына писателя — София Андреевна, одна из немногих Толстых, не уехавших после революции в эмиграцию. В 1917 г. ей было семнадцать лет, и личные причины заставили ее остаться с престарелой бабушкой,

вдовой великого писателя. Нарком Луначарский не дал уничтожить Ясную Поляну, сохранил он и спокойную яснополянскую жизнь графини-бабушки и графини-внучки. Он вообще выгодно отличался от своих преемников хотя бы пониманием того, что собой представляла русская культура, которую отдали ему под опеку, и не стремился уничтожать то, что было недоступно его пониманию и чуждо его вкусу. Он разумно рассчитал, что Толстые будут лучше заботиться о наследии Толстого, чем случайные люди, которых представила бы к этому делу советская администрация. Исходя из такого принципа, он назначил еще одну графиню Толстую, дочь Льва Николаевича — Александру, — директором музея ее отца, и она в течение десяти лет поистине самоотверженно занималась пропагандой творчества великого писателя. Когда в 1929 г. она уехала читать лекции в Японию и не вернулась, нарком получил взбучку сверху, растерялся, и руководство музеем на ряд лет перешло от Толстых к толстовцам. (Забегая вперед и глядя на нынешнее состояние музея, можно убедиться, что такая перемена была еще не самым худшим вариантом.)

Возвращаясь же к повествованию о графине-внучке, следует сказать, что она во многих отношениях была женщиной замечательной. Серьезнейшей жизненной школой для нее стали двадцатые годы. Они расширили ее кругозор, закалили ее, определили ее место в жизни. Имя великого деда помогло ей войти в писательскую среду, а личные ее качества — завязать в этой среде разнообразные и весьма крепкие связи. Встреча с Сергеем Есениным была едва ли не самой значительной вехой на ее жизненном пути. Незадолго до смерти поэта она стала его женой, а после его смерти — обладательницей права на издание всех есенинских рукописей и такой фамилии, какая не могла не привлекать всеобщее внимание, — Толстая-Есенина.

София Андреевна Толстая-Есенина была высокой,

ширококоистой, с крупными чертами лица; при первой же встрече с нею каждому приходило в голову, что она очень похожа на своего деда — результат совсем неверного, но широко распространенного представления о внешности Великого Льва, ибо в действительности писатель был ниже среднего роста и довольно шупл; внучка походила на него разве что чертами лица. Несмотря на кажущуюся не очень внимательному глазу грубоватую внешность, София Андреевна была очень женственна, что проявлялось буквально во всем: в походке, в жестах, в манере говорить и смеяться, в мелких житейских привычках.

Семейные архивы свидетельствуют, что мужчины начали заглядываться на нее очень рано. Она не была ханжой ни в юности, ни овдовев. В отношениях с мужчинами она была честна и самоотверженна — может быть, поэтому и после отвержения они оставались ее друзьями. В пятьдесят лет она влюбилась в человека на девятнадцать лет младше себя, с которым познакомилась незадолго до его свадьбы с молоденькой и красивой девушкой. После этого знакомства он отказался от свадьбы, разорвал все прежние отношения и, несмотря на противодействие родных и знакомых, сошелся с Софией Андреевной, а когда ему показалось, что сплетни затрагивают ее доброе имя, оформил свои отношения с нею официально.

К сожалению, дальнейших испытаний его рыцарство выдержать не сумело. Через несколько лет София Андреевна тяжело заболела, и молодому супругу оказалась не под силу роль сиделки около приговоренного к медленному физическому и психическому угасанию человека, оказалось не под силу отринуть зовы юношеских соблазнов, которые постоянно его окружали. Она умерла в одиночестве — если не считать, что около нее была Евгения Николаевна Чеботаревская, подруга ее юности и ее черный гений в зрелые годы, на совести которой лежит, в частности, одна из причин

безжалостного поведения последнего мужа Софии Андреевны.

Болезнь Толстой как бы подвела черту под периодом жизни, в течение которого ей всегда везло и в течение которого ею только восхищались. Она поняла это очень рано, после первых же атак болезни, и очень тяжело переживала, что оказалось слишком много свидетелей ее поражения. Стараясь избежать любопытных и жестоких взглядов, она придумала версию об усиленной работе дома и в своем директорском кабинете не появлялась неделями. Не выходя из дома, она ежедневно говорила по телефону с несколькими сотрудниками, а двоих-троих из них сделала посредниками между собой и жизнью музея: она вызывала к себе домой то одного из них, то другого с документами на подпись, беседовала каждый раз по два-три часа, и, таким образом, всегда знала мельчайшие детали из жизни учреждения, которой она продолжала интересоваться и руководить.

Даже когда она почти полностью лишилась зрения, а болезнь вестибулярных органов не позволяла пройти и двух шагов, София Андреевна настойчиво требовала, чтобы ей докладывали о всех нуждах музея, диктовала письма в высокие инстанции, всегда зная, кого, о чем и в какой форме необходимо просить. Нельзя было без горечи видеть, как она, преувеличенно твердо держа в длинных пальцах ручку, медленно выводила свою подпись в огороженном карандашами и спичечными коробками квадратике бумаги, на которой было напечатано какое-нибудь категорическое требование. Дописав очень крупным, высоким и острым почерком последнюю букву своей фамилии, она облегченно вздыхала и, протянув документ, спрашивала с деланной небрежностью:

— Ну, как я сегодня подписалась? Надеюсь, не хуже министра финансов, а?

Увы! С первого раза подпись удавалась редко:

иногда, пока длились приготовления, успевали засохнуть чернила, в другой раз перо ничего не могло нацарапать, потому что держали его не той стороной, то расплывалась клякса, то роились брызги, то подпись не была похожа на образец, который находился в банке...

Однажды, когда София Андреевна еще бывала, хотя уже нечасто, в музее, туда пришел Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, сын поэта. Теперь, в 70-х годах, всемирно известный специалист по математической логике и борец против несправедливости властей в СССР, прошедший через аресты и психиатрические лечебницы кагебистов, тогда был он скромным хрупким юношей, Аликом Вольпиным, стихи которого ходили по рукам в среде любителей истинной поэзии. Он пришел, чтобы, как он сказал, „повидать женщину, которую любил его отец, которая была с ним рядом в последние годы”. София Андреевна его не приняла, выслала к нему секретаршу объяснить свой отказ какой-то явно надуманной причиной.

Через несколько дней, когда я пришел к ней в Померанцев переулок подписывать документы, она встретила меня неожиданными словами:

— Осуждаете меня!

Она не спрашивала, а утверждала: в те дни, что мы с нею не виделись, она думала о своем поступке, решила, что его свидетели ее осудят, и сейчас, взглянув на мое неловко отвернувшееся лицо, убедилась в правоте своих предположений.

— Не надо меня осуждать за него. Мальчик, чистый, не искалеченный жизнью мальчик! Только поздно он обо мне вспомнил... *Теперь* разве он увидел бы ту женщину, которую любил его отец?

Она подошла к высокому трюмо, стоявшему в конце коридора, и пристально вгляделась в небрежно одетую фигуру со спутанными седыми волосами, с поднятыми на лоб, как бы зацепившимися за густые седые же брови очками и с дорогой большой камеей на

морщинистой, очень темной шее. Указав кивком на свое отражение, она жестоко закончила:

— Он увидел бы эту старуху. И удивился бы поведению своего отца... А может быть, и возмутился бы им... Больно ему, конечно, сейчас... Но забудет! И этот день забудет, и меня забудет...

Она помолчала и печально добавила:

— Когда в корабле пробоина, первыми об этом узнают крысы, которые питались корабельными запасами. Узнают и бегут... Первые крысы уже побежали... Все эти Сурковы, Ломуновы, они уже забыли, что я еще существую на свете. Или, во всяком случае, пытаются об этом забыть.

Это было правдой. Она вступила в тот период, когда о ней действительно почти не упоминали, когда если и говорили, то только иронически или раздраженно. А стоило ей умереть, как один из ее прежних приятелей разразился в „Литературной газете” статьей, которую в потугах на „беспристрастность” наполнил гнуснейшими выпадами против той, которой совсем недавно, захлебываясь от комплиментов, целовал руки, и на могиле которой земля была еще сырою. (Я имею в виду Константина Федина; в те годы совчиновники от литературы со всех сторон окружали его прожекторами славы, чтобы вызвать хотя бы искусственно блеск росинки дарования у „старейшего, талантливейшего писателя”, однако блеснуть уже было нечему; „старейший и талантливейший” это понимал и брызгал желчью.)

В памяти многих София Андреевна осталась „Донной-Жуанитой”, „самодуркой”, в лучшем случае — „внучкой” и „вдовой”. А она, между тем, так огорчалась, когда ее воспринимали лишь в связи с Толстым или Есениным. Я вспоминаю, как она, исхудавшая после болезни, седая, остригшая свои длинные волосы (ей уже не под силу было за ними ухаживать), сидит в своем директорском кабинете под огромным репин-

ским портретом Толстого и грустно говорит, указывая на него:

— Мне никогда не давали забыть, что я живу под сенью этой бороды... А ведь я и без нее чего-то стою!

Да, она стояла многого. Прежде всего потому, что была умна и обладала большим жизненным опытом; весь свой ум, все свои знания, все свои связи и все свое упорство отдала служению имени и делу Толстого. Ее назначение директором музея было великолепной удачей для всех, кто ценил Толстого и занимался его творчеством. Уже первые шаги Софии Андреевны по вступлении ее в должность подтвердили это: ей удалось добиться принятия музея в систему Академии наук, что явилось серьезнейшей предпосылкой для настоящего расцвета толстоведения в СССР.

Работала София Андреевна в качестве директора поистине самозабвенно, поскольку свято верила в то, что духовное наследие ее великого деда сможет облагородить и современных ей людей, и современную ей жизнь. Если будет понята эта — главная — особенность ее взглядов, будет понято в ней все. Она, например, имела гордый и независимый характер, однако нередко казалось, что у нее нет элементарного самолюбия — и отнюдь не только с властью имущими, но и с собственными подчиненными, если только она считала их полезными для толстоведения. Она принадлежала к людям, которым говорить правду легче, чем лгать (сколько раз я наблюдал эффект от сказанного ею в глаза неприятной правды!), однако для того, чтобы процветало ее детище, она, не задумываясь, шла на обман и пускалась в интриги. Она обладала мягким юмором и вообще по своей натуре была добра, однако тех, кого считала врагом своего дела, она казнила и холодной язвительностью, и беспощадными административными репрессиями.

Она понимала фальшь и подлость того „социалистического” общества, в котором ей пришлось жить,

но внимательно следила, чтобы ее место в этом обществе было твердо за нею закреплено: дело, которому она служила, думала она (и, увы, была в этом права), без нее погибнет. Однажды, в самом конце 50-х годов, в музей пришли двое американцев, назвавшихся друзьями ее американской тетки Александры Львовны, которую к этому времени уже предавала анафеме вся советская пропаганда. Они попросили Софию Андреевну принять их, но та сказала,сь больной и поговорить с американцами поручила мне. (Я был в то время ученым секретарем музея, и, с официальной точки зрения, все было естественно, но американцам-то хотелось встретиться не с представителем музея, а с Софией Андреевной Толстой-Есениной! Впрочем, естественной моя миссия казалась тоже не всем — кагебисты, например, отнеслись к ней весьма подозрительно, и, если бы не решительная защита Софии Андреевны, я был бы уволен.) Позднее я спросил Софию Андреевну: неужели ей не хотелось встретиться самой с друзьями тетки? Она ответила очень просто:

— До смерти хотелось. И сейчас хочется и встретиться, и поговорить по-человечески. И поговорила бы, коли б вас всех вместе с музеем у себя под крыльями не прятала. Тетушке что? Как выражается один писатель, — полное удовлетворение любопытства. А ведь я не в Америке живу: боком выйдут мне мои родственные чувства — музей отнимут. А этого никак нельзя допустить: и дело погибнет, и вы все пропадете...

Тогда я впервые серьезно задумался о ее роли в судьбе нас всех, то есть большей части научных сотрудников музея, которые были приняты на работу только благодаря ей и которые никогда нигде не смогли бы устроиться вновь, если бы им пришлось покинуть музей: здесь были толстовцы, которые подвергались гонениям и до и после революции, были жены „врагов народа”, как тогда называли осужденных по политическим статьям, были еще не осужденные, но готовые

в любой момент к аресту — дворяне и эстеты, поляки и евреи, татары и Бог знает какие еще люди, жившие, как герой Кафки, с сознанием своей ни им самим, ни кому иному не известной, но не могущей не существовать вины. София Андреевна взяла их в музей, здесь они чувствовали себя полноправными, даже очень нужными людьми и честно отдавали делу, за которое она радела, и свое время, и свои силы, и свои знания. Я был в числе этих людей и, вероятно, поэтому поверил в искренность Софии Андреевны, когда она сказала, что в случае с Александрой Львовной пожертвовала своим личным удовольствием ради дела. Ведь вообще-то она была не из трусливых.

Помню, однажды в музей пришло трое стариков, одетых почти так, как одевались крестьяне в конце прошлого века, но с некоей модернизацией: онучи были заправлены не в лапти, а в ботинки на толстой подошве, вместо поярковых шляп на головах сидели кепочки-осьмиклинки, за спинами — не котомки, а рюкзаки. Оказалось, что это были толстовцы из Сибири, решившиеся на трудное многодневное путешествие, чтобы „пожаловаться советскому президенту на гонения иркутских властей”, которым подвергалась их община.

Список гонений был длинным — начинался он с отрезанного у общины соседним совхозом клочка земли и оканчивался отказом местных властей освободить общину от воинской повинности. В канцелярии „советского президента” ходокам в приеме отказали, и они пришли в музей Толстого искать правды у его дочери Александры Львовны. Сколько им ни твердили, что Александры Львовны в Москве нет, они никак не могли уразуметь, как ее может не быть во главе дела ее отца, если она еще жива. София Андреевна приняла их (несмотря на все объяснения, они остались убеждены, что сумели добиться встречи с самой Александрой Львовной, и так „матушкой Александрой Львовной” и

и величали Софию Андреевну во время беседы), отобрала из их просьб только реальные и добилась, чтобы „советский президент” их принял, — хотя ходатайствовать по их делам было для нее совсем небезопасно, да и имя, которым они ее, конечно, продолжали называть и во время высокой аудиенции, должно было вызвать у „советского президента” неприятные эмоции. Я отлично помню, какие эмоции вызвало это имя у человека, который через несколько лет после рассказанного случая сел в кресло „советского президента” — у Ворошилова.

ГЛАВА 3. АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ И КЛИМЕНТ ВОРОШИЛОВ

Все произошло в конце 1947 г. в стальной комнате, о которой я уже упоминал. Находилась эта комната в большом красивом здании, построенном лет полтора-два назад в стиле русского классицизма и занимаемом тогда музеем нового западного искусства. Обширный, с длинными анфиладами и высокими потолками, второй этаж здания был отведен под экспозиционные залы, в которых располагалась богатая коллекция полотен французских, бельгийских, немецких и других художников конца XIX — начала XX веков; на первом этаже были (кроме нашей комнаты) фонды и помещения для сотрудников.

С послевоенным открытием музея торопились, и, хотя экспозиция было очень интересной, многих, особенно тех, кто знал о существовании богатейших фондов, она не вполне удовлетворяла. Поэтому, когда мы узнали, что президент только что созданной тогда Академии художеств Александр Герасимов распорядился сделать в развеске картин какие-то перемены, мы не удивились.

В тот день, накануне, открытия новой экспозиции,

нас в стальной комнате работало двое — Татьяна Валентиновна Розанова и я. Обоим нам очень хотелось „пробежаться” по новой экспозиции, но закрыть хранилище было нельзя: ждали редакторов собрания сочинений Толстого, которым предстояло сверить по рукописям корректуры одного из печатавшихся томов. Мы обсуждали, кто из нас поднимется в залы первым, как дверь неожиданно открылась и в хранилище вошел заведующий хозяйством музея в сопровождении какого-то верзилы в парусиновом переднике — как я тогда подумал, нового рабочего для развески картин или реставратора. Деревянным тоном „уточнив” (хотя это было очевидно), что нас только двое, они попросили не выходить из комнаты в течение ближайшего часа. Наше удивление завхоз оставил без внимания, а верзила процидил сквозь зубы: „Есть распоряжение”.

Как только они вышли, мы выглянули в коридор — он буквально кишел аккуратными парнями в одинаковых брезентовых фартуках и белых халатах, из-под которых красовались отлично отглаженные брюки и до блеска начищенные ботинки. Парни были бравыми, плечистыми, грудастыми, с какими-то на один манер скроенными неподвижными физиономиями и повсюду бесцеремонно шныряющими и за все цепляющимися взглядами.

— Сколько же сюда искусствоведов в штатском согнали! — воскликнула Татьяна Валентиновна; дочь знаменитого психиатра В.И.Кожевникова, невестка известного литературоведа Ю.Н.Розанова, талантливая поэтесса, она любила слова меткие и красноречивые. — Видать, ждут важную птицу.

„Птица” действительно была важной. Прибыла она в огромном черном лимузине (достижении советского автостроения тех лет — „ЗИС-101”, который, как тогда говорили в Москве, Генри Форд назвал грузовиком с комфортабельными сидениями), сопровождаемом десятком других „ЗИСов” и „ЗИМов”.

Выйдя из машин, гости, почти добрая половина которых была в папах серого каракуля с красными донцами и в штанах с генеральскими лампасами, пропуская вперед невысокого коренастого военного в сверкающей золотом фуражке на макушке, направились к парадной лестнице, ведущей в залы. Около военного семенил (казалось, одновременно находясь с двух сторон) Александр Герасимов в черной отутюженной тройке, белоснежной рубашке с торчащими на три пальца манжетами и в синем с крупными белыми горошинами галстук-бабочке. На его круглом бабьем лице было выражение подобострастия, которое, как это ни странно, сумело ужиться здесь с обычной для Герасимова самоуверенностью.

У подножья лестницы Герасимов указал военному на только вчера повешенные сюда две большие картины (не помню сейчас, чьи, но помню, что сюжет был мифологический) и, после нескольких сказанных тихо и доверительно фраз, которых я не расслышал, громко воскликнул: „Сам увидишь: везде голые... И этим вынуждена удовлетворяться наша молодежь!” Несоответствие шикарного вида и патетического тона Герасимова не очень-то грамотно употребленному слову „удовлетворяться” и совсем уж неграмотному ударению в слове „молодежь” меня так ошеломило, что я неосторожно высунулся и сразу же был замечен одним из „искусствоведов”, который незамедлительно водворил меня в стальную комнату.

Пока мы с Татьяной Валентиновной обсуждали, как хорошо поставлено дело у кагебешников (тот, что меня заметил, выпроводил не куда-нибудь, а именно туда, где мне надлежало быть) и почему покровитель художеств, которому Герасимов показывает экспозицию, затянут в униформу, прошло с полчаса.

Неожиданно дверь открылась, но вместо рыжего пиджака завхоза, которого мы ждали, чтобы он нас выпустил, на пороге появилась голубая шинель нашего

мецената. Теперь он стоял всего в нескольких шагах от меня, да и фуражка, прежде отвлекавшая мое внимание переливами золота и кумача, уже была снята с коротко стриженных седоватых волос — я узнал Ворошилова. Еще с детства я знал (из набившей оскомину песни), что он — „первый красный офицер”, а совсем недавно (из другой подобной же песни) почерпнул, что он — „первый маршал” и в качестве такового „в бой нас поведет”. Конечно, я был далек от того, чтобы предполагать, что Ворошилов никогда не слезает с лошади, однако я был убежден, что инспектировать ему больше пристало кавалерийское училище или какой-нибудь музей вооруженных сил, но уж никак не картинную галерею.

Оставив у дверей свиту, в которой прежде всего бросался в глаза блин герасимовского лица, обрамленный сверху подвитыми потными кудрями, а снизу сине-белой бабочкой галстука, Ворошилов мелкими шажками (каблуки его высоких сапог были немного выше обыкновенных) прошел на середину комнаты и энергично сжал сначала мою руку, а затем руку Татьяны Валентиновны.

— Вот тут, значит, и творил наш великий гений? — сразу начал он таким тоном, как будто „великий гений” был откомандирован „творить” его, Ворошилова, личным штабом.

Тогда я еще не знал, что передо мной — начальник отдела культуры ЦК КПСС, то есть человек, определяющий уровень и характер культуры всей страны, и потому его бойкий ростовский говорок и мещанская полуграмотность фразы меня почти не удивили (тем более, что при сравнении с президентом Академии бывший луганский слесарь, окончивший всего два класса сельской школы, явно выигрывал). Я объяснил, что сам Лев Толстой в этом здании никогда не бывал и что комната используется под хранилище рукописей лишь с 20-х годов. Хотя сказал я это тоном очень мягким и

осторожным, маршал с первых же слов моей фразы нахмурился, а стоило мне ее окончить, громко скомандовал:

— Покажите рукописи!

— Какие именно? — кротко спросил я, и он неожиданно смешался.

— Какие? А какие вы можете показать?

Я начал рассказывать о создании произведений, рукописи которых находились в стальной комнате, открывая шкаф за шкафом и указывая на соответствующие папки. Маршал слушал с интересом. На него, например, произвело впечатление, что после перезда Толстых в Москву девятилетний Левушка написал патристический рассказик о московском кремле, а когда он узнал, что в молодости граф поступил вольноопределяющимся, т.е. добровольцем, в действующую армию и прошел службу от ефрейтора (при Толстом этот чин назывался фейерверкер четвертого класса) до (говоря сегодняшним языком) старшего лейтенанта, из него высыпалась целая куча вопросов: когда служил Толстой? в каких войсках? под чьим началом? в какой местности? хорошо ли нес службу? почему ушел в отставку?... Он совсем забыл о свите, топтавшейся у порога, и только когда я сказал об ордене, к которому юного офицера представили за отвагу и от которого он отказался в пользу одного из своих солдат, Ворошилов обернулся к свите с какой-то восторженной фразой, но, увидав с готовностью шагнувшего ему навстречу Герасимова, махнул рукой и замолчал.

Тем не менее Герасимов, который уже давно порывался что-то сказать, решился открыть рот:

— Так как же, Клим, будет с комнатой-то? — спросил он. — Сейф — ведь это, значит, полный порядок в смысле гарантии! Холсты членов вновь созданной тобой Академии художеств хранили бы здесь... А? Очень нам эта комнатка была б нужна...

Президент Академии явно тщательно продумал

свою тираду, однако выступил с нею совсем не вовремя. Маршал просто рассвирепел, что его хотят отвлечь от беседы о военных заслугах Толстого:

— Нужна! Нужна!.. А Лев Толстой?! Толстой тоже нужен... Нашему советскому народу нужен! Комната будет ихней! — кивнул он в нашу сторону, и Герасимов вдавился в свиту. — А теперь какую-нибудь папочку из последних выньте, из тех рукописей, когда он уже классиком был, — совсем иным тоном обратился Ворошилов ко мне и неожиданно весело подмигнул. — Как он писал-то тогда, ваш старикан? Говорят, неразборчиво, а?

Я достал рукописи двух десятков начал „Анны Карениной” и объяснил, что причина усиленных поисков писателя заключалась в том, что Толстой хотел создать такое начало, чтобы читатель сразу окунулся в гущу событий и чтобы он там в то же время не чувствовал себя ни с кем не знакомым. Потом показал, как, пытаясь дать читателю „Воскресения” зримое представление о глазах Катюши Масловой, Толстой перебрал множество эпитетов, пока глаза стали „слегка косящими и блестящими, точно мокрая смородина”. Потом... потом я заметил, что Ворошилов смотрит не в папки с рукописями, а читает надписи на шкафах.

— А тут что за документы? О каком это окружении? — подозрительно спросил он, ткнув пальцем в знакомое слово на этикетке одного из шкафов. Однако узнав, что слово употреблено совсем не в том смысле, в каком оно употребляется в военных сводках, и что имеется в виду всего-навсего тесный круг единомышленников и друзей Толстого, Ворошилов молча прошел к следующему шкафу.

— А это что за письма — „А.Л.Толстая к Л.Н.Толстому”?

Я был уверен, что нельзя ожидать от нашего гостя знания семейных связей Толстого, и потому начал объяснять, что речь идет о письмах Александры Львовны, любимой дочери писателя...

Однако на этот раз его осведомленность я недооценил.

— Любимая-то любимая, — неожиданно и раздраженно оборвал он меня, — а чего она с американскими попами против наших попов выступает?! Хоть и попы, а наши! А она — американская...

Фразы он не окончил, и мы так и не узнали, шпионка ли она американская или что-то того похуже. Зато мы узнали, что Александра Львовна недостойна своего отца, потому что борется с тем обществом, за которое страдал он; что борется она в Соединенных Штатах, где специально для этой цели купила „Ред ферму” (второе слово он произнес по-русски, а первое — по-английски — вероятно, выговорить, что „красная” ферма принадлежит антикоммунистке, он был просто не в силах); что на этой ферме „она всю ведет подготовку шпионов против СССР”; что свои козни она строит на деньги, которые ее отец („чтобы не поддерживать русского царя экономически”) хранил за границей; что она и сама вывезла из Советского Союза немало денег; что, наконец, он, Ворошилов, как-нибудь выберет время и посетит музей Толстого, чтобы лично выяснить, как здесь „трактуются эта предательница родины”.

После такого „ужо вам” маршал удалился, оставив после себя запах каких-то совсем незнакомых духов, который стоял в комнате дня два.

А через неделю, когда в „Известиях” было опубликовано сообщение, что учительница из советского посольства в Соединенных Штатах Оксана Косьенкина была „провокационно задержана безответственными лицами” и переправлена на ферму Толстовского фонда, мы — благодаря посещению Ворошилова — поняли, что этот первый публично объявленный советскими властями побег из их рая затронет и наш, казалось бы, сугубо литературный институт.

Ждать этого пришлось недолго. Из экспозиции литературного музея Льва Толстого приказано было изъ-

ять все фотографии крамольной дочери, со стен мемориальных музеев в Москве и Ясной Поляне были сняты все ее портреты, научная библиотека перестала выдавать книги с упоминанием ее имени, а в стальной комнате содрали со шкафа злополучную этикетку.

Даже портрет жены Толстого, повешенный в семейной спальне в Хамовническом доме самим писателем, спрятали в подвал — поскольку художник Николай Ге изобразил хозяйку дома с трехлетней дочерью Александрой на руках. На месте портрета долго еще выделялся большой яркий прямоугольник, поскольку за сорок лет обои основательно выцвели, а указаний, что с этим пятном делать, начальство не давало. Наконец, администрация музея на свой страх и риск повесила этикетку: „Экспонат в работе”. Впрочем, вскоре после этой самостоятельной акции пришло распоряжение сверху (я тогда подумал, не мой ли знакомец Климент Ворошилов его подмахнул), вводившее в законное русло все благоглупости, которые надлежало выполнять, чтобы преступного имени не было ни написано, ни произнесено. Например, перечисляя детей Толстого, экскурсовод должен был „случайно” забыть Александру, а на вопрос экскурсантов, кто из детей был к нему ближе (вопрос квалифицировался как „провокационный”), — отвечать, что „особой близости у писателя со своими детьми не было”, а когда, наконец, многострадальный портрет все-таки был водружен на свое место, о нем приказано было сообщать: „Здесь художник Николай Ге изобразил жену писателя с одной из ее дочерей”; даже в 90-томном собрании сочинений Толстого, редакция которого специально оговорила свое обязательство публиковать все наследие писателя без каких бы то ни было купюр, каждое упоминание имени Александры заменялось многоточием (а по поводу одной из дневниковых записей, где Толстой, перечисляя имена катавших вместе с ним на коньках, упоминает „Сашу”, разгорелась в редакционном

комитете целая баталия: куратор из ЦК, некий „философ и литературовед” Н.Кружков требовал вместо са-краментального имени напечатать слова „и еще кто-то”, а редакторы тома, отчаявшись сохранить подлинный толстовский текст, предлагали запись о катании на коньках выбросить вообще).

Обыкновенно в СССР перед тем, как кого-то предать анафеме или ввести в действие какие-то новые проскрипционные списки, или просто накануне декретирования каких-нибудь необъяснимых глупостей или гадостей, ЦК дает указание читать на закрытых партийных собраниях якобы что-то объясняющее „партийные документы” — с тем, чтобы потом, уже просветившись таким путем, члены партии могли растолковать простым смертным, в чем именно состоит мудрость нового партийно-правительственного документа или поступка.

В случае с Александрой Львовной так не произошло — видимо, надеялись, что обойдется без всесоюзной огласки, а только для партийцев музея Толстого ничего подобного устроить было невозможно, поскольку там работал один-единственный член партии, да и тот, к слову сказать, в верхах имел посредственную репутацию, ибо был то ли племянником, то ли дядей широко известного в русской эмиграции певца Александра Вертинского (о чем в иные периоды *наш* Вертинский умалчивал, а в иные — этим гордился).

Отсутствие централизованной информации об Александре Львовне Толстой прежде всего коснулось экскурсоводов: они боялись теперь отвечать на самые невинные вопросы о ней, влопад и невлопад бубня, что „младшая дочь писателя в настоящее время живет в Америке”. Один из ленинградцев как-то сказал, что в Москве слухи распространяются со скоростью света. Распространение слухов об Александре Львовне это подтверждает: теперь не проходило дня, чтобы кто-нибудь из экскурсантов (число которых заметно увеличилось) не спросил наигранно-равнодушным тоном:

„А поддерживает музей корреспонденцию с родственниками Толстого, с Александрой Львовной, например, — она ведь жива, кажется?” Или: „А кто из родственников Толстого был самым усердным секретарем в последние годы его жизни?” Или: „А как звали старшую дочь Толстого? Она жива? А младшая?”

Наконец, по-видимому, какой-нибудь стукач сообщил наверх, что, мол, „с Александрой Львовной не все в ажуре”, и там решили, что без „соответствующих указаний” не обойтись. Однако для прямых „указаний” время было упущено, и потому сверху было приказано опубликовать в центральных газетах заявление родственников Толстого, осуждающее преступную деятельность их тетушки (родственники все были внуками и внучками писателя).

Сотрудники музея очень жалели тогда внуков, понимая, что в условиях тех лет не подписать предложенного им заявления они просто не могли. (Да и им ли этого было не понимать, добавлю в скобках, если, как уже сказано в предшествующей главе, большинство из них имели возможность познакомиться с деятельностью ГБ на личном опыте или на опыте своих близких.) Осуждал внуков за это заявление только один человек в музее — бывший секретарь Толстого Н.Н.Гусев, который вообще вел себя весьма независимо.

ГЛАВА 4. Н.Н.ГУСЕВ И В.Ф.БУЛГАКОВ

Гусев был очень интересным и противоречивым человеком. Пожалуй, самым интересным человеком в музее. Разве что София Андреевна Толстая-Есенина могла с ним в этом отношении тягаться. Противоречивость же Гусева имела своим источником противоречие между этическими нормами толстовского учения, которому он старался следовать без компромиссов, и жизнью советского общества, которая вся была пропи-

тана ложью и вероломством. Решив, что для него благом будет неприятие этой жизни, практически он не мог не соприкасаться с нею; к тому же часто он и не хотел не соприкасаться, надеясь своим вмешательством если не победить зло, то наказать за зло.

Впервые я увидел Н.Н.Гусева еще до своего поступления в музей, когда пришел на публичную защиту диссертации Николаем Николаевичем Арденсом (Апостоловым). Самой диссертации я не читал, но знал, что это итог почти тридцатилетней работы ее автора над творчеством Льва Толстого и что присвоение докторской степени в данном случае предрешиено.

Выступление соискателя было серьезным, а отзывы официальных оппонентов А.И.Белецкого, Н.К.Гудзия и (кажется) Н.Л.Бродского сливались в единый панегирик. Я засмотрелся на секретаря Ученого совета, уже суетившегося с бюллетенями для голосования, как вдруг заметил, что рядом с трибуной появился крепкий старик с длинными, совершенно белыми волосами, сквозь которые просвечивала ярко-розовая кожа.

— Слово имеет бывший секретарь Толстого профессор Николай Николаевич Гусев, — услышал я возглас председательствующего.

Пока я разглядывал доброе лицо с мясистым красным носом, с белыми щетинистыми коротко постриженными усами и бородкой, профессор вынул из бокового кармана темно-серой наглухо застегнутой куртки картонный обшарпанный футляр, вытряхнул из него очки с овальными стеклами в железной оправе и начал старательно зацеплять за ухо веревочную петельку, заменявшую сломанный заушник. Надев, наконец, очки, он тут же поднял их на лоб и, методично доставая из туго набитой такой же обшарпанной школьной сумки книги с закладками, дружелюбно, как мне показалось, посмотрел на соискателя:

— Ты уж меня извини, Николай Николаич, я — оп-

понент неофициальный и потому не могу без возражений...

— Иного я и не ждал, Николай Николаич, — отозвался настороженно тезка. — Конечно, это — твое право. Только постарайся быть объективным.

— А я ведь все время, пока читал твою рукопись, нарочно старался быть *необъективным*, — с сильным ударением на отрицании возгласил Гусев и обратился к оживившейся аудитории. — Потому что хотел, чтобы моя любовь к Николаю Николаевичу оказалась сильнее той галиматии, которую он собрал в своей рукописи!

После монотонной торжественности предшествующих выступлений это неакадемическое словцо, к тому же и сказанное каким-то звенящим от сдерживаемого торжества голосом, прямо-таки взорвало зал: все задвигались, зашумели — кто порицая Гусева, кто его одобряя, большинство же просто удивляясь его выходке. Председатель, перекрикивая зал, обращался к Гусеву с какими-то укоризненными словами, но тот был как будто полностью поглощен содержимым большого портфеля, из которого, опустошив сумку, он доставал книги. Только время от времени он быстро вскидывал побагровевшее лицо и поглядывал маленькими, злобно сверкавшими из-под белых бровей глазками в сторону беспомощно разводившего руками Арденса.

Наконец зал утих, и Гусев начал попеременное чтение то пассажей из диссертации, то цитат из сложенных на кафедре тремя высокими стопками книг, добавляя иной раз собственный лаконичный комментарий. Через двадцать минут председательствующий напомнил о регламенте, но аудитория дружно запротестовала. Гусев говорил полтора часа — в зале стояла тишина. Когда состоялось голосование и счетная комиссия унесла ящичек с бюллетенями в соседнюю комнату, никто не ушел — небывалое дело.

Наконец появился совершенно растерянный секре-

тарь и объявил, что за присвоение степени подано всего два голоса (значит, даже один из официальных оппонентов, только что певших соискателю дифирамбы, проголосовал против). Наступила такая тишина, что было слышно прерывистое, похожее на всхлипывание, дыхание Арденса. Потом кто-то бесшумно выскользнул наружу, потом другой, третий — поодиночке и робко, потом как-то сразу распахнулись все двери, и в мгновение зал опустел. Осталось лишь несколько человек, которые на пути к выходу задерживались перед Арденсом и, не глядя ему в лицо, высказывали соболезнование — как на похоронах...

Через несколько дней стало известно, что жена Арденса заболела тяжелым нервным расстройством, потом заболел и он сам. Оправившись, он уволился отовсюду, где до того работал, и уехал в Ташкент.

К тому времени я уже поступил в музей, где почти каждый день видался с Гусевым, и могу сказать с полной ответственностью, что он не только не испытывал никакого сожаления или раскаяния, а напротив, долго еще гордился, что с таким блеском, с такой убедительностью осуществил задуманную много лет назад кару. Он считал, что у Арденса нет должного пиетета к Толстому и что подлинная цель его работы была осветить в лучах толстовской славы собственное имя. Старый толстовец признавал только бескорыстное и восторженное служение своему идолу и сам был примером такого служения. Никаких степеней в ту пору он не имел и защищать диссертацию отказался (звание профессора он получил по занимаемой им в Педагогическом институте должности). Злые языки, правда, говорили, что в случае с Арденсом играла роль зависть. Думаю, однако, что главным мотивом Гусева было стремление поддержать справедливое расположение сил в толстоведении — а это он всегда почитал своим святым долгом.

Хотя подобная нескромная претензия выглядит

для толстовца по меньшей мере странно, надо сказать, что объективно Гусев имел на нее право больше, чем кто бы то ни было другой, потому что оценка вклада каждого из нас в науку о Толстом была под силу только одному Гусеву — благодаря его колоссальной осведомленности в толстоведении, неутомимой работоспособности и фантастической для его возраста памяти. Сколько раз мне приходилось убеждаться и в его блестящем знании толстовских текстов (множество цитат из художественных и публицистических произведений писателя он знал наизусть), и в основательном знакомстве с толстовианой, независимо от того, вышла ли критическая работа восемьдесят лет назад или на прошлой неделе, была ли это фундаментальная глубокая книга или пустяковая поверхностная статейка.

К сожалению, Гусев не знал языков, но и это ему не мешало быть в курсе всего, что писалось о Толстом на Западе, — особенно мемуаристами и биографами. Мне приходилось заставлять его за работой вместе со своей помощницей, когда та бегло читала ему вслух по-русски книгу, написанную на одном из знакомых ей четырех языков, а он быстро набрасывал стенографические значки на аккуратно нарезанных, но когда-то уже исписанных с оборота листках. Несмотря на возраст, работал он практически целый день, часов сто в неделю.

Превосходство Гусева над другими толстоведами было настолько явным, что его чувствовали и они сами. Одни из них воспринимали это превосходство как нечто естественное и публично подчеркивали свое уважение к „патриарху”; другие, хотя такое превосходство и признавали, но всем и каждому объясняли его преимуществами возраста Гусева или личным влиянием на него Толстым (с которым тот, кстати сказать, работал меньше двух лет и совсем еще юношей); третьи снисходительно говорили (за глаза, конечно), что он только „фактограф”, ибо „не владеет современны-

ми методами литературоведения”, что он „политически малограмотен”, „далек от марксизма-ленинизма” и т.д. Кстати сказать, последние были совершенно неправы, ибо он основательно проштудировал и Маркса и Ленина, и даже Сталина, однако подошел к их изучению не предвзято, а с научной объективностью — как к любым иным авторам, и потому полные противоречий труды „основоположников” не в силах были поколебать его убеждений толстовца.

Сам Гусев отлично знал, кто как к нему относится, и всегда отвечал взаимностью: за обиду обижал, за услугу брал под свою опеку — в обоих случаях воздавая сторицей и действуя открыто. В этом смысле отношения, сложившиеся между им и мною, полностью характеризуют его отношения с людьми вообще. Поступая в музей, я не был толстовцем или толстоведом — я переступил порог этого храма без благоговения и лишь потому, что это был единственный порог, за который меня не только пускали, но за которым я обретал хлеб насущный. Уже это должно было предопределить холодное, если не враждебное ко мне отношение преданного делу Толстого человека. Так на самом деле и было. Решив с первых дней моего появления в музее, что я „из молодых, да ранних”, он не проявлял ко мне никакого интереса (чтобы не сказать — проявлял пренебрежение), хотя я занимался важной для него темой: перепиской Толстого с женой.

Такое отношение к себе я считал тогда несправедливым и с нетерпением ждал случая, чтобы показать старому толстовцу, что шит не лыком. Вскоре случай представился: мне удалось уточнить десятка два датировок, которые в „Летописи жизни и творчества Л.Н.Толстого”, составленной Гусевым, были неверны, неточны или вообще отсутствовали. Сделав список всех необходимых, на мой взгляд, исправлений и дополнений к „Летописи”, я отправился к Николаю Николаевичу. Жил он во дворе музея, и потому мечтать

о том, как будут оценены моя работоспособность, моя даровитость и, главное, мое благородство, мне пришлось совсем недолго.

Но все произошло совсем не так, как я думал. То ли старик не расслышал, что я ему сказал (он уже тогда был туговат на правое ухо, левым же не слышал давно), то ли вообще не ожидал от „стиховеда” и „формалиста” (как он меня именовал в то время) ничего хорошего, но стоило мне ответить на его обычный в таких случаях вопрос — „зачем пожаловали, господин стиховеда?” — как он начал совсем неожиданно багроветь, да так сильно, что на его теперь будто размалеванной суриком физиономии брови, усы и бородка выступили ослепительно чистыми клочками ваты. Отстранив мою руку с перечнем злосчастных поправок, он зазвенел дрожащим от сдерживаемого возбуждения голосом:

— К вашему сведению: в те годы, когда я работал над „Летописью”, многих писем в моем распоряжении не было и вообще не могло быть! А самое главное: начинать научную карьеру с подсиживания старших — дурно!

Он так раскипятился, что не понимал и даже не слышал ничего из того, что я ему объяснял — только бубнил свои две фразы, поворачивая их и так, и сяк. Наконец, я уже не мог больше стерпеть бессмысленность и унижительность своего топтания у порога и, взявшись за ручку двери, заявил, что будь Толстой на его месте, он так никогда не поступил бы. Не помню уж, почему я сказал эту фразу, вернее всего потому, что уйти просто так мне казалось неудобным, но совсем для меня неожиданно она произвела на Гусева сильнейшее действие: его лицо стало терять багровость, он взял из моих рук листок с поправками и пригласил войти. Потом, установив на место вывалившийся было вставной бюгель, совсем спокойно спросил, где я собираюсь все это публиковать. Когда же выяснилось,

что публиковать поправки я сам не предполагал и что пришел к нему, чтобы передать их для его работы над вторым изданием „Летописи”, он со всего размаха шлепнул себя ладонью по лбу и громогласно взревел:

— Ах я старый дурак! Совсем, значит, нюх потерял! Вот, значит, вы какой?! А я-то думал, такой же разбойник, как все эти Ждановы и Ломуновы... (Оба были коллегами Гусева — первый еще в 20-е годы покушался на его квартиру, а второй допекал его требованием „рассматривать наследие великого писателя в свете семи статей Ленина о Толстом”.) Садитесь-ка за стол, сейчас нам Катерина Сергеевна чайку с вареньицем даст...

Мне было и не до чая, и не до варенья: Однако я знал, что жена Николая Николаевича воспринимает каждое его слово как приказ, который не может быть не выполнен, и покорился. Гусев углубился в сравнение текста своей книги с поправками, а я, наблюдая за Екатериной Сергеевной, незаметно для себя задумался о судьбе этой женщины. Происходила она из семьи тульского дворянина Серебровского, образованного и талантливого архитектора, украсившего родной город несколькими десятками красивейших домов и давшего прекрасное образование своим двум детям. Брат ее стал биологом, совсем молодым был избран в Академию наук, но в годы разгула Лысенко (как тогда мрачно каламбурили — в период облысения биологической науки) подвергся травле как „последователь лжеученых Вейсмана и Моргана” и в лагеря не попал только потому, что своевременно скончался.

(В те времена, к слову сказать, такой участи многие завидовали; я помню, например, как радовались друзья профессора-литературоведа Г.А.Гуковского, когда он умер вскоре после ареста: таким путем сам он не успел испытать всех ужасов гебистских застенков, а его семья избежала конфискации имущества, произвола и бесправия, на которые были обречены семьи „врагов народа”.)

Екатерина Сергеевна с детства была замкнутой, религиозной, совсем не знала грубых сторон жизни. Может быть, именно поэтому марксистам удалось распространить на нее свое влияние, и в старших классах гимназии она стала активнейшей революционеркой, выполнявшей рискованные задания группы, и была даже бита казацкими нагайками. Однако когда она познакомилась со статьями Толстого, ее взгляды опять решительно изменились: она стала последовательной — я бы сказал, одержимой — толстовкой. Именно благодаря этой одержимости толстовством в ее отношении к Гусеву, которое я наблюдал, были не только любовь к мужу и уважение к незаурядному по своим личным качествам человеку, но и преклонение перед „секретарем самого Толстого“, перед духовным наследником „учения великого мыслителя“.

Вспомнился мне тогда один случай. Николай Николаевич должен был идти обедать в одну из ближайших к дому столовых, перед входом в которую неожиданно свалили машину кирпичей. Тот, кто хотел поесть, должен был взбираться на двухметровую гору кирпича и потом слезать с нее. За полтора часа до обеда Гусева в ту же столовую отправилась Екатерина Сергеевна. Увидев кирпичи, она ужаснулась, что Николаю Николаевичу предстоит преодолевать эту гору, и начала ее разбирать, перекладывая по кирпичику то налево, то направо. Потратив весь свой обеденный перерыв, она проделала вполне проходимую тропинку и, потная, голодная, но сияющая — вернулась в хранилище рукописей, где тогда работала. Николай Николаевич об этом случае так никогда и не узнал.

После того первого чая у Гусевых Екатерина Сергеевна, с которой мы работали в одной комнате, горячо принялась меня обучать чтению толстовских рукописей, рассказывая о характере работы Толстого, его условных сокращениях, методах прочтения трудных мест и примерах разрешения сложных текстологи-

ческих сомнений такими мастерами этого дела, как М.А.Цявловский, Н.Н.Гусев, В.И.Мишин и другие.

Николай же Николаевич совсем изменил ко мне отношение, что называется, записал меня в свои друзья: интересовался моей семейной жизнью, взаимоотношениями с друзьями и знакомыми, научной работой. Хотя в своих отношениях с людьми я рано вышел за пределы круга своих однокурсников, однако до того времени всегда находился в доброжелательной и даже исключительно внимательной ко мне среде. Придя в музей, я стал похож на человека, который после многолетних плаваний в бассейне вышел в залив; к тому же по молодости лет я считал, что это не залив, а открытое море, и радовался, что оно столь же спокойно, как и тот прежний бассейн.

Гусев хорошо все это понял и раскрыл мне глаза и на то, что я нахожусь еще в закрытом заливе, и на то, сколько в этом заливе подстерегает меня опасностей. Делал это он, рассказывая различные истории из своей жизни, которые были построены на аналогии и назидании и которых его память сохранила великое множество.

Кроме того, он стал усиленно покровительствовать мне в моей научной работе. Впрочем, покровительство его было совсем необычным: хотя и в дирекции Института мировой литературы, и (особенно) в толстовском музее его рекомендации весили очень много, я не знаю случая, чтобы он когда-нибудь где-нибудь замолвил за меня словечко. Зато он читал еще в рукописях все мои книги и статьи, по своей доброй воле и бесплатно писал на них для редакций рецензии, учил меня обходить цензуру, когда хочешь написать правду, советовал мне, как беседовать с тем или иным чиновником от литературы, характер каждого из которых он отлично знал.

В те годы я жил в очень стесненных материальных условиях, и Николай Николаевич охотно давал мне деньги займы — большие суммы и на очень долгие

сроки. Обычно в ответ на мою просьбу он спрашивал, „для чего это вдруг понадобилось так много”, и, выслушав ответ, очень часто твердо заявлял:

— Боюсь, что вы не уложите в такую малость. Возьмите-ка вдвое на всякий случай, я ведь процентов не беру.

Всегда спрашивая о целях, он совсем не интересовался сроками возвращения. Мне помнится даже случай, когда, узнав от кого-то об очередном моем финансовом затруднении, он отозвал меня в сторону и, вручая деньги (хотя я еще не отдал предыдущий долг), сказал:

— Вернете все сразу, когда Аня пойдет работать. (Дочери тогда исполнилось 16 лет, и он отлично знал, что „работать она пойдет” только после окончания института, то есть лет через семь.)

Последние 300 рублей я отдал ему, уже навестив его на смертном одре, больного, слепого, за год до того потерявшего жену, но все же сильного духом.

Очень часто, придя к нам в хранилище или зазвав меня „на минутку” к себе домой, он подробнейшим образом рассказывал о своих выступлениях в различных институтах, обществах, комиссиях и организациях. По характеру он был боец, каждую несправедливость, свидетелем которой он оказывался даже случайно, воспринимал как свое личное дело и воевал всегда до полной победы или полного своего поражения. Он был очень опытен в таких войнах и часто, зная или догадываясь, что я намереваюсь вступить в публичную схватку, просил рассказать предварительно о моих аргументах и „об их” предполагаемом ответе. Выслушав, резюмировал: „Давайте, действуйте: это вы их крепко!” Или: „Не годится: этих разбойников голыми руками не возьмешь!”

Не помню случая, чтобы его предсказания по поводу исхода чужих боев не сбылись, хотя результаты своих собственных выступлений он всегда воспринимал

как неожиданность. Впрочем, в процессе самой словесной схватки он ориентировался, несмотря на свой возраст, умно, быстро, четко, всегда принимая правильное решение о характере „заключительного слова”.

Помню, как в 1949 (или 1950?) году власти открыли против него сильнейшую кампанию. Началось с того, что ему снизили в два с половиной раза зарплату, мотивировав это тем, что он не защищал диссертации (50 лет литературной работы, сотни серьезнейших трудов и множество учеников оказались „не имеющими значения”). Однако старик был крепким орешком: скандала не устроил и с работы не ушел. Тогда по Москве пустили слух, будто бы еще в 20-х годах он был в каком-то трамвае чемодан с рукописями Толстого и что теперь крадет рукописи писателя из архивохранилища и переправляет их за границу. Как ни абсурдны были обе сплетни, со стариком „беседовали” и в милиции, и в ГБ. Его не арестовали, но вызывали на Лубянку не один раз.

Решив, видимо, в конце концов, что дух старого толстовца сломлен, в дело пустили газету „Культура и жизнь” — пожалуй, самый реакционный печатный орган, существовавший когда-нибудь на русской земле. Издавался он под непосредственным кураторством ЦК партии, а это значило, что если сверху по телефону кидали „Ату!”, то газета, гремя цепью и волоча за собой конуру, сразу же принималась облаивать кого и как было угодно ее хозяевам. На своих страницах газета называла это „принципиальной партийной критикой”. Цель такой критики заключалась в том, чтобы, смешав с грязью и совершенно раздавив литератора, вынудить его обратиться к „уважаемой редакции” с просьбой опубликовать его покаянное письмо.

Получив задание ошельмовать Гусева, газета выбрала для предлога только что вышедшую небольшую (страниц 25-30 карманного формата) популярную книжечку, написанную им в помощь экскурсоводам, и

опубликовала совершенно хулиганскую о ней статью, в которой называла автора „носителем немарксистских и по существу антимарксистских взглядов”, „неразоружившимся толстовцем” и „человеком, не имеющим представления о подлинной ценности Толстого”. Старого ученого, всю жизнь отдавшего познанию творчества своего кумира, особенно задело последнее ругательство, хотя два первых были более опасными, являясь „политической квалификацией” или, проще говоря, призывом к всеобщей травле. После появления статьи все ожидали отклика Гусева, но он публично никак не реагировал. Тогда ему сообщили, что „общественность требует обсуждения его деятельности”, и назначили для этого заседание Ученого совета.

На заседание явились два кнутабойца из „Культуры и жизни” и распорядитель из аппарата отдела культуры ЦК; местные власти представлял восседавший в прекрасно отглаженном (как и у высоких гостей) костюме Игорь Николаевич Успенский. Виновник собрания пришел в своей неизменной серой куртке и, как всегда, с набитой до отказа обшарпанной школьной сумкой, сел в угол и на приглашение „пройти к столу” твердо ответил: „Спасибо. Мне здесь удобно”.

Началось „обсуждение”. В своих выступлениях пришедшие говорили, что труды Гусева заключают в себе „вредоносный элемент для простого читателя” и доказывали это перевранными, обрезанными и приобретающими вне контекста иной смысл цитатами (Успенский согласно кивал и даже громко поддакивал). Гусев попытался было указать на фальсификацию его мыслей, но ему хором (видимо, заранее договорились не позволить перехватить инициативу) объявили, что он „получит слово в свое время”. Старик замолчал, положил набитую сумку на колени, на нее — лист бумаги и начал усердно лепить один к одному стенографические значки. Свыше двух часов пришлось ему заниматься этим делом. Затем его спросили, письменно или устно он хочет выступить.

— Про письменно еще не знаю, а сейчас буду устно. После перерыва, конечно.

И вышел. Ему кричали, что едва ли перерыв необходим, потому что от него ждут только „делового короткого заявления”, но он сделал вид, что не слышал.

После перерыва его спросили, сколько ему понадобится времени. Он удивился:

— Ведь я-то не спрашивал, сколько вы будете говорить...

— Да, но серьезность наших задач...

— А коли вы понимаете, что моя задача сейчас серьезна, дайте мне ее спокойно выполнить.

В зале засмеялись.

— Пятнадцать минут, — крикнул Успенский, видимо, испугавшись, что Гусев начинает завоевывать симпатии.

Старый ученый запротестовал, однако приезжие нестройно, но громко завопили: „Пятнадцать!” — аудитория же, одной половине которой хотелось поскорее домой, а другая старалась выслужиться (такие „обсуждения” всегда на виду у ГБ), его не поддержала.

— Как решили? — спросил Гусев у сидящих рядом и приложил к уху ладонь: когда волновался, он слышал совсем скверно.

Ему сказали, и он начал записывать вынутые было из сумки книги обратно. Записав кое-как, громко сказал:

— Тогда я буду говорить еще меньше, чем вы ждете. Все, что здесь было сказано, ко мне никакого отношения не имеет. Хотя делался вид, что цитаты взяты из моих писаний, это чистая чепуха. Вранье все это! На самом деле цитаты злонамеренно перевраны. Вот все, что я хотел сказать про „обсуждение”. Теперь — про себя. Жизнь моя сложилась так, что я много видал, много знаю, и вам очень хочется, чтобы я из этого выбрал и написал то, что вам приятно. А я хочу написать все — и приятное, и неприятное. Лев Николаевич как-то ска-

зал, что надо или писать всю правду, или совсем не писать, потому что полуправда — хуже лжи: ведь это — та же самая ложь, но из хитрости, чтобы не производить отталкивающего впечатления, прикрывая свою отвратительную наготу. Я пишу так, как пишу, и буду писать, как пишу. И вы меня не заставите писать по-иному: стар я для этого. Самое большее, что вы можете — это не печатать. Что ж, мое писание пить-есть не просит, полежит, подождет. Может, после вас придет кто поумней да посовестливей и устыдится вашего невежества и вашей злобности.

Он подхватил свою сумку, собрал под мышку не вошедшие в нее второпях книги и вышел. Было тихо, только за столом шептались: трое приезжих и Успенский обсуждали сложившееся положение. Наконец, один из них встал:

— Завтра, товарищи, Николай Николаевич передаст нам в редакцию свое письменное заявление (вы ведь видели, сколько он исписал), мы опубликуем это заявление и уже затем продолжим наше заседание. А сегодня — все.

Никакого заявления в „Культуре и жизни” Гусев никогда не публиковал, и никакого заседания по поводу „вредной деятельности профессора Гусева” никогда больше не происходило.

Насколько мне известно, это было единственное поражение газеты „Культура и жизнь” и тех, кто за нею стоял. И это поражение нанес ей „толстовец и непротивленец” Николай Николаевич Гусев.

Подобных поражений Валентин Федорович Булгаков никогда никому не наносил, да и не мог наносить по своему характеру. Секретарем Толстого он стал после Гусева, и, читая письма и дневники Толстых, я заметил, что отношение к нему писателя было более сдержанным, чем к Гусеву. Я объяснил это тем, что Гусев покинул Ясную Поляну с жандармом, арестовав-

шим его за распространение толстовской литературы, и Толстой чувствовал себя виноватым перед „пострадавшим“, как он считал, „вместо“ него. Но когда между мною и Валентином Федоровичем произошло личное знакомство и я получил возможность сравнить его с Николаем Николаевичем, мне сразу стала видна и другая причина того, почему Булгаков не сумел заменить Толстому Гусева, хотя в качестве секретаря он едва ли был менее исполнительным и умелым.

Весь облик Булгакова говорил о том, что этот высокий, прямой, похожий лицом (а отчасти и выговором) на украинца человек — не боец и не человек полусных пристрастий, а именно эти качества — я уверен — особенно ценил Толстой в Гусеве. Булгаков был мягкий, вежливый, хорошо воспитанный, говорил всегда ровно, спокойно. Стоило в компании кому-нибудь что-то начать говорить, как он предупредительно поворачивался к этому человеку, всем своим видом показывая, что сейчас больше всего на свете его интересует именно этот человек. Стоило кому-нибудь начать фразу одновременно с ним или даже перебить его, он сразу же выжидающе умолкал. Он всегда доброжелательно улыбался, всегда надеялся на человеческую доброту (хотя люди несчетное число раз били его беспощадно), и, когда ему рассказывали о каком-нибудь случае предательства, дикости, жестокости, каких так много было в послевоенной России, он или начисто не верил, или, явно стараясь уйти от темы, говорил, что „молва всегда склонна несколько преувеличивать“.

После революции, с 1923 года, В.Ф.Булгаков жил в Чехословакии, довольствуясь прежней славой секретаря Льва Толстого и не стремясь ее приумножить. Однако с самого начала второй мировой войны он заявил себя активным антифашистом, взгляды его стали прокоммунистическими и просоветскими. По-видимому, поэтому он один из первых откликнулся на предложение советского правительства вернуться на родину.

Но в России все было совсем не так, как он ожидал. Начать с того, что ему не разрешили жить в столице. Многие в его жизни было связано с Москвой не только прежде — вот хотя бы единственная дочь поступала теперь в Московский университет, — почему бы ему и не жить в этом городе? Вообще-то говоря, Москва ему не понравилась: прежнего патриархального уюта как не бывало, а новая жизнь, о которой он создал себе представление по советским газетам и брошюрам, в действительности была просто невыносимой. Еще бы: повсюду очереди, несправедливость, бюрократия, грубость, бессердечие... И все-таки было обидно: почему именно *его* семье не дали права на „московскую прописку”? Ведь „они” знают, что в Чехословакии он был к Советам лоялен? Да и за соотечественников, „граждан свободной республики” было обидно: почему им указывают „город оседлости”, почему ограничивают их передвижение даже в пределах их родной страны?

Обмануты были ожидания старого толстовца и его московскими коллегами: странно как-то они его встретили — настороженно. Он не знал, что в их глазах он уже не был толстовцем, что в их глазах он был красным, советским — то есть, в лучшем случае, чужаком. Неприятно ему было также, что, когда его представляли как секретаря Толстого, ему виделось на лицах людей недоумение: „Как, еще? У нас уже есть один...” Иной раз его так и представляли: „А вот и второй секретарь Толстого...” Где бы он ни появлялся, он был вторым номером, как бы дублером, но ведь пока первый номер активен, второму делать нечего!

В.Ф.Булгаков поселился в Ясной Поляне, но и здесь ему было нелегко. Его репутация „правоверного” приехала с ним, хотя в действительности красная краска с него в значительной степени уже слиняла. Трудно было ему войти в жизнь яснополянцев и в чисто бытовых, будничных делах: сказывались проведенные в Праге 25 лет.

Лучше всего он мог бы себя почувствовать в качестве главной достопримечательности Музея, какой, естественно, был секретарь Толстого, но и это свое бесспорное качество он не сумел использовать в полной мере: если в Москве отовсюду его вытеснял напористый и самоуверенный в сознании своего первенства Н.Н.Гусев, то в Ясной Поляне он оказался в тени из-за блестящей артистичности и импозантности Н.П.Пузина (о котором речь впереди).

Не выдержав конкуренции Н.П.Пузина, В.Ф.Булгаков полностью отошел от активной жизни между коллегами в Ясной Поляне, как до того он отошел от такой жизни в Москве и Туле. Все свои силы он решил отдать написанию ряда книг и статей на темы, которые его давно уже интересовали. „Пора подводить итоги задуманному и не позволять себе загадывать ни о чем новом”, — говаривал старик. Но и задуманного прежде оказалось слишком много. Он занялся изучением личной библиотеки Толстого, другими же темами, работу над которыми он давно лелеял, старался заинтересовать знакомых толстоведов.

Трижды (или четырежды) обращался Валентин Федорович и ко мне. У меня сохранилось его письмо (от 21 сентября 1961 г.), в котором он писал мне в Москву из Ясной Поляны:

„Уважаемый Альберт Игнатьевич! Очень, очень жаль, если Вас интересуют только прижизненные связи Л.Н.Толстого с болгарями и Болгарией. Материалы по истории распространения толстовства в Болгарии — огромны и очень интересны. Хорошо, кабы кто-нибудь из русских исследователей ими заинтересовался. Вообще пренебрежительное отношение нашей науки к истории толстовства кажется мне необоснованным и сожаления достойным. Тема эта привлекает меня лично, но... 75-летний возраст является препятствием уже непреодолимым. А у Вас ведь времени еще куда как много! Может быть, взялись бы?”

Работу по изучению личной библиотеки Толстого и описанию толстовских пометок на прочитанных писате-

лем книгах В.Ф.Булгаков делал любовно и добросовестно, благодаря чему мы имеем сейчас две отличные книги. К сожалению, это описание охватывает лишь часть толстовской библиотеки — книги на русском языке, да и то не все. Валентин Федорович успел бы сделать и больше, если бы не отдавал массу времени воспитанию единственного внука, хотя к работе в толстовской библиотеке его побуждали все яснополянцы, в том числе и Н.П.Пузин.

ГЛАВА 5. ЯСНАЯ ПОЛЯНА И ЯСНОПОЛЯНЦЫ

Самой заметной фигурой в Ясной Поляне был Николай Павлович Пузин. Когда я с ним познакомился, ему не было сорока, и должность он занимал простого экскурсовода. И все же известность его была необыкновенно широка, и в России не существовало литературного музея, который не почел бы за честь видеть его среди своих сотрудников. Но он был верен Ясной Поляне, куда пришел еще совсем юным, где встретил военный 1941 год и послевоенную начальническую чехарду.

С одним из начальников он, как говорится, не сработался, и не сработался в такой степени, что вынужден был уволиться. Собрав чемоданчик, он приехал в Москву прямо к своему другу детства Сергею Сергеевичу Толстому (сыну первенца писателя и профессору английского языка), у которого в тот момент я оказался в гостях, и, тараща светлые глаза так, что кожа на лбу складывалась в несколько глубоких продольных морщин, сообщил, грассируя:

— Я, чег'т побег'и, очень люблю Ясную, но ог'ганически не выношу дуг'аков. Когда диг'ектог' дуг'ак, себя тоже дуг'аком чувствуешь. Мне пг'иходилось с подлецами г'аботать, но с ними себя только честнее чувствуешь, а с дуг'аком не могу, пг'осто не могу...

Через три дня он уехал в Абрамцево, куда увез его счастливый директор Абрамцевского музея Гоголя и Аксаковых Николай Павлович Пахомов, но уже через месяц „дуг’ак из Ясной Поляны” получил от него письмо с просьбой принять обратно, даже на меньшую, чем прежняя, зарплату (за этот месяц произошло изменение штатного расписания, и на той же должности Н.П.Пузина ждали уже не прежние 120 рублей, а только 80).

И вот он снова вернулся в Ясную Поляну, и снова народ рвался на знаменитые пузинские экскурсии и лекции, через пять минут после начала которых аудитория была полностью в его руках: она горько плакала от жалости к старику Толстому, потерявшему младшего сына, она по-детски смеялась полетам маленького Левушки из окна, она грозно возмущалась отлучением писателя от Церкви или ахала, узнав, что черновики „Воскресения” составляют 8000 листов — это при окончательном-то тексте в 200 страниц!

Н.П.Пузин знал родословное древо Толстых, Фетов и Тургеневых в таких подробностях, в каких — я уверен — никто из них и сам его не знал! В своей коллекции он имел портреты всех предков этих писателей, фотографии их могил и множество мемориальных вещей: перчатку с руки Фета, эполет с мундира Волконского, локон волос Тургенева и т.д., и т.д., и т.д. Он был верующим, и верующим не так, как мы — из страха перед доносами ходившие в церковь только в чужом городе и для крещения своих детей приглашавшие священника на дом, — но, я бы сказал, демонстративно верующим, благодаря чему имел репутацию бесстрашного человека. Он много лет пестовал могилу Толстого у оврага и фамильное кладбище Толстых в близлежащем селе Кочаки, он (едва ли не единственный в Ясной Поляне) по-настоящему знал французский язык, он аристократически грассировал, он в самые тяжелые послевоенные годы всегда имел галстук

на шее и платочек в кармане пиджака, хотя, по яснополянским условиям тех лет, воротник его рубашки очень часто был несвежим, пиджак помятым, а ноги в брюках гармошкой всунуты в огромные стоптанные валенки. Как ни странно, авторитет Пузина увеличивал и тот факт, что этот барин, гордившийся тем, что имя его предков было записано еще в Бархатной книге Российского дворянства, жил супружески с темной яснополянской крестьянкой, грубой и некрасивой, которая к тому же, как говорили, его еще и поколачивала.

Познакомились мы с Николаем Павловичем вскоре после моего поступления в музей, в один из его московских наездов, которые он совершал обыкновенно каждые полтора-два месяца, чтобы повидаться с друзьями, посетить какую-нибудь выставку, побывать на концерте. Я тогда еще не вошел в специфическую атмосферу толстовского музея, да и он вне своей Ясной Поляны много проигрывал — особого впечатления знакомство это на меня не произвело. Зато первая наша встреча в Ясной Поляне оставила во мне глубочайший след.

Как-то, через несколько месяцев после моего поступления в музей, София Андреевна решила направить меня в Ясную Поляну, чтобы я, как она говорила, „глотнул тамошнего воздуха”.

— Поживете там месяц-другой и потянет вас написать что-нибудь эдакое... „Войну и мир”, например, или о „Войне и мире”...

Мне очень хотелось пожить в Ясной Поляне, но на дворе был ноябрь, и с большим удовольствием я бы отправился туда летом. Ну что делать в деревне зимой? Да и в поезде, наверно, будет холодно — пять часов мерзнуть и слушать, как незнакомые друг другу люди, все эти несчастные подмосковные бедолаги, рассказывают соседям по вагонной скамейке свои такие одинаковые и потому еще более беспросветные послевоенные горести.

— Завтра придет машина из Ясной, — сказала мне

София Андреевна, — возвращаться она будет через три дня. Вот получите продукты и поезжайте на ней!

Продукты! В те годы само это слово обладало свойством привлекать к себе всеобщее внимание. Но София Андреевна имела в виду не просто продукты, она говорила о *яснополянских* продуктах! В те годы день прихода яснополянского грузовика был самым радостным и самым важным днем любого сотрудника толстовского музея.

Что же это были за продукты? Для этого нужно знать, что собой представлял тогда музей Льва Толстого „Ясная Поляна”. Секрет состоял в том, что музеем был не только дом, в котором жил писатель, но и все окружавшие этот дом постройки, леса, поля и сады — музеем было все тульское имение Толстого.

Конечно, большинство посетителей привлекал именно дом писателя, в котором все сохранялось в том виде, в каком существовало в год смерти хозяина. Но многие приезжали в Ясную Поляну на целый день осматривали здесь все, что было связано с именем Льва Толстого.

Они проходили по залам обширного литературного музея, посвященного жизни и творчеству писателя, с интересом разглядывали не только экспозицию, но и само здание музея — большой двухэтажный флигель, где в 60-х годах Толстой открыл для крестьянских ребят свою знаменитую яснополянскую школу. Писатель увлекся тогда педагогической деятельностью, создал „Азбуку”, „Книги для чтения”, ряд педагогических статей, открыл в окрестных деревнях 26 народных школ (где обучалось свыше 9000 ребят), в которых блестяще утвердил собственный метод обучения грамоте.

Между мемориальным и литературным музеями внимание экскурсантов привлекало высокое дерево. Посажено оно было в середине прошлого века на месте старого барского дома, в котором родился Лев Тол-

стой. В бытность свою офицером он задумал издание дешевого журнала для солдат и, поскольку наличных денег у него не было, продал этот дом на своз. „Вон там стоял диван, на котором я родился”, — показывал гостям писатель на верхушку дерева, туда, где прежде находился верхний этаж дома.

А на горке, глядя своим фасадом на расположенную на другой стороне широкой лощины деревню Ясная Поляна, приветливо сиял своими белыми стенами, еще один барский дом — старый дом князя Волконского, деда Льва Николаевича по матери.

К этому дому экскурсанты устремлялись прямо от въездных каменных круглых башен („столбов”) по широкой тенистой аллее („пришпекту”), мимо красивых прудов с запрятанной в листву купальней, к дому Волконского, а затем направлялись по широкой лесной просеке к могиле Толстого.

Когда великий правдоискатель был еще мальчиком, его старший брат, горячо любимый им Николенька, рассказал легенду о Зеленой палочке, которая якобы зарыта на краю яснополянского оврага и которая, если ее разыскать и выкопать сделает счастливыми всех людей на свете. Здесь, около этой Зеленой палочки, Толстой и завещал себя похоронить. Простой холмик, без креста, без памятника, без какой бы то ни было надписи. Это — тоже воля покойного.

Воздействие могилы — очень сильное. Сколько бы ни подошло к ней народу, тишина здесь стоит необыкновенная. Люди замолкают еще издали, снимают шапки, кладут на могилу цветы или (зимой) хвойные ветки, стоят несколько минут и возвращаются, испытав чувство, которое древние греки определили прекрасным и емким словом катарсис.

Впрочем, не во всех эта величественная простота вызывала высокие чувства. Однажды в Ясной Поляне появился человек, который увидел в этой простоте унижение Толстого и объявил об этом во всеуслышание.

Таким человеком оказался некто Аристов, незадолго до своего посещения Ясной Поляны ставший на короткое время одним из секретарей ЦК. Уж не знаю, то ли он ехал тогда на Косогорский завод вручать очередной орден, то ли направлялся отдыхать на одну из правительственных крымских дач, но его длинный черный лимузин завернул от Тульского шоссе к яснополянским столбам. Проехался секретарь по аллеям усадьбы, прошелся по комнатам дома, осмотрел мемориацию и пожелал возложить цветы на могилу писателя.

Нет слов, чтобы выразить его удивление при виде могилы. Даже не просто удивление, нет, его удивление почти сразу же перешло в возмущение.

— Это и есть могила Льва Толстого? — рокотал его голос между склоненными ветвями деревьев. — Это и есть могила великого писателя земли русской?! Стыд, товарищи! Позор, товарищи! Я понимаю, что в царское время правительству невыгодно было популяризировать имя борца против самодержавия. Они не стали тратить ни на памятник, ни даже на мраморную плиту, но мы, уничтожившие царизм, обязаны могилу Толстого оформить так роскошно, как не оформлена ни одна могила ни одного писателя в мире! Очень вас прошу, товарищи, свяжитесь с соответствующими организациями, выясните, сколько будет стоить мраморная плита, гранитный парапет, большой бюст и немедленно перешлите смету лично мне... Это же, в конце концов, копейки, товарищи...

Выждав окончание этой тирады, Пузин тихо заметил, что могила находится в том виде, в каком завещал ее хранить сам Толстой. Однако это заявление не только не убедило высокого гостя, а показалось ему просто нелепым. Весело рассмеявшись над глупостью сотрудника, он спросил:

— Но Толстой-то ведь покойник? Покойник. И то, что он там завещал, известно каким-нибудь десяти — двадцати человекам. Вот только вам, что здесь работае-

те, одним это и известно. И вообще какое значение имеют все эти завещания, когда мы обязаны показать всему миру, что коммунистическая партия и советское правительство полностью оценили заслуги Толстого перед своим народом!

Правильно! Какое-такое завещание? Какая-такая воля покойного? Какие-такие нравственные критерии? Критерий может быть один — польза! Если не для потребления, то для пропаганды. В материал для пропаганды можно превратить все. Даже покойников. Толстому для этого надо „оформить” могилу „порошкошнее” и объявить, что он чуть ли не соратник Маркса. Убитых же немецких солдат, зарытых в 1942 г. рядом с могилой Толстого, вышвырнуть из земли, а их товарищей, похоронивших их здесь по невежеству, назвать осквернителями памяти великого писателя. Слов нет, фашистские солдаты и в Ясной Поляне не вели себя, как ангелы, но разве смерть не уравнивает людей? Да и какое, в действительности, было дело всем этим секретарям и председателям до покойников, когда они и от живых-то отгородились словно каменной стеной!

От могилы экскурсанты разбредались обычно по всему заповеднику — к Косому лугу, к дубовой роще — „Чапыжу”, к хвойному лесу — „Елочкам”, к березовой Абрамцевской посадке, к речке Воронке, к любимой скамейке Толстого, к беседке, по улочкам деревеньки Ясная Поляна...

Но мало кому из них удавалось осмотреть конюшню, коровник, свинарник, пасеку, парники, огороды, обширные яблоневые сады — Старый и Красный. Здесь тоже сохранена мемориация. И не только в том, что в каретном сарае стоит коляска, на которой Толстой отправился в последнюю свою поездку к ближайшей железнодорожной станции Козлова-Засека, а и в том, что в коровнике стоит столько же коров, сколько было при Толстом, и что коровы эти дают молоко, из которого сбивают сметану и масло так, как при Толстом, что с

пасеки по-прежнему собирается мед, а в садах — яблоки.

София Андреевна сумела добиться освобождения Ясной Поляны от государственных поставок, и все, что давало это, выражаясь современным языком, яснополянское подсобное хозяйство, распределялось между сотрудниками. Получение в голодные послевоенные годы в дополнение к государственному нищенскому пайку каждые полтора — два месяца по 30 — 35 кг картошки, 20 — 25 кг яблок, 5 — 6 кг мяса, капусты, моркови, масла, меда вызывало зависть у всех, кто об этом узнавал и фамилии которых не фигурировали в заветных списках счастливицов. Тем более, что все это оплачивалось по ценам более низким, чем магазинные, хотя в те годы деньги были столь обесценены, что люди были бы рады платить за эти продукты и втридорога.

Единственное, что омрачало получение продуктов, — неравенство получавших. Конечно, все уже привыкли, что государство разделило население на добрый десяток категорий по степени их полезности и что разница между „литер-а-тором” (человеком, получавшим почти сказочное снабжение по карточке „литер А”) и „кое-какером” (человеком, существующим кое-как на карточку „иждивенца”, то есть занятого работой не на государственной службе, а по дому) умопомрачительна, однако в учреждении, где все исповедовали в той или иной мере морально-этические принципы Толстого, многим хотелось видеть распределение продуктов не по чинам, а по желудкам. Увы, и музей Толстого был советским музеем, как же можно было допустить, чтобы старшие научные сотрудники ели столько же, сколько младшие, а тем более — технические!

При распределении яснополянских продуктов к старшим научным сотрудникам приравнивались родственники Толстого, и кто уж входил в эту категорию, известно было лишь Софии Андреевне и Евгении Нико-

лаевне (о которой речь уже шла во 2-й главе). Запомнилась, например, мне получавшая продукты по этой категории некая внучка Толстого то ли от незаконного сына, то ли от незаконной дочери. Мы даже ходили на нее посмотреть, и хотя она была по-толстовски большеголовая и широконосая, пришли к выводу, что благожелательностью она пользуется просто потому, что умеет хорошо чинить часы, до которых Евгения Николаевна была страстная охотница.

Итак, получив вожделенные продукты, я отправился в Ясную Поляну. Было уже совсем темно, когда машина остановилась около дома Волконского, жизнерадостные и шумные яснополянцы извлекли меня из огромного негнувшегося тулупа, и я сразу попал в объятия Николая Павловича Пузина. Поцеловав меня по русскому обычаю трижды, он потащил меня к себе домой, с гордостью рассказывая, что он — единственный из сотрудников Ясной Поляны, живущий в мемориальном доме Толстого, в бывшей туалетной писателя. Комнатка Пузина была маленькая, как чулан, однако имела прихожую, где был повешен жестяной умывальник и стоял таз на помойном ведре. На крышке умывальника лежал густой слой пыли, пол — грязный, в углах — паутина, но на столе дымился душистый чай и лежали горки хлеба и колбасы. Когда же это было все съедено и выпито, появились многочисленные фотографии старых российских городов и мемориальные вещи.

Было уже близко к полуночи, когда Николай Павлович отвел меня на второй этаж в единственную, кажется, комнату, в которой не была сохранена мемориация, потому что она была гостевой. Кроме кровати, стола и стульев, находился в ней огромный славянский шкаф, между балясинами которого стояли три современные фаянсовые вазы с портретами русских классиков. Тут, под крышей толстовского дома, и прошла моя первая ночь в Ясной Поляне.

Командирован в Ясную Поляну я был для работы по инвентаризации личной библиотеки Льва Николаевича. Дело это было нетрудное, потому что еще со времен Толстых здесь царил идеальный порядок. На каждой книге стоял шифр, который указывал номер шкафа, номер полки в шкафу и последовательный номер книги на полке. Немецкие офицеры, пользовавшиеся библиотекой во время оккупации Ясной Поляны, оказались людьми аккуратными — редкая книга была не на своем месте, а в результате проверки выяснилось, что из 15 000 книг отсутствовало только четыре. Трудность работы была лишь в том, чтобы не увлечься чтением этих прекрасных фолиантов, многие из которых бесспорно были уникалами.

Но не только книги соблазняли меня в Ясной Поляне. Вспоминая этот чудесный месяц, я не могу понять, как я выдержал такую насыщенную жизнь. Просыпался я рано — так, что когда выходил на утоптанную, но ослепительно чистую снежную площадку перед домом, вспыхивала розовая каемка на востоке. Я становился на лыжи и скользил навстречу разгоравшемуся все шире и ярче багровому восходу. Таких роскошных утренних зорь я никогда не видел ни до того, ни после.

Каждый день я ходил по новому маршруту, и куда ни шел, всем своим существом чувствовал, что все вокруг меня связано с Толстым. Это чувство (испытанное не только мною) поддерживал весь строй жизни современных яснополянцев, все корни этой жизни, которые крепко вросли в дорогое для них прошлое. Сперва мне было странно, что старик, у которого спрашиваешь, заблудившись в лесу, дорогу, оказывается бывшим помощником кучера Толстого, а приглянувшаяся мне девушка — внучкой сестры писателя Марии Николаевны. Но потом я даже не удивился, когда услышал, что, заметив выскочившего мне навстречу огромного разъяренного быка, кто-то крикнул: „Врон-

ский! Вронский сорвался! Бегите сюда! Вронский вас затопчет!”

Возвращался я обычно часа через два — два с половиной, когда к канцелярскому помещению со всех сторон стягивались сотрудники: начальство приказало начинать рабочий день с расписки в приходе. Картина была преживописнейшая: многие жили совсем рядом и потому валялись в постелях или шатались по комнате расхристанными вплоть до той минуты, когда надлежало отмечать начало своей ежедневной трудовой деятельности. Тогда, накинув шубы прямо на халаты и нижние рубашки, выскакивали наружу. Сколько раз мне приходилось видеть какого-нибудь научного сотрудника, между подолом шубы которого и голенищами валенок сверкали белоснежные кальсоны. Расписавшись в „Книге прихода-ухода” и поболтав с коллегами, он возвращался домой, чтобы умыться, одеться, причесаться, попить кофейку и только тогда, часа через полтора, приступить к своим служебным обязанностям, в чем он уже давно успел расписаться.

А я, сняв лыжи и позавтракав, обосновывался у шкафов толстовской библиотеки — до вечера, до того самого часа, когда в дверях появлялся приветливый Николай Павлович, и мы отправлялись в его каморку или в просторную с голыми бревенчатыми стенами комнату его приятеля и коллеги Александра Илларионовича Ларионова — и начинались наши ежевечерние беседы за стаканом совсем черного чая или рюмкой водки: о Боге и безбожии, о нирване и непротивлении, о хиромантии и астрологии, о фашизме и коммунизме, о книгах, которые читал Толстой или только что прочел кто-то из нас, о том, над чем работали тогда мы сами.

Н.П.Пузин был весь поглощен поисками каких-то не открытых им еще родственных связей князей Волконских и той роли, какую играли предки Толстого в истории России. В декабре экскурсий в Ясной Поляне бывает немного, обычно он имел по одной в день,

остальное время проводил в чтении церковных записей в церкви при Кочаковском кладбище, в беседах с тамошним священником, в разговорах с яснополянскими стариками.

А.И.Ларионов писал книгу о связях Толстого с Востоком, рассказывал о том новом, что ему удалось выяснить, читал законченные разделы. Он был очень увлечен своей работой, единственным делом на земле, которое его захватывало полностью; и я уверен, что если бы книга вышла в свет, он сумел бы подняться на ноги в любом государстве, где объективное решение научных проблем важнее сиюминутной политики. В то время написано было уже довольно много, автор получал ободряющие письма от ученых Индии, Японии и Китая, крупнейший советский востоковед — академик Конрад — заинтересовался его работой и дал блестящий отзыв на ее первый вариант... Но теперь-то мы можем ясно представить, какая будущность могла ожидать в России второй половины 40-х годов автора книги о влиянии нерусских философов на русского писателя. Слава Богу, что Ларионов хоть умер-то не на Лубянке и не в лагерях.

Что касается моих пристрастий, то в этот первый год моей работы в качестве толстоведа мне все было интересно, все ново, все заманчиво. Каждый день я находил новое применение своим силам, и каждый вечер мои собеседники охлаждали мой пыл, говоря, что выбранная мною тема или уже кем-то разработана, или непроходима по цензурным соображениям, или еще почему-то не годится.

Александр Илларионович был старше нас обоих, но держался с нами, как с ровесниками. Только иногда мне казалось, что в его отношении ко мне проглядывает то жалость, то зависть. Обдумывая впоследствии наши отношения, я понял, что завидовал он моей молодости, горячности и вере в обязательность конечного торжества добра, а жалел меня потому, что был абсо-

лютно убежден в непременной победе зла — независимо от наших усилий и независимо от поля приложения этих усилий.

А.И.Ларионов был сломанный человек. Сломан он был советской властью, отнявшей у него, дворянина и умницы, право жить в культурном центре и заниматься научной деятельностью; женой, оставившей его в очень трудный для него период; дочерью, которая активно пыталась устроить свою жизнь, мало думая о его существовании; а с недавнего времени и водкой, которая все беспощаднее отнимала у него и ясность мышления, и стабильность нервной системы...

Засиживались мы допоздна, пока я, не вспомнив, что еще днем отобрал две-три книги, чтобы просмотреть их на сон грядущий, не прекращал беседу самым решительным образом. Это называлось у нас „разбивать компанию”, но все трое уставали так, что расходились по домам с удовольствием.

Когда я поступил в музей, Ясная Поляна настолько тесно была связана с московской дирекцией, что все ее дела, самые мелкие, решались С.А.Толстой-Есениной. Однако уже к моменту моей командировки там появился свой директор, действующий на правах эдакого управляющего, отчитывающегося перед московским барином. Но все его преемники старались укрепить свое личное положение путем уменьшения своей зависимости от Москвы. Когда одному из них удалось сделать Ясную Поляну вообще самостоятельным учреждением, начался окончательный развал заповедника. Еще бы: что могло дать Тульское областное управление для научного руководства таким мировым памятником культуры, как Ясная Поляна, какое представление имели о своей роли новые директора, которые были или пенсионированными полковниками, или пришедшими не ко двору дипломатами, или изгнанными чиновниками министерств? Они требовали только идеальной отчетности, и только такой идеаль-

ной отчетности ждало от них их начальство. Разве что к какой-нибудь юбилейной дате они подготавливали доклад, нахватывая для этого цитаты из „установочных” статей, да устраивали „вечера воспоминаний о Льве Толстом”, для участия в которых нужно было иметь не столько хорошую память, сколько хорошую фантазию. Пообжившись же в Ясной полгода-год, они начинали сами верить, что уж все науки превзошли, и становились заправскими юбилейщиками и воспоминателями.

ГЛАВА 6. ЮБИЛЕЙЩИКИ И ВОСПОМИНАТЕЛИ

Обоих этих слов нет в словарях русского языка, и все же они существуют и распространены довольно широко — поскольку довольно широко распространены явления, обозначаемые этими словами. В самом деле: стоит впереди забрежить какой-нибудь мало-мальски выступающей дате, чему-то мало-мальски похожему на юбилей, как райкомы, горкомы, обкомы и иные „комы” направляют к трибунам своих говорителей, которым надлежит „мобилизовать трудящихся на новые трудовые подвиги”. Этих народ полуиронически, полуснисходительно окрестил юбилейщиками. Другие же, которые сделали своей профессией выступления с воспоминаниями (а таких тоже немало), получили название воспоминателей.

Впрочем, упомянув в предыдущей главе о юбилейщиках и воспоминателях, я имел в виду не совсем таких, так сказать, „народнохозяйственных” юбилейщиков и „политических” воспоминателей, а несколько иную разновидность этих людей, подвизающуюся исключительно на литературной ниве. Литературные воспоминатели и особенно литературные юбилейщики тоже славословят и пустословят, но с иными целями. О чем бы они ни говорили, основная цель, с которой их выпускают на трибуну, — доказать, что „партия и пра-

вительство заботятся” о сохранении культурного прошлого народа и делают все, чтобы литературный уровень этого народа в социалистический период его развития был выше уровня его золотого века.

Обычно юбилейщиков и воспоминателей приходится наблюдать поодиночке, но однажды (когда я сам неожиданно-негаданно попал в когорту юбилейщиков) мне пришлось провести сутки в обществе почти двух десятков этих людей. Было это во время торжеств, которыми отмечалось сорокалетие со дня смерти Льва Толстого.

Поскольку писатель умер на станции Астапово Рязанской железной дороги, то было решено ее и сделать центром юбилейных мероприятий — благо можно было показать их участникам воссозданную к знаменательной дате мемориацию в комнате, где умер Толстой, как и литературную экспозицию о его жизни и творчестве в остальных комнатах дома, который в 1910 г. принадлежал тогдашнему начальнику станции И.И.Озолину. Для распределения ролей Московское отделение Союза писателей и Институт мировой литературы вошли в контакт с астаповским партийным начальством (которое, к слову сказать, все здесь шутливо называли „Графлевтолстовский райком КПСС” и официальное наименование которого, на мой взгляд не менее смешное, было „Левтолстовский райком КПСС” — поскольку некий почитатель писателя в юбилейный 1928 г. переименовал станцию Астапово в „станцию Лев Толстой”, а район, административным центром которого была станция, получил неуклюжее название Левтолстовского). В результате переговоров райком согласился выделить средства на „банкет”, а Союз писателей и Институт мировой литературы обязались обеспечить „торжественную часть”.

Забегая вперед, скажу, что банкет по тем временам был роскошным не только для голодной Рязанской области: на покрытых новыми клеенками столах

в райкомовской столовке для каждого участника было приготовлено по граненому стакану зеленого самогона (мужчинам) или (женщинам) чачи, вареной из сахара (такой же крепкой, как и самогон, только розовенькой и сладкой), и по целой селедке. Хлеб горками лежал в тарелках посредине столов, и есть его можно было без ограничения, как тогда говаривали — „от пуза”. Наиболее тренированные в делах банкетных и не сморившиеся во время торжественной части могли окончить юбилейные торжества в честь сорокалетия со дня смерти великого писателя земли русской западными танцами под духовой оркестр местных вагоноремонтных мастерских.

Что касается торжественной части, то прежде, чем начать рассказ о ней, нужно представить себе, кто же принял участие в юбилейных торжествах. Поэтому вернемся в Москву, где в солнечный морозный день 19 ноября 1950 г. на Павелецком вокзале должны были перед отъездом в Астапово впервые встретиться члены делегации. Состояла делегация из группы писателей, возглавлявшейся Александром Трифоновичем Твардовским, и группы толстоведов из Института мировой литературы, музея Л.Н.Толстого и Московского университета, отданных (вероятно, не без протекции Софии Андреевны) под опеку мне. Хотя я и не был тогда слишком юн (мне уже исполнилось двадцать девять лет), но до того случая никогда еще не выполнял столь ответственного, как мне тогда казалось, поручения и испытывал одновременно и гордость, и страх.

В должность мне предстояло вступить на вокзале, около приготовленного для нас специального вагона, загнанного пока в какой-то тупик. К вагону этому я подошел одновременно с Твардовским. Познакомились (до того я видел его только в коридорах ИФЛИ, где он учился в аспирантуре, когда я только поступил на первый курс) и обменялись двумя-тремя фразами о том, как глупо стоять у ступенек вагона и „прове-

рять личность” будущих пассажиров — писателей и литературоведов. Тут вдали появились два коренастых человека, поддерживавших друг друга и потому шатавшихся совсем неравномерно.

— А вот и Луконин с Ажаевым идут, — возвестил Твардовский. — Видите, в какой дружной атмосфере творят наши писатели. В вагоне еще не то будет. Ну, я пойду расположусь, вас ведь еще не надо поддерживать, один устоять сможете...

Он подхватил свой чемоданчик и как-то сразу оказался в вагоне, хотя ступеньки были расположены довольно высоко, а он был довольно тучен.

Совсем незадолго до того Василий Ажаев получил за свой роман „Далеко от Москвы” Сталинскую премию, еще никто, даже за его спиной, не говорил, как впоследствии, что роман написан одним из эзков, а им лишь приобретен по дешевке, и лауреат еще упивался отпущенным ему судьбою годом безоблачной славы. Низкорослый, с круглой невыразительной физиономией, Ажаев шел, широко расставляя ноги и поминутно притрагиваясь пальцами к своему лауреатскому значку, как будто проверяя, на месте ли он. То ли для удобства этой процедуры, то ли ему было жарко от выпитого, но его новое темно-серое пальто было расстегнуто и пояс волочился по земле. Время от времени он освобождался от объятий Луконина, совал руки в карманы, вытаскивал оттуда смятые деньги и, показав полные горсти приятелю, засовывал купюры обратно. Луконин делал над собой усилие, и тупое пьяное выражение на его лице сменялось заинтересованным, он пристально смотрел на карманы Ажаева и, убедившись, что ни одна из бумажек не выпала, снова широко распахивал объятия; приятели опять делали два-три шага вперед, после чего все повторялось.

Шествие это приближалось медленно, так что его успели обогнать почти все будущие путешественники. Наконец добралась до вагона и эта пара, по-

могая друг другу и отталкиваясь от меня и других, твердо стоящих на ногах, оба они вползли в вагон, наконец пришли и последние из пассажиров — недавно назначенный заместителем директора музея Михаил Никитович Зозуля и недавно ставшая его женой дочь В.Ф.Булгакова Ольга. К вагону приближался паровоз со сцепщиком на ступеньке. Я поднялся в вагон.

Жизнь там была ключом. Толстоведы заняли центральные купе, и в каждом из них обсуждались сравнительные достоинства и недостатки Булгаковой и Зозули. В купе по одну сторону от толстоведов расположились Эльмар Грин, Константин Паустовский, Владимир Лидин, Вениамин Каверин и еще несколько таких же, как я их сразу про себя окрестил, „чистых обитателей нашего ковчега”, которые к моему приходу уже успели снять пиджаки и, раскрыв пишущие машинки или с авторучками в руках, работали так углубленно, как будто они жили здесь уже несколько месяцев. В противоположном конце вагона поселились „нечистые”, среди которых наш лауреат занимал ведущее положение. Эти тоже выдвинули столики и тоже положили на них чемоданчики. Но в их чемоданчиках были не пишущие машинки, а по несколько бутылок с водкой и закуска.

Еще до этой поездки мне приходилось слышать, что Твардовский „изрядно выпивает”. В то же время я знал, что „он — работяга”. Поэтому мне было интересно, к „чистым” или „нечистым” он примкнет. Пока понять этого было нельзя: он с брызгливым видом расхаживал по коридору, бесцеремонно, молча и мрачно заглядывая в двери открытых купе.

Я пожаловался ему, что получил распоряжение собрать от своей части делегации еще в дороге тексты их предстоящих выступлений. Меня волновало, получил ли подобное распоряжение он. Твардовский посмотрел мне прямо в глаза, но так, будто думал совсем о другом, помолчал и отрезал с явной неприязнью:

— Может, и получил. А вам зачем это знать?

Я промямлил, что хорошо бы действовать одинаково.

Он хохотнул, голубые глаза потеплели.

— Как же мы с вами можем действовать одинаково, когда вы сами не знаете, как собираетесь действовать?

— Да я знаю, — замялся я, — про себя то есть знаю... Но если вы... Если вам...

Он совсем развеселился.

— Одним словом, вы стыдитесь этого поручения, вам бы не хотелось его выполнять, а одному страшно?

Я молчал. Он стал серьезным, сказал резко, хоть и без прежней неприязненности:

— Сам должен решать. Не ма-лень-кай и к тому же доверием на-чаль-ства облеченный... А я вам не нянька. Как и им, впрочем (он кивнул на своих подопечных). Ведь они — писатели, стало быть, и башку свою имеют, и совесть. Такая просьба — это ж оскорбление! Если б ко мне с такой просьбой подступились, знаете, что я бы ответил?! То-то...

Александр Трифонович открыл дверь в свое купе и, ворча, что он — поэт, а не цензор, переступил порог. Я было двинулся мимо по коридору, но он властно рявкнул:

— Вы что же, и выпить со мной не хотите?! Обиделся, вишь...

Пил он много, но то ли по причине громадности своего тела, то ли тут тренировка имела значение, то ли закусывал он много и с аппетитом, но хмелел медленно, даже чувства времени не терял. Во всяком случае на часы взглянул впервые в два ночи и, сверкнув запавшими красными глазами, удовлетворенно сказал:

— Время! До семи надо поспать. В восемь — приезжаем. В десять — в президиуме будем сидеть, должны быть совсем свеженькие: не дай Бог, заснет кто или на трибуне соврет что... Нам ведь с вами — первая оплеуха.

И пошел из купе в купе проверять „нечистых” („чистые”, конечно, уже спали) и решительно прекращать возлияния...

Проснулся я от громкого стука в дверь. Как только отозвался, услышал совершенно трезвый и бессонный голос Твардовского:

— Как разбудите своих научных и умаетесь, приходите ко мне: кефирцу дам испить...

На торжественном заседании он выступал с блеском. Конечно, он не имел возможности выйти за пределы ленинского понимания творчества Толстого: благодаря пресловутым семи статьям Ленина о великом писателе, мракобесы, руководившие культурной политикой партии, не могли зачеркнуть творчество Толстого, как они долгие годы зачеркивали творчество Достоевского, но благодаря тем же статьям невозможно было сказать о Толстом что-то свое, что-то подлинно новое, что-то такое, что не было бы перифразом высказанного в этих статьях. Однако после первых же слов Твардовского для всех, слушавших его, стало очевидным, что этот человек делает доклад по велению сердца, что он читал и помнит произведения, о которых говорит, что он любит писателя, которого призывает любить.

Мне предстояло выступить после него, и хотя моя тема („Последние месяцы жизни Льва Толстого”) была конкретнее, чем у него, и для многих, особенно в те юбилейные дни, интереснее, я ждал своего часа ни жив ни мертв. Впрочем, мое первое выступление в качестве юбилейщика прошло, как говорится, без сучка, без задоринки: благодаря одобрительному кивку Твардовского („Давай, мол, брат, не робей”), я сумел взять в руки и себя, и аудиторию.

Однако напряжение, испытанное перед выступлением и во время него (как, вероятно, и застольное сидение накануне), проявилось сразу же, как только я

закрыв рот: спать захотелось невероятно, и я не улавливал ничего из того, что доносилось с трибуны. Чтобы не уснуть за длинным, покрытым красной скатертью столом президиума на виду у всей честной публики, я начал внимательно ее разглядывать.

Большой прямоугольный зал был полон, но в первых трех рядах почти половина стульев пустовала. Эти места были отведены для тех гостей из Москвы, Тулы и Рязани, которых не посадили в президиум; местных туда не пускали. Я подумал, что и здесь, в этом аристократическом партере, „чистые” и „нечистые” тоже, наверно, разделены на две касты — так и оказалось: они будто и не знали друг друга, сидели двумя группами, и общим между ними было только выражение скуки на лицах да еще роскошные (по тем временам) костюмы, приобретенные в специальном столичном магазине по лимитным промтоварным карточкам.

Кроме этих трех рядов, все прочие были заняты простыми смертными (как Гусев иронически называл их — „черной костью”). Сидели они в полушубках, тулупах, пальто, с лоснящимися от пота лбами, которые они время от времени вытирали своими меховыми тряпками. Те, кто не выдержал жары и разделся, держали одежду на коленях. Слушали немногие. Почти все бесцеремонно разглядывали приезжих, переговаривались по поводу какого-нибудь галстука или манеры выступающего говорить, а то просто смотрели прямо перед собой, размышляя о чем-то своем. Видимо, нас с Твардовским вполне хватило, чтобы терпение аудитории кончилось. Особенно откровенно это проявляли дети, которых было множество, поскольку приказано было присутствовать всем взрослым, а между тем во многих семьях ребятишек оставить было не с кем. Прямо против стола президиума, в четвертом ряду, сидел какой-то здоровенный парень и, низко опустив голову в черной шапке-ушанке с болтающимися тесемками, спал, время от времени громко всхрапывая. В.Г.Лидин, си-

девший перед ним, каждый раз при этом решительно поворачивался с намерением разбудить храпуна, но потом почему-то этого не делал.

Глядя на парня, спать хотелось еще больше, и я перевел взгляд на трибуну. Как раз в этот момент председатель произнес фамилию „в прошлом участника революционных боев 1905 года, а ныне — советского писателя”, и тот с миной все увеличивающейся безнадежности на лице выворачивал карманы в поисках приготовленных заранее записок. Записок своих он так и не нашел и, начав с цитаты из статьи Ленина о том, что Толстой „революции 1905 года не понял и явно от нее отстранился”, так и не смог двинуться дальше. Пытаясь оторваться от заколдованной фразы, он выпалил, что „нам с такими, как Толстой, не по пути”, чем привлек внимание всей аудитории, которая пыталась найти объяснение на лицах президиума, мы же вперили свои взоры в невозмутимо слушавшего Твардовского. Не знаю, имело ли это выступление какие-то последствия для самого юбилейщика, Твардовский же в ответ на мое предположение, что „теперь всыпят” и ему как руководителю делегации, ответил с озорством:

— Не посмеют. Они знают: меня лучше не трогать.

Когда потом я рассказывал об этом разговоре Софии Андреевне, она с радостной готовностью подтвердила:

— И не посмеют. Это не Алешка (она имела в виду Суркова). Тот так дрожать начинает, что издали видно. А у начальства на такую дрожь — рефлекс: если дрожит, значит — виновен, а если виновен, значит — подлежит наказанию.

Как видим, в деятельности юбилейщика общественный элемент присутствует обязательно и при этом совершенно отчетливо. Совсем не то — деятельность воспоминателя. (Это слово тоже великолепно: сколько у его конструктора было и чувства языка, и чувства иронии!) Общественный элемент в деятельности воспо-

минателя приглушен настолько, что иной раз почти и вовсе неощутим.

Принято считать, что характер воспоминаний зависит от личности того, о ком вспоминают, и от личности того, кто вспоминает. Это — бесспорно. Однако почему-то часто забывают при этом о зависимости воспоминаний еще от одной личности — от личности того, на кого рассчитаны воспоминания, того, кто часто выступает в качестве режиссера.

Эту мысль хорошо иллюстрирует моя встреча с неким Иваном Ермолаевичем Третьяковым, воспоминания которого мне пришлось записывать в связи с работой над своей книгой о пребывании Толстого в Крыму. В молодости Третьяков работал каменотесом, реставрируя крымские дворцы и богатые дачи, и в 1901—1902 гг. встречался в Гаспре с Львом Толстым.

Приехав в Крым и узнав о Третьякове, я попросил меня с ним познакомиться. Его предупредили, что „товарищ из Москвы” хочет побеседовать с ним о Толстом, и он сразу начал заученное повествование о том, „как много маевек проводили перед 1905 годом крымские рабочие” и как Толстому хотелось побывать на одной из таких маевек или хотя бы увидеть место, где они происходили.

Я нисколько не усомнился в истинности этого рассказа, однако, надеясь вытянуть из старика что-нибудь более характерное об интересах писателя в те годы, стал пересказывать ему то, что слышал о Толстом от Евдокима Пименовича Бабекова, с которым я встречался, когда работал над книгой о пребывании Толстого на Кавказе. Бабеков был казаком терской станицы Старогладковской и рассказывал о Толстом со слов деда, в доме которого писатель жил в 1851 г. — о его играх с казачатами, о любовных связях с казачками, об увлечении охотой и джигитовкой. Иван Ермолаевич оживился:

— Да он и в старости молодцом был! Ведь в те по-

ры, как он тут жил, ему крепко за семьдесят перешло, а ведь каждый день пятнадцать-двадцать верст нахаживал, на молодых баб засматривался, всякой белке-чайке радовался... Летом 1901 года обновляли мы фриз во дворце графини Паниной — Лев Николаевич тогда у них гостил и нередко наблюдал за нашей работой. Прохожу я как-то утром по тропинке мимо него, а он с прогулки возвращается, сорвал ромашку, обыкновенную ромашку, держит ее в руке и говорит мне: „Глянь, Ванюша, — говорит, — какая красота, одно слово — Божье чудо!” Я аж растерялся.

По совести сказать, и я чуть не растерялся, сравнив оба рассказа Третьякова: будто о двух разных людях были они. А ведь речь шла об одном человеке и рассказывал тоже один. А вот слушателей предполагалось двое: одним из них был „товарищ из Москвы”, другим — обычный, как сам рассказчик, человек.

Несколько иначе, однако не менее сильно, проявилась режиссура человека, записывающего воспоминания свидетелей последней болезни Толстого. Происходило это в связи с созданием мемориальной комнаты в доме начальника станции Астапово И.И.Озолина. Соответствующая комиссия научных сотрудников, собирая перед отъездом в Астапово мемориальные материалы, выяснила, что кровать, на которой умер Толстой, уничтожена во время пожара. Без кровати комнату открывать было нельзя, и решили поставить похожую, для чего нужно было найти современников смерти Толстого, которые бы помнили, как выглядела подлинная. Нашли двоих — старуху, которая в молодости была горничной у Озолиных, и старика, работавшего у них истопником.

Сначала выискался старик, и при первом же разговоре с ним неосторожно проговорились, что, по слухам, мол, кровать сгорела. Он об этом факте не помнил, но, узнав о нем, положил его в основу своих собственных воспоминаний. Потом обнаружили старуху,

которая, заявив, что „дед давно уж вообще ничегошеньки не помнит, все забывает”, утверждала, что кроватей было две, и во время смены постельного белья Толстого перекладывали с одной на другую. Старик заявил, что вторая кровать приснилась его оппонентке во сне и что была одна-единственная — походная железная койка. Старуха совсем из себя вышла от возмущения, торжественно поклялась, что кроватей было две, и описала их — обе с никелированными шишечками. Конечно, ее свидетельству хотелось верить: ведь именно она меняла постельное белье Толстому, и кто, как не она, мог лучше помнить, какие кровати и сколько их она этим бельем застилала. Однако рассуждение старика о том, что „кровать была походная, из мягкого тонкого железа, оттого и расплавилась”, тоже выглядело правдоподобно.

— С шишечками осталась бы, — решительно заявил он. — Никелированная с шишечками не смогла бы сгореть, а товарищи из Москвы сами сказали — сгорела-с!

— Не знаю, что там у них в Москве горело, — моментально парировала старуха, — а в Астапове своими глазами можете кровать увидеть — сама вся никелевая и шишечки никелевые. Была и другая, ан вся вышла: пока я в московской больнице лежала, сперли ее.

В конце концов выяснилось, что кроватей было две и что вторая действительно пропала в огне. Однако, независимо от исхода этого спора, он мне кажется очень знаменательным для иллюстрации мысли о значении при работе с вспоминающим того, что я называю режиссурой — информации, полученной не из личных впечатлений вспоминающего, однако помимо его воли воспринимаемой им как результат личных впечатлений.

К сожалению, многие из воспоминателей сознательно ищут такую информацию. Примером этого может служить продолжавшаяся несколько лет весьма активная деятельность Анны Ильиничны Толстой. Ког-

да умер ее великий дед, ей было лет пятнадцать-шестнадцать, но, слушая ее воспоминания, можно подумать, что внучка и дедушка были едва ли не ровесниками — такие важнейшие особенности внешнего поведения и внутреннего мира Толстого она сумела запомнить и оценить. Это выглядевший необъяснимым феномен оказался на поверку более чем прост: готовясь к выступлениям со „своими воспоминаниями”, Анна Ильинична не только (а пожалуй, что и не столько) вспоминала, но и усидчиво изучала неопубликованные архивы современников Толстого, тщательно обрабатывая добытые материалы с помощью своего мужа П.С.Попова, профессора логики и психологии.

Как в связи с этим не вспомнить добрым словом другую внучку Толстого, Софию Андреевну, которая, сколько ее ни просили выступить с воспоминаниями, неизменно отвечала:

— Попросите кого-нибудь постарше: я слишком глупа была тогда, чтобы запомнить то, что надо было запомнить. (В 1910 г. ей было десять лет.)

Только однажды София Андреевна сдалась на такие просьбы. Уверен, что она заранее рассчитала эффект, который произведут ее воспоминания — во всяком случае после этого ее никогда больше выступить с воспоминаниями не просили.

Она сказала тогда очень немного:

— Мне нечего рассказать ни о чем серьезном или глубоком — по той простой причине, что в моем тогдашнем возрасте я не только не понимала ничего серьезного и глубокого, а просто его не замечала. Но даже пустяки, доступные моему детскому мышлению тех лет, у меня уже перехватили те, кто тогда был старше и умнее меня, и те, кто теперь активнее меня. У скольких авторов я читала и от скольких слышала, например, как удивлялся Лев Николаевич, заметив, что я, как и он, любила сидеть, поджав под себя одну ногу! Так что же я вам могу рассказать нового? Разве вот

что... Эпизод этот связан с моим запойным чтением, которое впервые нашло на меня лет в восемь-девять. Читала я тогда целыми днями напролет совершенно без всякого разбора. Помню, как Лев Николаевич, проходя как-то мимо меня, сказал очень ласково: „Ты все читаешь, Сонюшка...” Остановился, посмотрел название книги и неожиданно изменившимся голосом добавил: „Возьми что-нибудь другое. А это — вообще выбрось! От таких книг только бабочки в голове заводятся...”

И по беспощадности автора рассказа к самому себе, и по емкости здесь толстовской фразеологии, и по краткости изложения, и по его достоверности эти воспоминания Софии Андреевны я считаю образцовыми среди многих сотен воспоминаний о Толстом, которые мне пришлось читать и слышать — особенно много после того, как я стал членом закупочной комиссии музея Л.Н.Толстого: совсем неожиданно для себя я обнаружил тогда, что как ни много напечатано воспоминаний о великом писателе, написано их в десятки раз больше.

Впрочем, моя работа в закупочной комиссии дала мне возможность прийти к еще более важному заключению: как ни интересны для исследователя жизни и творчества писателя воспоминания об этом писателе, как ни интересны книги, которые он держал в руках, как ни интересны бытовые и другие предметы, но нет ничего важнее, чем подлинные письма писателя.

О приобретении закупочной комиссией музея одной коллекции таких писем я и хочу теперь рассказать. Только перед тем — несколько слов о самой закупочной комиссии.

ГЛАВА 7. ПИСЬМА Л.Н.ТОЛСТОГО К Н.Н.СТРАХОВУ

Еще в 1939 г. дирекция музея Льва Толстого и группа литературоведов, изучавших жизнь и творчест-

во писателя, добились постановления правительства СССР о концентрации в едином научно-исследовательском центре всех материалов, связанных с именем Толстого. И через какой-нибудь год хранилища музея приняли от различных учреждений и частных лиц многие сотни единиц хранения — рукописи и письма писателя, документы о нем, письма и воспоминания его близких, фотографии и картины, книги и мемориальные вещи.

Однако война прервала эту благородную работу, и она была возобновлена лишь в мирные годы. Большие коллекции, хранившиеся в государственных фондах, были переданы довольно быстро, и потому все внимание толстовского музея оказалось направленным на материалы, находившиеся в частных руках. Для обнаружения этих материалов, ведения переговоров с владельцами, для оценки и покупки Министерство культуры и президиум Академии наук создали закупочную комиссию.

В первые два-три года после войны комиссия приобрела огромное количество подлинно бесценных материалов: жить людям было еще очень тяжело, и, чтобы видеть свою семью сытой хотя бы в течение недели, человек, долгие годы гордившийся получением „письма от самого Льва Николаевича“, готов был расстаться даже с такой реликвией.

С годами, однако, поток приобретений иссяк — и потому, что основная масса материалов была выкуплена, и потому, что те 500—600 дешевых рублей тех лет, которые владелец получал за драгоценный для него предмет, ничего не стоили, и потому, что появились частные коллекционеры, которые платили гораздо больше. В конце концов деятельность закупочной комиссии почти прекратилась, а если бы не материалы, регулярно предлагаемые музеем В.В.Чертковым и А.П.Сергеенко, то и вообще бы прекратилась.

В.В.Чертков был сыном известного толстовца Вла-

димира Григорьевича Черткова. Преданный заветам Толстого, самоотверженный популяризатор его идей В.Г.Чертков оставил после своей смерти более десятка сундуков, наполненных материалами, связанными с именем его великого друга. Сын его служил в каком-то банке и к каждому заседанию закупочной комиссии находил ровно столько свободного времени, чтобы успеть привести в порядок такую партию документов, продажа которой музею обеспечивала бы ему безбедную жизнь.

Все имеющиеся у него архивные материалы он делил на три категории. В первую входили рукописи Толстого, его письма, книги и любые документы с его собственноручными пометками, то есть все, про что можно было сказать: „автограф Толстого” или „с автографом Толстого”. Эти материалы В.В.Чертков считал себя обязанным передавать в музей безвозмездно. Остальное состояло из материалов, имевших бесспорную (пусть иной раз и небольшую) историко-литературную ценность (например, письма близких Толстого к нему, воспоминания о Толстом людей, хорошо его знавших, и т.п.), и материалов, которые исследователям жизни и творчества Толстого полезными быть не могли (например, упоминание о гениальности Толстого в письме одного толстовца к другому, написанном через десять лет после смерти писателя). В.В.Чертков комплектовал для продажи эти материалы по принципу, которым пользовался еще повар из известного анекдота (соединял в фарше мясо половины лошади и половины рябчика), и ставил этим закупочную комиссию на каждом ее заседании перед дилеммой: отказаться ли от его услуг раз и навсегда или загружать хранилища ненужными материалами.

А.П.Сергеенко был сыном писателя-толстовца Петра Алексеевича Сергеенко и в юности выполнял секретарские обязанности у В.Г.Черткова. К своему бывшему шефу относился он поистине восторженно. Помнит-

ся его рассказ о первом приезде к Черткову. Слушая тогда рассказчика, я думал, каким же неприятным человеком, по-видимому, был этот Чертков; для Сергеенко же рассказанный эпизод служил лишним доказательством необыкновенности его кумира. Суть рассказа состояла в том, что приехавший вечером и очень уставший с дороги Сергеенко был уложен спать Чертковым часов в одиннадцать, а едва, как ему показалось, он успел закрыть глаза (в действительности пробило два часа ночи), как Чертков его разбудил: тот понадобился, чтобы записать пришедшую Черткову на ум важную мысль.

— В каждый данный момент нужно делать то, что важнее всего именно для данного момента. Это — любимые слова Владимира Григорьевича Черткова, — совсем для меня неожиданным выводом закончил А.П.Сергеенко свое повествование.

Материалы, которые предлагал закупочной комиссии А.П.Сергеенко, были совсем не похожи на чертковские. Бесспорную ценность среди них имели черновики писем и рукописей Толстого, которые в большей своей части Сергеенко добывал в свое время из корзины, что стояла у письменного стола писателя, и тщательно хранил у себя почти полстолетия, независимо от революций, коллективизаций, нэпманизаций, вынужденных скитаний, повальных обысков и массовых расстрелов. Прочие предлагаемые им материалы были по большей части бытовыми предметами, однако мемориальная их ценность почти всегда вызывала сомнение. Интересно, например, было иметь в экспозиции музея „обеденные судки начальника станции Астапово И.И.Озолина, из которых кормили больного Л.Н.Толстого” или „стопку промокательной бумаги, оставленной Л.Н.Толстым на письменном столе в ночь ухода из Ясной Поляны”, однако ни судки, ни промокашки не имели никаких доказательств их прежней принадлежности.

Подобные материалы совершенно заполонили за-

купочную комиссию, когда (это было в 1949 г.) вдова довольно известного в начале века букиниста предложила приобрести большую коллекцию писем Толстого к его другу и философу Николаю Николаевичу Страхову. Сенсационным это предложение было не только из-за того, что музей сразу приобретал множество автографов Толстого, но и из-за имени корреспондента: Страхов был теснейшим образом связан с Тургеневым, братьями Достоевскими, Данилевским, А. Григорьевым и другими выдающимися людьми второй половины XIX века.

Он был одним из лидеров литературно-политической группы „почвенников” (разновидность славянофильства), сотрудничал во многих изданиях своего времени, наиболее активно в журналах Достоевского „Эпоха” и „Гражданин”, а также в славянофильских журналах „Время” и „Заря”. В своих статьях по естественнонаучным вопросам Страхов на протяжении тридцати лет выступал как яростный противник дарвинизма. Таким же яростным врагом материализма он был и в своих философских работах. Как литературный критик Страхов напечатал ряд статей о современной ему литературе, а также книги „Борьба с Западом в нашей литературе”, „Письма о нигилизме”, „Критические статьи о И.С.Тургеневе и Л.Н.Толстом (1862—1885 гг.)” и др. В своих критических работах он истолковывал творчество писателей в славянофильском духе. Ожесточенно выступая в своих статьях против Чернышевского, Некрасова, Щедрина, Писарева, Н.Успенского, Страхов проявил себя открытым врагом революционной демократии.

Несмотря на отрицательное отношение к славянофильству, а также несогласие со Страховым по некоторым другим вопросам, Толстой видел в его взглядах много для себя близкого, особенно до перелома в его мировоззрении, происшедшего у Толстого в начале 80-х годов. Неприятие капиталистических отношений в

России, обращение к религии и к вечным законам нравственности как к средству преодоления общественных зол, стремление к опрощению — вот главные проблемы, где сходились взгляды Толстого и Страхова.

Во многом содействовало сближению Толстого и Страхова искреннее восхищение Страхова толстовским писательским мастерством. Еще до знакомства с Толстым, при выходе в свет первых частей „Войны и мира“, когда одна за другой в прессе появлялись недоброжелательные статьи, Страхов публично заявил, что роман Толстого — „великое произведение“.

Страхов был широко эрудирован в различных областях науки, имел редакторский опыт и был тесно связан и с литераторами и с библиофилами Москвы и Петербурга. При его отзывчивости вообще и при его постоянной готовности помогать Толстому в любых его делах все это имело большую ценность для выполнения многочисленных поручений писателя. Страхов покупал или доставал для Толстого книги, добивался предоставления ему доступа к различным архивам, держал корректуры его произведений, вел дела с редакторами, типографщиками, книгопродавцами и т.д.

Переписка Толстого и Страхова длилась двадцать шесть лет и закончилась в 1896 г. со смертью Страхова. Ее значение для изучения творчества Толстого переоценить невозможно. Это неоднократно подчеркивал и сам писатель. Еще в 1894 г. в ответ на просьбу своего французского переводчика И.Д.Гальперина-Каминского помочь ему материалами в работе над биографией Толстого Лев Николаевич рекомендовал обратиться за его письмами к трем адресатам, переписка с которыми могла бы быть полезной биографу, а именно к А.А.Толстой, С.С.Урусову и Н.Н.Страхову. Не меньшее значение придавал Толстой переписке с этими лицами и значительно позднее, когда Страхова уже не было в живых. Например, в 1906 г. он писал П.А.Сергеенко:

„У меня было два (кроме А.А.Толстой) лица, к которым я много писал писем и, сколько я вспоминаю, интересных для тех, кому может быть интересна моя личность. Это Н.Н.Страхов и кн. С.С.Урусов”.

Если письма к его другу и родственнице графине Александре Андреевне Толстой — неоценимый материал для, так сказать, житейской биографии писателя, а письма к князю Сергею Семеновичу Урусову — свидетельства религиозных и вообще этических исканий Толстого, то письма к Николаю Николаевичу Страхову — без сомнения, самые „литературные”. Недаром в своем приказе по Академии наук, изданном в связи с приобретением этих писем, ее президент академик С.И.Вавилов, отмечая их литературную ценность, заявил, что подобные коллекции обнаруживаются раз в столетие. И поскольку обнаружить эту коллекцию посчастливилось именно мне, я расскажу о ее приобретении подробнее.

Мое знакомство с владелицей страховских писем произошло более чем случайно. Какая-то старушка вошла в троллейбус, я уступил ей место, а сам продолжал читать книгу, стоя рядом. Она оказалась разговорчивой: без умолку причитала о вреде чтения в трясущемся троллейбусе, о том, как испортил свое зрение ее недавно скончавшийся супруг, „известный в свое время букинист”... При слове „букинист” я оторвался от чтения: мне, книголюбу, привиделась уже целая библиотека, перекочевывающая с Новокузнецкого переулка, где жила старушка, ко мне, на улицу Горького.

Только у нее дома выяснилось, что почти все книги уже распроданы. Я огорчился; чтобы утешить меня, она стала показывать большую коллекцию гравюр, потом указала мне на сваленные под роялем и перетянутые резинками пачки каких-то рукописей. Я потянул из кипы одну, другую. Письма Жемчужникова, Якубовича, Страхова... Но что это? Даже дух захватило: подписи не видно, но бесспорно — это почерк Льва Толсто-

го! А вот и подпись — такое характерное острое „Л” и неповторимый завиток над „и”... И рыжеватые выцветшие чернила, и дешевая желтоватая бумага... Сомнения нет: в этой пачке письма Толстого! И в этой, что побольше... И в этой... И в этой! Сколько же их? Оказалось, что 157 писем.

Я поделился радостью с их владелицей и помчался к Софии Андреевне Толстой-Есениной. Та сразу поняла значение находки, и могущие вспыхнуть вокруг нее страсти.

— Вот вам бумага и авторучка, пишите докладную по форме: кто обнаружил, где обнаружил, что обнаружил (пока ориентировочно).

Я написал. Она прочитала и, выведя своим крупным острым почерком распоряжение секретарю („Составить докладную академику Вавилову”), протянула мне второй лист.

— А теперь пишите мне заявление о том, что вы просите на неделю освободить вас от текущей работы и поручить вам подробно ознакомиться с обнаруженной вами коллекцией. Пометьте завтрашним числом.

На этот раз она написала на уголке „Разрешаю” и протянула мне третий лист.

— А это заявление датировать... Впрочем, никак не датировать: дату потом поставим. Пишите, что просите разрешить вам подготовку обнаруженных вами писем к печати.

— А почему это надо писать теперь, София Андреевна? Не рано ли об этом думать, а? Да и Страхова я почти не знаю...

— Вы Толстого знаете. И Страхова узнаете: не боги горшки обжигают. Все равно Страхова в музее никто не знает. А написать заявление надо теперь же потому, что, как только разнесется молва о письмах (а разнесется она, сами увидите, очень и очень скоро), по меньшей мере двое сотрудников музея потребуют, чтобы подготовку писем к печати я поручила им — по той

причине, что они работают здесь со времени царя Гороха. И вот тогда я сразу им предъявляю ваше заявление: мол, к сожалению, опоздали. Ясно?

— Ясно, конечно... Но зачем же их так?..

— Затем, что *они*, работая над письмами, главную цель будут видеть в быстрой саморекламе. А *мне* надо, чтобы письма были подготовлены с максимальной научной добросовестностью — даже если б работа над ними и задержалась: это издание будет служить многим поколениям. К тому же: письма обнаружили вы, и кому, как не вам, их публиковать?

Я был на седьмом небе. Ведь мне предстояла пусть трудоемкая, пусть серьезная работа, но такая, которая даст мне величайшее удовлетворение и которая откроет мне блестящие возможности: теперь — показать, на что я способен, в дальнейшем — иметь право на самостоятельную научную деятельность.

В успехе я не сомневался: во-первых, я еще не перестал себя тешить похвалами, которые всего каких-нибудь три года назад расточались мне университетскими профессорами, во-вторых же, я явно недооценивал и неповторимость коллекции, и серьезность предстоящей над нею работы. Только окунувшись в нее по-настоящему, я увидел, сколько конкретных фактов мне предстояло объяснить будущему читателю в комментарии, сколько мне предстояло прочитать книг не только узко литературоведческого характера, а посвященных серьезнейшим проблемам литературоведения, истории, философии, богословия, экономики и даже биологии: широта кругозора корреспондентов была исключительной. Чтобы окончить работу в срок и сделать ее хорошо, я забросил не только все свои удовольствия, но и все свои обязанности, не доедал и не досыпал, и оглянулся вокруг, только окончив работу. Помню чувство радостного удивления и даже какого-то смятения, когда, возвращаясь от машинистки после сдачи ей рукописи, я увидел на месте больших желтых

листьев, привлечших мое внимание, когда я проходил здесь перед началом своей работы, острые зеленые листочки, источавшие свежий аромат весны.

Впрочем, не только увидеть эти „клеякие весенние листочки”, но и начать свое затворничество в читальных залах мне предстояло еще не скоро: до того надо было страховскую коллекцию приобрести, а еще до того — внимательно изучить и детально описать ее внешний вид, как это принято делать в любом архивохранилище с любым документом, предложенным для приобретения.

Когда я приступил к этой работе, то прежде всего увидел, что только 37 писем было написано по поручению Толстого (30 — его женой, пять — дочерьми Татьяной и Марией, два — сыном Львом), основная же масса коллекции, 120 писем, была написана собственноручно самим писателем. Новонайденные письма сделали музей Л.Н.Толстого владельцем всей (за исключением, может быть, трех-четырёх когда-то утерянных писем) толстовской корреспонденции к Н.Н.Страхову. Тексты почти половины вновь найденных писем до того вообще не были известны, прочие известны были по копиям, в большинстве своем дефектным. За исключением двух, все не известные ранее письма были написаны в 1872—1875 гг., то есть в период, когда писем Толстой писал немного, а сохранилось их еще меньше.

Период первой половины 70-х годов был для Толстого очень насыщен творчески, и потому он едва ли не самый благодарный для исследователя-толстоведа. Совершенно естественно, что в письмах к такому „литературному” корреспонденту, каким был Н.Н.Страхов, это отразилось в полной мере. В них мы находим отзывы о многих деятелях русской культуры современности и минувшего (например, определение Пушкина как „божественного”), подробности о кардинальной переработке „Войны и мира” для переиздания 1873 г., о возникновении (под влиянием прозы Пушкина) за-

мысла „Анны Карениной” и о творческой истории романа, об увлечении писателя педагогикой и народным образованием, о его религиозных и философских исканиях 70-х годов, о ряде биографических подробностей, в частности, об избрании Толстого членом-корреспондентом Академии наук, о работе художника И.Н.Крамского над его портретом и т.д., и т.д., и т.д.

По мере того, как я убеждался в необыкновенной ценности попавшей мне в руки коллекции, меня все больше начинало пугать ее предстоящее приобретение: уж слишком крупной виделась мне теперь эта сделка. Однако приобретение прошло безболезненно: старушка была вполне довольна полученными ею десятью тысячами рублей, музей — тем, что стал обладателем миллионной (по оценке комиссии специалистов) коллекции, я — денежной премией и письменной благодарностью президента Академии наук.

И хотя оба названных Софией Андреевной старейших сотрудника требовали передать подготовку писем к печати им (а когда им отказали, то — Гудзию, или Эйхенбауму, или Томашевскому — только бы не мне), хотя они испортили много крови и мне, и Софии Андреевне, и всем ее начальникам — вплоть до президента Академии наук, подготавливал письма Толстого к Страхову все-таки я.

И рецензенты, и заседание Ученого совета оценили мою работу весьма положительно; София Андреевна радовалась не меньше, чем я. Однако, поздравляя меня, она сказала фразу, смысл которой до конца я не понял, но которая меня обескуражила: „Ну, теперь держитесь — это только начало”. Смысл ее предупреждения стал мне ясным при первой же беседе в издательстве: невольно в памяти выплыла широко бытующая среди советских литераторов поговорка — написать то, что думаешь, трудно, а напечатать это еще труднее.

Начиная с этой первой беседы я понял, что все, кто (говоря их словами) „будет доводить рукопись до

кондиции”, видят свою задачу совсем не в уточнении или прояснении моих мыслей, не в углублении комментария или вступительной статьи, не в прополке стилистических сорняков — все это они считали пустяками, все это не имело для них никакого значения. Они заглянули в соответствующий том БСЭ, увидели, что Н.Н.Страхов — „реакционный философ-идеалист”, и это определило для них их единственную задачу: добиться того, чтобы во вступительной статье и комментарии (пусть даже в противоречие с текстом самих писем) все поступки Толстого были окрашены в белый и розовый цвета, а все поступки Страхова — в черный и серый. Страхов должен был выглядеть ограниченным, тупым человеком, из фанатизма „выступавшим против всего прогрессивного”, а потому любое доброе слово, которое они о нем вычитывали, вызывало протест. Между автором и издательством началась война. На моей стороне была правда, на стороне редактора, спецредактора, политредактора, завредакцией, главного редактора и всех, кто навалился на рукопись, — сила.

Когда эта война только началась, я подумал, что второй атаки (то бишь беседы) мне не выдержать. Но таких бесед было еще не пять, и не десять... С тех пор прошло больше чем четверть столетия, а я и теперь не могу вспоминать о них спокойно. И когда читаю в своей публикации, что „Страхов был широко эрудирован в различных областях науки”, что он „был тесно связан с многими выдающимися литераторами Москвы и Петербурга”, что он был „на редкость добрым, справедливым и отзывчивым человеком” и что „Толстой дорожил своею с ним дружбой”, я каждый раз поражаюсь, как мне удалось все это защитить и охранить от моих „оппонентов”. Однако сколь ни радуют такие победы, замечаешь, что их все-таки мало. Хорошо еще, что они подкреплены не меньшим количеством отдельных словечек, фраз, цитат и т.д., которые

удалось протащить контрабандой — чаще всего благодаря невежеству редакторов или благодаря тому, что их было слишком много: недаром говорится, что лучше один глаз, да зорек, чем плохих сорок. В самом деле, какими еще причинами можно объяснить, что удалось опубликовать, например, цитату из письма Страхова, при помощи которой комментируется решение Толстого (принятое по совету его друга) публиковать „Анну Каренину” у М.Н.Каткова в „Русском вестнике”, а не у Н.А.Некрасова в „Отечественных записках”:

„Некрасов просил меня сделать Вам предложение и даже содействовать со своей стороны. Я не торопился писать к Вам об этом, зная, что Некрасов сам с Вами в переписке; что же касается до того, чтобы уговаривать Вас в его пользу, я не могу. Никак не могу желать усиливать то направление, которому он служит”.

Впрочем, если говорить честно, то и подобной контрабанды удалось поместить не так уж много: слишком еще я был молод и неопытен. Советский литератор (как и художник, как и музыкант и т.д.) с годами накапливает не только умение выражать дорогие ему идеи в художественной форме, но и выражать эти идеи так, чтобы они смогли пройти сквозь цензуру и быть понятыми какой-то частью читателей (зрителей, слушателей и т.д.), которые потом раскрыли бы их другим. Иногда нам при этом удается достичь многого, чаще же всего — пустяка. Но тренированный читатель отлично научился понимать даже мелкие намеки и, конструируя по деталям целое, благодарить автора не только за творческое мастерство, но и за мастерскую хитрость. Помнится, как обрадовало меня знакомство с неким читателем одной из моих последних книг (об И.И.Лажечникове), который сумел понять, что я совсем не случайно, хотя и вскользь, упомянул в ней, что московская „пытошная изба” при Павле I находилась на углу Лубянской улицы, — как раз там, где теперь размещается КГБ.

Подобной же хитростью была организация мною в залах толстовского музея выставки, которая получила официальное наименование „Образ Льва Толстого в новых работах советских художников и скульпторов”. Задумал я эту хитрость после того, как увидел прекрасный скульптурный портрет Толстого, сделанный только что вернувшимся тогда из эмиграции Степаном Дмитриевичем Нефедовым (Эрьзей). Конечно, работу Эрьзи нельзя было назвать новой, как и самого скульптора — советским, но какой иной способ можно было изыскать, чтобы показать москвичам это изумительное произведение, а заодно вытащить из нищеты и безвестности его автора? А ведь мне удалось больше, чем я ожидал! Но об этом — в следующей главе.

ГЛАВА 8. СТЕПАН НЕФЕДОВ И ЕГО ЛЕВ ТОЛСТОЙ

О возвращении скульптора Эрьзи из эмиграции я узнал довольно поздно, а когда узнал, не сразу сумел с ним увидеться. Сперва я надеялся его встретить в каких-нибудь общественных местах, посещаемых художниками, — безуспешно. Потом стал искать общих знакомых — безуспешно. Тогда я решился заявиться к нему прямо домой или в ателье. Приняв это решение, я долго обзванивал разные художнические организации, надеясь узнать его точный адрес, но так ничего и не узнал. Наиболее обнадеживающими были сведения Академий художеств:

— Где-то у метро „Сокол”; там вам каждый скажет...

Мне это показалось правдоподобным — и напрасно: кто ж из москвичей что-нибудь знает о своих соседях (если, конечно, это не входит в его служебные обязанности)? Я вспомнил об этой истине слишком поздно, после того, как долго бродил под дождем между

одинаковыми восьмизэтажными корпусами Новопесчаных улиц и основательно замерз. И вдруг в одном из дворов, образованных серыми новостройками, я увидел несколько лежащих на земле огромных, метров пятнадцати длиною и не меньше метра в диаметре, бревен. Сложены эти необычные с розоватой древесиной деревья были двумя штабелями, расположенными под углом, и в образовавшемся ими загоне стояло десятка полтора деревянных скульптур.

Я подошел. Дождь стучал по полированному розовато-красному дереву лиц, струился вниз и капал в образовавшиеся вокруг каждой скульптуры лужицы. Явно, что все это находилось тут давненько и видело не только дождь, но и солнце: головы некоторых фигур при высыхании растрескались, а три-четыре из них мастер уже и реставрировал — во всю длину щелей были забиты ряды колков с тщательно отполированными торцами; однако шрамы не только изменили пропорции лиц, уничтожив их ярко выраженный первоначально астенизм, но и вообще лишили скульптуры их былой привлекательности, которую теперь можно было лишь с трудом себе представить.

Угол, образованный лежащими стволами, был открыт в сторону небольшой дверцы, ведущей в подвал ближайшего дома. Увидав слева от дверцы кнопку звонка, я решил, что здесь либо ателье скульптора, либо дворницкая. Мне годилось и то, и другое. (Дворника можно было спросить о скульпторе.) Я позвонил.

— Не здесь ли ателье Степана Дмитриевича Эрзи?

Засов в молчании отодвинулся, и на пороге выросла фигура гоголевского Плюшкина в том виде, в каком его представил на своих знаменитых иллюстрациях Петр Боклевский: подпоясанный веревкой архаик на плечах, вязаный колпак, похожий на шерстяной носок, на голове, бесформенные ботинки с потерянными или вынутыми для какой-то нужды шнурками на ногах — все совершенно потерявшее прежний цвет.

— Я — Эрзя. А вы — из министерства?.. Впрочем, — перебил он себя, — тогда бы не промокли, на машине бы ехали. Проходите, снимайте пальто, над плитой повесим, хоть немного подсохнет — звона как вымок-ло-то...

И не интересуясь, кто я и зачем у него появился в эдакую непогоду, он стал поносить Министерство культуры, Комитет по делам искусств, Союз художников и Академию художеств, которые ничего не делают, чтобы разместить его скульптуры и дать возможность работать самому скульптору.

— Видали небось на дворе-то... Точно в той детской нескончалке — сохни, ворона, мокни, ворона... „Над чем вы работаете, Степан Дмитриевич, чем вы нас порадуете?“ — передразнил он кого-то. — А Степан Дмитриевич ничем не порадует, ни над чем он не работает. Не может художник работать, когда у него душа болит. Ведь гибнет, всей жизни дело гибнет... Да и где работать-то? Вот вы, например, видите, где тут работать?

Я огляделся. Сравнительно с ателье, к каким при-выкли наши московские скульпторы, подвал был довольно велик, но мрачноват, низок, а главное — за исключением небольшой площадочки, на которой разместились обеденный стол с грязной посудой, электроплиткой и кипами каких-то бумаг, две табуретки и деревянный ящик с подстилкой то ли для собаки, то ли для кошки — он весь был заполнен скульптурами. Работать здесь действительно не было никакой возможности.

Совсем около меня, на полу, стоял бюст индианки; я взянул в ее лицо и уже не мог отвести от него взгляда: сколько забот, сколько огорчений, сколько бед выпало на долю этой женщины, а она осталась несломленной, гордой, не потерявшей ни сознания своего высокого предназначения матери, ни своей поистине редкостной красоты женщины. Я сказал все это автору. Он обрадовался совсем по-детски.

— Я тоже ее люблю. А какой у нее характер чудесный, если бы вы знали, какое понимание людей! (Меня поразило, что скульптор не сделал разницы между своим произведением и его живой натурой — позднее, подолгу беседуя с ним, я не раз еще убедился, что это не было оговоркой.) А ведь ей и тридцати нет... — Он как будто был готов к моему удивлению. — Да-да, ей всего двадцать восемь! Но у них жизнь совсем иная: в двенадцать лет — замужество, в четырнадцать — первый ребенок, к двадцати семи — еще пятеро. Дом — на ней, муж — неудачный, нужна... Впрочем, и у наших баб жизнь — не мед с сахаром. Разве что позднее все это начинается... Это только в московских парках культуры и отдыха можно встретить беззаботных женщин, да и то вон в эдаком, гипсовом, виде.

Скульптор показал на неоконченную группу, состоящую из пятерых резвящихся детишек с дебилой, улыбающейся во весь рот женщиной в центре.

— Степан Дмитриевич, это вы теперь начали, да? Зачем же вы... — вырвалось у меня.

— Затем, что Степан Дмитриевич тоже иной раз поест непрочь. И пес его тоже...

Вспомнив о собаке, старик вдруг заволновался и изменившимся, каким-то молодым и нежным голосом обратился в глубь подвала:

— Что ж ты спрятался-то, голубчик? Выходи, выходи скорее. Этот господин — наш приятель, это не товарищ из министерства...

Откуда-то из-за скульптур, покачиваясь, медленно вышел дряхлый пес, со смешными седыми усами и грустными глазами, подошел ко мне, обнюхал протянутую ему руку и лег у ног хозяина.

— Я ведь как ехал сюда, весь пароход закупил для своих деревяшек. Всего-то и пассажиров на нем было, что мы с псом (он погладил собаку по седым бровям от носа в стороны) да кот еще. Но тот своей жизнью живет, а с псом мы — одна душа... Про что это я вам го-

ворил? Ах да — про парки... Эту штуку я как раз для Центрального парка культуры и отдыха делаю. Вы сказали, что этим я имя Эрзи унижаю (я этого не сказал, но подумал), а я готов парковое начальство в... плешь поцеловать, что оно имени Эрзи не испугалось! Впрочем, имя они, конечно, с каким-то партийным боссом согласовали, у них без этих согласований ничто не проскакивает. Да и мне один невинный вопросик задали, так сказать, предварительный и совсем между прочим, конечно, во время... гм... дружеской беседы: „Как, спрашивают, вы видите свою будущую скульптурную группу „Счастливое материнство” (или „Счастливое детство” — не помню уж, как они ее называли...)?” Но я был начеку: сразу понял, куда они гнут, успокоил их: „Решенной, отвечаю, в стиле социалистического реализма”. Такие хоть успокоить себя позволяют, надо только на понятный им язык перейти, штампами говорить. А у иных бдительность ух как повышена! Был вот я у Коненкова. Коллеги мы, так сказать, старики оба, больше чем полвека назад на брудершафт пили. „Замолви, говорю, Сергей, словечко, где надо, чтоб работы мои в какой-нибудь музей взяли. Я ведь не нажить хочу, мне и пенсии хватит, дарю я их государству вашему подлому”. А он к этому последнему слову прицепился, чуть не палкой из дома выгнал!.. Присоветовали мне к Эренбургу пойти: он, говорят, друг Пикассо, знаток современного искусства да в правительство вхож. Эренбург оказался человеком обходительным, совсем вежливо меня выставил. „Рад бы, говорит, помочь, дорогой мой Степан Дмитриевич, душевно бы рад, но я ведь только публицист, в искусстве не разбираюсь, если стану о вас говорить, пожалуй, еще неловкость какую допущу, только все дело испорчу”. Я было сначала его слова за чистую монету принял, говорю, что, мол, ничего он не испортит: хуже, чем есть, уж не будет, но он так выразительно сказал: „Мне лучше знать”, что я сразу понял, что уходить надо.

Теперь у меня одна надежда — на соплеменников. Написал я в Йошкар-Олу мордвинам своим, эрзянам (Эрзя ведь не фамилия у меня, а псевдоним — по моей национальности: мордва — эрзя), предложил безвозмездно передать в собственность Мордовской республике все мои работы. Может, позволят им на моей родине музей открыть... Я ведь не только мелочь, я им и Бетховена, и Толстого, и даже Моисея отдам...

Моисея он явно ценил выше всех своих работ и, вероятно, был в этом прав. Огромная деревянная скульптура была исполнена богатством мысли и экспрессией. Чем больше я смотрел на нее, тем больше верил, что именно таким был тот великий муж, всепонимающий в окружающем и провидящий будущее, справедливый в оценках и решительный в поступках, вождь, спасший свой народ в труднейший период его истории.

— Маленький наш народ мордовский, а ведь талантлив. Ух, как талантлив, черт возьми! Есть такой врач глазной — Филатов Владимир Петрович, в Одессе он живет. Он тоже мордвин и патриот нашей земли. Так этот Филатов составил ба-а-альшуший список великих людей Мордовии. Ну, он там увлекся немного, например, Лермонтова, Ленина в мордвины записал (говорит, на нашей земле выкормлены были, наша земля в них гениальность вдохнула), или там артиста Мордвинова (в соответствии с фамилией, значит), но вообще-то очень хороший список. Мне там на всю жизнь типажа хватило бы... Только бы мне ателье дали... А хотите посмотреть, в каком ателье я работал на Западе?

Старик оживился и, не дожидаясь моего ответа, резво подбежал к столу, сгреб к себе поближе сваленную на нем стопу бумаг и начал в них рыться. Найдя какой-то журнал, перелистал и открыл его на фотографии своего аргентинского ателье, действительно роскошного — огромного, светлого, оборудованного массивными электробурами, передвигающимися вдоль

ателье по рельсам. Искренне восхитившись, я выразил удивление, зачем это здесь буры стоят. Скульптор засмеялся и сказал, что местное дерево, из которого сделаны его работы, необыкновенно твердое. Перешагивая и перепрыгивая через мелкие скульптуры, лавируя между крупными, задевая полами архалука горшки с высохшими цветами (дань уважения почитателей его таланта), он стремительно потащил меня к огромной, метра полтора в диаметре колоде розовато-красного дерева, дал в руки топор и лихо крикнул:

— А теперь — коли-руби!

Я опустил топор в середину колоды — он отскочил от нее со звоном, как от металла.

— А ну еще!

Я ударил еще — теперь изо всех сил и сбоку. Топор по-прежнему зазвенел, но все же отколол щепку, если можно так назвать деревянную занозу сантиметра в три длиной и четверть миллиметра в диаметре. Скульптор рассмеялся весело, совсем беззаботно.

Потом он достал другой журнал — в нем была его фотография верхом на стройной лошадке, стоящей под высоченным деревом с огромным, величиной почти с саму лошадь, наростом.

— Это мы с Толстым! — сказал скульптор с гордостью и, увидев мое недоумение, объяснил, что черты будущей скульптуры он провидел именно в этом наросте. — Похоже? — спросил он, и когда я ответил, что между огромным, уродливым наростом и прекрасной, совершенной по форме скульптурой нет ничего общего, опять счастливо засмеялся.

Потом передо мной легла фотография какой-то горы, возвышающейся (кажется) над Рио-де-Жанейро, и статья, подписанная „Styven Ersja” и посвященная математическим и геодезическим исчислениям, сколько и где надо срезать, а где насыпать земли, чтобы вершина горы походила на голову Ленина и стала, таким образом, своеобразным памятником, обозреваемым на рас-

стоянии доброй сотни километров. Потом на свет Божий появилась фотография горы, воплощавшей образ Христа. Потом — многочисленные фотографии персональных выставок Эрзи в разных странах и городах. Я рассматривал эти документы, а сам все поглядывал на его работы.

— Я вижу, что вас мои деревяшки больше интересуют? — заметил скульптор.

— Не пойму я что-то, Степан Дмитриевич. Ведь этим деревяшкам, как вы их называете, цены нет. Да и ехали вы не из Звенигорода в деревню Гнилые пупки. Ведь вопрос о вашем возвращении на родину, наверно, правительство решало или, на худой конец, министерство, а вы, вместо того, чтоб наверх писать, по гостям ходите: к Коненкову, Эренбургу и не знаю к кому...

— Не понимаете, значит... А тут и понимать нечего: обманули меня, старого дурака, и вся недолга. Когда начали ваши меня сюда заманивать, прямо-таки златые горы сулили: где хочу, мол, там свои работы и выставлю. Коли в Москве, пожалуйста, Степан Дмитриевич, в Музей изящных искусств, коли в Ленинграде угодно, и это возможно: двери Русского музея для ваших замечательных произведений всегда открыты. Посол столько раз подъезжал: „Родина, говорит, вас ждет так, как никогда еще и никого не ждала”. Сталин личное письмо прислал... Ну, я и развесил ослиные уши-то! — Он взял в обе руки по уху, несколько раз отогнул их от головы и снова примкнул, будто похлопал ими. — По двум Америкам мотался, старый идиот, выкупал свои работы, за одного только Моисея, которого вы так внимательно здесь разглядывали, полмиллиона заплатил... Все свои лучшие вещи хотел на родину привезть: поверил, что не только для меня эта встреча радостна, а и для России моей это тоже праздник! Поверил... А кому поверил? — Он яростно сплюнул на бетонный пол, растер плевков подошвой и, неожиданно успокоившись, ответил на свой вопрос устало-информационно: —

Поверил коммунистам, подонкам, разбойникам, людям без стыда и совести. Вы говорите: наверх писать. Самому Сталину писал. Куда выше-то? Большая он сволочь был, ваш Сталин, вот что я вам скажу...

Это он тоже сказал без злобы, просто как бы констатируя очевидный факт, и я, вспомнив, что он ведь совсем ничего обо мне не знает и может потом о сказанном пожалеть, решил сделать вид, что пропустил его слова мимо ушей, восприняв их как совершенно естественные.

— Но теперь-то Сталин умер, Маленкову бы написали...

— Писал... Этому, пожалуй, пока не до меня: он сам еще на троне не очень-то уверенно себя чувствует... Да Бог с ними: видно, лбом стену не прошибешь... Я теперь о другом думаю: как это им удалось столько дураков найти; ведь столько их, вроде меня, сюда заманили. На Западе люди жили себе поживали, в достатке, в уважении, нужными обществу себя считали, умными слыли. А ведь на простой мякине их провели! — Бешенство снова начало им овладевать. — Все бросили, все кинули, рванулись с места, как на тараканьих бегах. Позволили им, видите ли, родную землю поцеловать, позволили родное отечество славить... И по-о-ехали, голубчики. А кремляки-то им и говорят: „Уж коли поехали, так и не задерживайтесь в Москве или в Ленинграде: катите дальше — на Восток, на Север... Так что, когда там, наверху, мои просьбы берут, небось неблагодарным меня называют: вместо того, чтоб за Полярный круг отправить, московскую прописку ему дали, а он все недоволен. Им-то ведь не понять, что легче на Колымской каторге сдохнуть, чем, хоть и в Москве, глядеть на гибель детей своих. Это ведь для вас они — деревяшки, красивые или некрасивые скульптуры, а для меня они — мои дети. Такая уж у меня семья — они и пес.

Пес открыл глаза, встал и ткнулся носом в руку хозяина.

— Э, да тебя пора кормить, я вижу. — Скульптора сразу перестали интересовать и искусство, и политика.

— Как его зовут?

— Кого, пса? — Старик как будто впервые услышал о том, что собакам принято давать клички. — Он же не человек, чтоб ему какое-то особое имя придумывать. Пес он так и есть Пес!

Уходя, я опять остановился перед головой Толстого. Двухметровая, с прямо-таки горящим взглядом, буйной шевелюрой и такой характерной для Толстого девятисотых годов бородой, скульптура сочетала в себе поразительное портретное сходство с авторской тенденцией в самом здоровом смысле этого слова, и чем больше я в нее всматривался, тем больше материал, из которого она была сделана, мне казался единственным подходящим для воплощения облика великого старца.

Я еще сомневался, удастся ли мне получить разрешение выставить эту скульптуру для обозрения, даже еще понятия не имел, что же именно мне придется для этого выдумывать, но уже твердо знал, что буду этого добиваться любыми путями. Впрочем, подумал я, не напрасно ль я это затеваю: ведь у Эрзы такой нрав, что, даже находясь в поистине трагическом для всякого творца положении, он может и не доверить свое детище случайному знакомому, может и не захотеть, чтобы скульптуру экспонировали в зале, который ему был неизвестен, между произведениями, о которых он никогда ничего не слышал.

Я сказал скульптору, кто я и что я задумал. Старик долго молчал, механически почесывая за ухом у Пса. Наконец, он решился, и я понял это до того, как он заговорил: Пес опустил глаза и отошел.

— Ну что ж, дам я вам Толстого, — сказал Эрзя устало. — Вижу я, что ты его полюбил, — добавил он, не заметив, что переменил „вы” на „ты”. — Одно прошу: постарайся показать его людям так, чтоб и они его полюбили... Лучше на пустыре его поставь, только не рядом с г...м.

После этого посещения я часто бывал у старого скульптора. Работа его над „Счастливым материнством” шла вяло — он болел, писал прошения, ходил по чиновникам от искусства, освоил (как он выражался) „специальность скандалиста”: одного высокопоставленного чиновника обложил матом, другому сказал, что ему надоело быть просителем и он собирается уехать из СССР. Оба чиновника основательно струхнули, причем, по словам Эрзи, „второй гораздо больше, чем первый”.

Вскоре умер от старости Пес, и скульптор совсем захандрил: мало того, что он потерял верного друга, „члена своей семьи” и единственное в России существо, бывшее свидетелем его славы, его активной жизни среди друзей и в искусстве, но он вбил себе в голову, что его очередь теперь близка. И хотя самой смерти он не боялся, но когда говорил о ней, очень волновался, иной раз и плакал: убивался о своих работах, об их непристроенности.

Я приезжал вечерами, после работы, пил с ним крепкий чай, который он заваривал как-то очень сложно, как научился это делать еще в юности, живя в Индии, и пытался вывести его из состояния тревоги, тоски или апатии. Этого можно было добиться двумя способами. Один состоял в том, что я незаметно подводил его к рассказам о его жизни в Азии и Америке — о жизни в самом широком смысле слова: о встречах с художниками и с женщинами, о красках в Гималаях и в Андах, о восточных базарах и индейских пирогах. Этот способ был действенным, однако довольно медленным. Гораздо быстрее приводили его в активное состояние мои рассказы о хлопотах по поводу Толстого. Чтобы показать москвичам скульптуру, я придумал открыть в музее выставку „Образ Льва Толстого в новых работах советских художников и скульпторов”, и мы подолгу обсуждали саму идею, ее прохождение по инстанциям, а после разрешения выставки в принципе, и предполагаемые работы ее участников.

— Вы же сами давеча сказали, что в Лебедевской скульптуре нет полета, зачем же вы ее берете на выставку? — спрашивал он задорно. Или с иронией предлагал: — А почему бы вам карповскую картину „Ленин в кабинете Толстого в хамовническом доме” не выставить? Правда, и сам Карпов не убежден, что Ленин переступал порог толстовского кабинета, но этот пустяк для вашего начальства едва ли покажется существенным. Оно, конечно, нет в картине „образа Толстого”, который обещается заглавием выставки, но, наверно, и это не беда: зато „образ Ленина” есть... Знаете небось, как при Сталине утверждался проект памятника Пушкину?

И он с явным удовольствием рассказал занесенный ему кем-то из почитателей старый анекдот о поправках, вносившихся различными жюри и комиссиями в проект пушкинского памятника: первоначально был изображен Пушкин с томиком своих стихов, затем томик Пушкина был заменен томом Сталина, затем книга снова стала пушкинской, зато фигура — сталинской, а на последнем этапе сановный подхалим добавил заключительный штрих — вместо стихов Пушкина в руках Сталина оказался „Курс истории КПСС”.

— Говорят, — возбужденно закончил Эрзя, — что Сталин, увидев предложенный ему на утверждение проект, сказал: „Правильно решили, товарищи: у нас есть уже отличный памятник Пушкину, к тому же нашего великого поэта и так вся Россия знает — благодаря заботе партии и правительства о культурном росте трудящихся”.

Наконец, настал день, когда я получил из типографии каталог будущей выставки — всю пахнущую краской пачку принес прямо в подвал на Новопесчаной, и начался пир: теперь, после того, как каталог прошел цензуру, мы не сомневались, что скульптура будет показана. (Как мы были наивны: впоследствии мне при-

ходило видеть целехонькие ленты, не тронутые ножницами какого-нибудь замминистра, или начальника главка, или иного разрезателя лент только потому, что, уже взяв с атласной подушечки ножницы, он вдруг видел по другую сторону ленты нечто такое, что, по его мнению, могло иметь взрывчатую силу. Впрочем, с нашей выставкой ничего плохого не произошло: в надлежащий срок лента была разрезана.)

В день вернисажа я заехал за скульптором на машине. Все эти месяцы нашего знакомства он неизменно встречал меня в том же одеянии, в каком я его увидел впервые. Конечно, я ожидал, что для вернисажа он принарядится, но, как принято говорить, действительность превзошла всяческие ожидания: дверь открыл чисто выбритый, аккуратно подстриженный, сухопарый и совсем не такой уж старый человек в черной визитке с платочком в кармане, черных панталонах с атласными лампасами, белоснежной рубашке с воротничком капитэн и галстуком бабочкой и в лакированных туфлях с белыми гамашами. Мне едва удалось его уговорить (повторив двадцать раз, что машина отвезет его туда и обратно от дверей до дверей, и солгав, что в музее нет гардеробной), чтобы он оставил дома цилиндр.

Может быть, поэтому, а может быть, совсем наоборот — потому что чувствовал себя в парадном костюме неуютно, старик был не в духе: ругал московские светофоры, иронизировал по поводу разновеликости и разностильности домов на улице Горького, по которой мы ехали, со злостью удивлялся обилию на улицах милиции и военных.

Мы уже подъезжали к музею, а мне никак не удалось улучшить его настроение. Я начал побаиваться за его встречу со скульптурой. Конечно, я отвел ей лучшее место, но это лучшее место не было для нее хорошим. Она была тяжела (без малого тонна), и потому полы в больших залах не могли ее выдержать, в малых же залах она не смотрелась из-за того, что была велика.

Кроме того, все, что стояло рядом с ней, совершенно теряло всякую ценность. После долгих размышлений я решил поставить ее в круглом вестибюле, где сама она смотрелась отлично, а других экспонатов, которые из-за соседства с нею потеряли бы свои достоинства, не было. К тому же ее обособление здесь было вполне оправданно, поскольку ее все-таки никак нельзя было причислить к „новым работам советских скульпторов”.

Машина въехала во двор музея, обе створки высоких дверей, ведущих в здание, были распахнуты настежь, и в глубине высокого, прекрасных пропорций круглого вестибюля на специально изготовленной подставке видна была огромная непокорная голова Толстого. Автору явно польстило, что именно его работа открывает экспозицию, но когда он увидел, что стоит она в вестибюле, а не в парадном зале, ярости его не было предела. Он накинулся на меня с такой ненавистью, как будто я был одним из тех „высокопоставленных чиновников от искусства”, которые его травили. Он совсем забылся и, стоя в своем аристократическом одеянии посередине заполненного людьми вестибюля, низвергал поток нецензурностей. Я, сравнительно молодой тогда человек, больше всего был потрясен не его оскорбительным поведением, а его неблагодарностью. Высказав ему это, я пробился сквозь толпу гостей и убежал к себе.

Через четверть часа он пришел туда, зачем-то снял с себя визитку, небрежно вывернув ее при этом белой подкладкой наружу, и попросил у меня прощения.

— Я обошел залы, говорил с сотрудниками. Для моей работы вы избрали самое лучшее место. К тому же я не нашел в экспозиции ни одной скульптуры, рядом с которой мне хотелось бы поставить свою. Вы сказали верно: я — неблагодарная свинья! (Про свинью я ему не говорил.) А вы — молодец!

Нервы были слишком натянуты — я молчал, боясь разреветься. Он понял это по-своему:

— Думаете: оскорбил при народе, а извиняется в уголку. Ан нет — я не баба какая-нибудь, у меня хватит порядочности и при народе то же сказать.

И сказал-таки! Попросил слова перед тем, как замминистра уже собирался ленточку разрезать. Сказал про честь участвовать в такой выставке, про ту опеку, какую я взял над его Толстым, про мою энергию и вкус, а в конце покаялся в своей неблагодарности и своем дурном характере. После его выступления я стал как бы его сотриумфатором.

Впрочем, если говорить серьезно, единственным подлинным триумфатором на этой выставке была его скульптура. После того громадного успеха, какой она имела на нашей выставке, замалчивать творчество Эрзи было уже невозможно. И пришел день, когда над входом в Выставочный зал Союза художников на Кузнецком мосту появилась надпись: „Персональная выставка Степана Дмитриевича Нефедова (Эрзи)”.

Но и эта победа была не последней. Узнав творчество Эрзи, очень и очень многие задумались над колоссальными возможностями подлинного искусства и ограниченностью так называемого искусства социалистического реализма. Недаром в книге отзывов, лежавшей на выставке скульптура Томского (которая заняла после закрытия выставки Эрзи то же помещение), можно было прочитав недвусмысленное двестише:

После Эрзя
тебя смотреть нельзя.

ГЛАВА 9. ХУДОЖНИКИ И СКУЛЬПТОРЫ В МУЗЕЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Выставка, устроенная мною ради скульптуры Эрзи, привлекла в толстовский музей много новых художников и скульпторов. Не надо, впрочем, думать, что их было мало прежде. Отнюдь нет: не проходило

дня, чтобы не появлялось два-три человека. Конечно, я говорю о тех художниках и скульпторах, которые приходили для работы.

Одни рисовали потолки в музейных залах (музей помещался в одном из лучших московских особняков, построенных по проекту архитекторов Григорьева и Бове), а потолки здесь были редчайшие по художественным достоинствам лепнины и росписи. Другие копировали экспонаты, находившиеся в залах (среди копировщиков мне особенно запомнился художник Г.Скульский, большой знаток русского портрета первой половины XIX в. Он был автором едва ли не трех или даже четырех виртуозных копий макаровского портрета знаменитой М.А.Гартунг, старшей дочери Пушкина и прототипа толстовской Анны Карениной). Третьи изучали прижизненные фотографии и портреты Толстого, воспоминания его современников, книги литературоведов. Четвертые приносили свои работы, чтобы выслушать мнение компетентных ценителей или передать уже готовую работу на закупочную комиссию.

Из художников особенно запомнились мне Д.А.Шмаринов и А.В.Николаев. Оба они появились в музее почти одновременно, оба были иллюстраторами романа „Война и мир”. Впрочем, на этом сходство между ними и кончалось. Все остальное — подход к теме, принцип иллюстрирования, характер иллюстраций, даже внепрофессиональные интересы и внешность художников — все было абсолютно различным.

Шмаринов в работе художника вел себя как ученый. Прежде чем положить на чистый лист бумаги первый черный мазок (его иллюстрации были черно-белыми), он проводил колоссальную исследовательскую работу: заведя на каждого заинтересовавшего его героя „Войны и мира” „персональное дело”, он вписывал в него сотни деталей словесного портрета, рассыпанных по всем томам романа — черты лица, особенности фигуры, любимые жесты, выражение глаз, позу и костюм

в тот или иной момент повествования, круг знакомых, импонирующий пейзаж и т.д., и т.д., и т.д. Он изучил мундиры множества войсковых частей русской, французской, прусской и австрийской армий начала XIX века, костюмы столичной и провинциальной аристократии России, одежду простого люда, типичные интерьеры и архитектуру дворянских особняков в Петербурге, Москве и деревенских усадьбах. Короче говоря, когда художник решал, что пора взяться за кисть, он мог работать, даже не заглядывая в текст романа Толстого.

Если ему предстояло иллюстрировать, например, рассказ о встрече Пьера с Ростовыми перед его покушением на Наполеона, художник открывал папку с надписями „Пьер“, „Наташа“, „Быт Ростовых“ и под соответствующей датой происшедшего в романе события (с указанием соответствующих тома, части и главы) находил все необходимые ему дополнительные детали, которые он едва ли мог сразу заметить даже при самом внимательном и вдумчивом, но однократном чтении романа — вплоть до покроя панталон и фасона сапог на Пьере, размера и фирмы его пистолета, капора Наташи или формы ее бровей, внешнего вида ростовского возка и т.д.

Шмаринов и в жизни был на редкость четким, аккуратным, спокойным человеком. Он любил все обдумывать, все предусматривать заранее и даже в обычном разговоре отвечал на вопросы не сразу, а как бы прикидывая про себя все возможные варианты ответа и все возможные последствия произнесения каждого из вариантов. Недаром знакомые звали его за глаза не Дементием Алексеевичем, как в глаза, а Дипломенти-ем Лисеевичем.

Совсем иным был Андрей Владимирович Николаев. Молодой, высокий, подтянутый и шумный, он всегда появлялся в музее без предупреждения, рывком распахивая дверь отдела фондов и, на мгновение заме-

рев в своем угловатом спортивном пиджаке и галифе на пороге, начинал потом нервно пощелкивать себя хлыстом по начищенным до зеркального блеска невесть откуда раздобытым крагам. Потом, ни на минуту не переставая двигаться, ловко обходя шкафы и столы, которыми были заставлены обе комнаты отдела фондов, он громко и четко рассказывал о результатах последних рысистых состязаний или о собачьих выставках, сыпал именами, кличками, родословными, профессиональными бретерскими словечками, поносил судей и погоду, соперников и судьбу, потом вдруг спохватывался, взглядывал на часы, выхватывал из тощей папки две-три тончайшие по колориту акварели, победно осматривал восхищенные физиономии зрителей, бросал рисунки на стол, одновременно называя их стоимость и, повернувшись на каблуках, уже в дверях выкрикивал: „Good bye!”

„Анну Каренину” иллюстрировали — тоже одновременно — два художника. Один из них, ленинградец А.Н.Самохвалов, по-петербургски вежливый и любезный, никак не мог понять, почему ему вменяют в непременную обязанность иллюстрировать тему Левина.

— Дело не в том, что Левин не находит отклика во мне как в художнике (хотя это и так), а в том, что эта тема и у Толстого (вы меня извините, я — не специалист и говорю как читатель) слабее. „Зачем вам это?” — растерянно и деликатно спрашивал он сотрудников и, получая в ответ цитату из пресловутой статьи Ленина о Толстом, конфузливо и покорно замолкал. „Тему Левина” он все же иллюстрировал даже четыремя (или пятью) иллюстрациями, причем одна из них — „Левин на косьбе” — оказалась на редкость удачной.

Его соперником был ереванец А.В.Ванециан, художник не без дарования, но еще более, чем даровитый, энергичный. Проиллюстрировав как-то повесть Толстого „Казаки” и оперируя, главным образом, своей национальностью и тем, что шесть месяцев в году он

обычно жил в Армении, Ванециан сумел прослыть „единственным советским иллюстратором Толстого, чувствующим Кавказ“. Отсюда оставался лишь шаг, чтобы прослыть „единственным советским иллюстратором, чувствующим Толстого“. Глядя на его иллюстрации к „Анне Карениной“, я всегда вспоминал Леонарда Масленникову в роли Татьяны Гречиной из оперы „Евгений Онегин“: все было хорошо в этой княгине — голос, рост, платье, даже малиновый берет, но, сидя на спектакле, никак не удавалось забыть, что в светский салон она пришла из цехов Трёхгорной мануфактуры.

Отсутствием чувства эпохи Ванециана напоминал художник А.И.Харшак, направо и налево расхваливавший „острую социальную направленность“ своих иллюстраций к „Воскресению“. Из-за этой „направленности“ представитель министерства культуры решительно требовал от музея приобретения этих огромных и мрачных листов, чтобы „наконец, обновить экспозицию работами современного мастера“. Нам удалось сопротивляться довольно долго, ссылаясь на то, что иллюстрации к роману художника Л.О.Пастернака, которые экспонировались в музейных залах, были в свое время одобрены самим Толстым. (Тогда еще авторитет Б.Л.Пастернака не был подорван в глазах советских правителей присуждением ему Нобелевской премии, иначе едва ли бы нам позволили столь упорствовать в защите творчества его отца.) К сожалению, вскоре случилось одно происшествие, из-за которого часть иллюстраций Л.Пастернака из экспозиции пришлось удалить.

Рассказ об этом „происшествии“ следует начать с приобретения музеем нескольких иллюстраций Пастернака, три из которых дублировали уже имевшиеся у нас сюжеты. Решено было попытаться установить, какие из одинаковых экземпляров являются первоначальными рисунками художника, а какие — авторскими повторениями, чтобы экспонировать повторения,

подлинники же, в целях максимальной сохранности, держать в отделе фондов. Имея в виду осмотр с этой целью оборотных сторон рисунков, я решил вскрыть паспарту, что (если паспарту авторские, как в данном случае) производится чрезвычайно редко. Каково же было мое удивление, когда, вынув бумагу из-за стекла, я увидел, что она — фотографическая! Получалось, что художник даже не дал себе труда повторить свой рисунок, а просто перефотографировал подлинник в нескольких экземплярах и раскрасил фотоотпечатки по контуру. Начали вскрывать паспарту Пастернака одно за другим и увидели, что некоторые сюжеты в коллекции музея вообще подлинниками не представлены! Вот тут-то и пришел час иллюстрациям Харшака взмыть на стены. Но, честно сказать, все же не надолго.

Из других иллюстраторов мне ярче всего запомнился, пожалуй, Аркадий Пластов. Шел я к нему и никак не мог его себе представить: мешало какое-то несоответствие между его именем и его фамилией, между его известной мне дебелой „Весной” и удачным, как мне говорили, изображением аристократического Петербурга в иллюстрациях к рассказу Толстого „Холстомер”. Ради этих иллюстраций я и шел в ателье художника.

Ателье было огромное и сплошь заваленное холстами, подрамниками, мольбертами, красками, кистями, рулонами ватмана, бутылками и консервными банками. Небритый художник в грязной и рваной робе сидел на полу вместе с очень похожим на него и совсем так же, как он одетым молодым парнем, называвшим его отцом. Давно немывтыми, вымазанными разноцветными красками руками они брали со стоящего перед ними стула куски вяленой воблы и запивали ее пивом — один из ржавой консервной банки, другой — прямо из бутылки.

Поскольку на любезное приглашение „присоединиться” я ответил отказом, Пластов вздохнул, с огор-

чением поглядел на оставшуюся рыбу, плеснул на руки пива, вытер их о кусок газеты и молча начал раскладывать на полу передо мною большие листы ватмана с иллюстрациями к „Холстомеру”. Рисовальщиком он был хорошим, да и колористом неплохим. Многое сумел он схватить и чисто такого, что присуще было именно Толстому. Особенно удались художнику рисунки, иллюстрировавшие вторую половину рассказа („Драч, табунщик Васька и Холстомер”, „Кости Холстомера” и др.). Холстомер в молодости удался разве только на одном листе — „Холстомер обгоняет Лебедя”. Было совершенно очевидно, что все крестьянское, деревенское было ему близко, а всякие бобровые воротники, кивера с плюмажами, подвитые коки и усы выглядели театрально.

Я сказал ему это, добавив, что для такого небольшого, как „Холстомер”, рассказа в экспозиции не может быть отведено слишком много места, что листы его очень велики, так что волей-неволей придется ограничиться покупкой двух-трех иллюстраций. Художник, до того вынимавший из папки иллюстрации с видом Радамеса, представляющего фараону пленных, вдруг преобразился в суетливого, жалкого, охающего мужичка, без умолку повторяющего одни и те же слова, в которых, при его манере говорить нараспев и окать, мне слышалось только одно долгое-долгое „о”:

— Ох, сиротинушки мои, ох, холстомерушки! Коли не возьмете их всех, ох, пропадут они! Пропадут они, порассеются, кому они поврозь-то надобны! Коли всех возьмете, недорого продам, полную-то, говорю, коллекцию недорого продам, а коли поврозь — ох, оно и вам дороже, и мне поплоче... К тому говорю, что оно хозяйственной вам получить в полное-то свое пользование всю коллекцию...

С трудом перебив его юродивый речитатив, я указал Пластову на совсем неудавшиеся иллюстрации, из-за которых, на мой взгляд, полностью коллекция при-

обретена быть не могла вообще — ни нашим музеем, ни кем бы то ни было. Он слушал меня вполуха, прикрыв зоркие глаза, но стоило мне замолчать, хищно сверкнул ими и повторил все сизнова, добавив, правда, и новую фразу:

— Доработаю, доработаю; что покажете, то и доработаю... Вот только оформим покупочку, и доработаю. Ох, не могу я умереть, не пристроив сиротинушек моих, холстомерушек...

Так мы с ним в этот раз ни до чего и не договорились. После нашей встречи он несколько месяцев вел переговоры с Третьяковской галереей, с Русским музеем в Ленинграде и невесть еще с кем. Потом пришел к нам и, ни о смерти своей не упоминая, ни речитативов о сиротинушках-холстомерушках не исполняя, предложил к продаже четыре листа.

Вспоминаются мне также художники, писавшие картины, на которых изображался сам Толстой. Некоторым из них я помогал постоянно — начиная с выбора темы. Первым таким художником для меня был Самуил Хинский, последним — Николай Цыганов.

Хинский был малокультурным, малоталантливым, маловоспитанным человеком, однако его любовь к искусству и к людям (особенно к детям), его воловы упорство и работоспособность вместе с его дружбой со многими талантливыми художниками и искусствоведами, замечаниям и советам которых он верил абсолютно, позволяли ему добиваться в своей работе совершенно неожиданных, прямо-таки поразительных результатов.

Над картиной „Лев Толстой с деревенскими учениками в своей Яснополянской школе” Хинский работал несколько лет. За это время он пропустил через свое „ателье” (на русском языке это слово в данном случае точнее всего звучало бы как полутемный, полурасчищенный от хлама чердак) добрых полтора десятка Марксов, Лениных и персонажей еще более современ-

ной истории, отличительной чертой которых (за редчайшим исключением) была выпяченная колесом грудь, увешанная множеством блестящих побрякушек. Портреты этих деятелей художник именовал кормильцами и видел в них, как и в их прототипах, необходимое зло, а Толстой и его ученики, хотя и назывались им нахлебниками, пользовались огромной любовью их создателя, особенно ребятишки. К сожалению, тяжелым жизненным обстоятельствам удалось сломить художника, он умер молодым, неожиданно и при очень трагических обстоятельствах, так и не успев закончить свою картину.

Цыганов пришел в музей, откликнувшись на предложение написать картину о пребывании Толстого в Крыму в 1901—1902 гг. После долгих обсуждений и изучений документов было решено изобразить писателя на верхней террасе Гаспринского дома, в кресле, с книгой на коленях, в окружении Чехова, Горького, жены и дочери. Обдумывая композицию будущей картины, художник решил использовать известную фотографию крымского периода, где Толстой и Чехов запечатлены сидящими рядом, а Горький стоящим между ними.

Внимание, которое привлекла к себе эта фотография, неожиданно дало возможность сделать хотя и небольшое, но довольно любопытное открытие. Мне показалось, что композиция фотографии несколько искусственна, а при изучении дневниковых записей Толстого, Чехова, Горького и их близких я не смог обнаружить ничего, что подтверждало бы факт встречи всех трех писателей в один и тот же день. На мое счастье, фотограф, делавший этот снимок, был жив, и мне удалось его отыскать. Едва взглянув на фотографию, он твердо заявил, что это — монтаж. И показал мне альбом подобных фальшивок. Особенно сильное впечатление произвело на меня изображение Сталина, идущего по Красной площади в окружении радостно улыбаю-

щихся ему и протягивающих к нему руки прохожих. Рядом с этой фотографией находились два, так сказать, полуфабриката: на одном было все то же, кроме Сталина, а на другом — Сталин в кремлевском скверике, совсем один (и потому смотреть на его неоправданную улыбку было странно), а вдали — кусок высокой кремлевской стены и какие-то личности в кожанках.

Вернувшись в музей, я рассказал о результатах своего похода Н.Н.Беспалову, принявшему директорский пост вскоре после кончины Софии Андреевны Толстой-Есениной. Он только усмехнулся — его, бывшего заместителя председателя Совета министров РСФСР и бывшего председателя Комитета по делам искусств СССР, эдакими обыденными случаями удивить было невозможно.

Что касается нового памятника Толстому, то стоит, вероятно, рассказать о конкурсе на этот памятник, хотя сразу же нужно оговориться, что конкурс показал настоящее убожество творческой мысли и профессионального умения советских скульпторов. Трудность воплощения образа Толстого в объемном материале поняли очень немногие, гораздо больше скульпторов поняло, что условия конкурса были для них исключительно благоприятны. Поэтому участников выставки конкурсных проектов было так много, что они едва разместились в восьми залах музея Льва Толстого!

Но что за безрадостная картина представлялась взору человека, проходившего мимо этих бесконечных подпоясанных веревками толстовок, зажатых „в натруженных руках” книг и старательно взлохмаченных бород! Кто только ни привез сюда памятника своей неоправданной дерзости — от старейшего и давно уже дисквалифицировавшегося С.Т.Коненкова до совсем молодого и еще неквалифицированного А.М.Портянко. Даже комиссия, которая получила задание во что бы то ни стало заменить памятник работы С.Д.Мерку-

лова новой скульптурой, единодушно пришла к выводу, что ни один проект не может быть принят для установки его в качестве памятника.

Впрочем, энергии большинства из участников конкурса это не ослабило, хотя масштабы приложения этой энергии у различных скульпторов было различными. Коненков, например, ни за что не хотел брать назад из музея своего старичка, шагающего каким-то неестественным семимильным шагом, от которого вихрилась его борода далеко сзади, а деревянная тросточка, вложенная скульптором в его гипсовую руку, вынеслась далеко вперед. Даже когда Коненкову сказали, что у музея нет денег на приобретение его произведения, это заставило его смешаться лишь на секунду.

— Хорошо, — решительно заявил скульптор. — Берите его так. Только введите в постоянную экспозицию.

А супруга добавила с еще большей экспрессией: — Народ должен знать своих классиков!

Скульптор Портянко, получивший на конкурсе вторую премию, имел большие претензии. Уже через какие-нибудь полгода после закрытия выставки он выпустил массовым тиражом небольшой бюст Толстого (деталь его памятника), а еще через полгода сумел получить право и средства на „доработку” самого памятника.

Теперь памятник этот можно видеть на Новодевичьем сквере, и в путеводителях по Москве, наряду со словами о редком художественном совершенстве опекушинского памятника Пушкину, „москвичи и гости столицы” могут прочесть, какой огромный гранитный монолит, откуда и с каким трудом был вывезен для памятника Толстому работы скульптора Портянко.

И уже есть москвичи, которые гордятся этой аляповатой глыбой. Увы, их много, и среди них есть не только „просто москвичи”, но и такие москвичи, к чьему голосу прислушиваются: от городского архитек-

тора до экскурсовода Мосэкскурсбюро. Есть уже среди них и такие, которые гордятся своим участием в хлопотах о том, чтобы этот памятник занял нынешнее свое место. Есть даже и такие, которые и памятник-то увидели впервые после его торжественного открытия, а все же гордятся — своей мнимой к нему причастностью.

В числе этих последних — и нынешний директор музея Льва Толстого. По всякому поводу и без повода он рассказывает об участии музея „в создании памятника гению человечества”, полагая, видимо, что это „участие” отбрасывает блики и на его собственную персону. Ведь он — директор. Хотя, добавлю, без году неделю. Невольно вспоминается анекдотический диалог о подобном руководителе:

- А он на чье место сел?
- На место Беспалова.
- А Беспалов?
- На место Чикиной.
- А Чикина?
- На место Толстой-Есениной.
- А она?
- А она сидела на своем месте.

ГЛАВА 10. ХРАМ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КОМБИНАТ

В предыдущей главе я упомянул имя Николая Николаевича Беспалова. Из всех, кто правил музеем после Толстой-Есениной, этот человек сыграл самую большую роль в судьбе того дела, которым музей занимался. Произошло так, главным образом, из-за его убежденности, что до его прихода во вверенном ему учреждении многое было неблагополучно. То ли его обескуражило, что постановка работы в музее Льва Толстого отличалась от всего, что он видел до того в высших правительственных канцеляриях, то ли состав сотруд-

ников не внушал ему доверия, то ли вообще новый директор должен априори предполагать, что до него все было из рук вон плохо — не знаю, по какой уж причине, но факт тот, что Беспалов в первый же день своего появления в музее сделал заявление в таком духе, что на нем лежит миссия поднятия музея на подобающий ему уровень.

Маленький, худенький, юркий, с цепким взглядом хитрого мужичка, с нижегородским оканьем и тыканьем всех, у кого не хватало смелости или гордости его осадить, Беспалов был из числа „падших ангелов”, как мы называли бывших номенклатурных работников, чем-то проштрафившихся или просто не подходящих при изменившихся условиях жизни, а потому сдернутых с партийно-правительственных сфер и пересаженных на низовую работу.

Хотя он много фанфаронил, рассказывая каждому встречному и поперечному, по каким коврам дорожкам он ходил в Совете министров (он говорил: „У нас в Совмине”), каких девочек из кордебалета привозил „для антуражу на разные там банкеты” или как его встречал в Индии сам Джавахарлал Неру, был он неглуп и даже человечен.

Однако для института, работой которого он теперь руководил, эти его положительные качества не имели никакого значения — хотя бы потому, что они с лихвой перекрывались его предельным невежеством и в литературоведении, и в искусствоведении, и в музееведении. К тому же ни свой практический ум, ни доброту своего характера он просто не имел возможности применить, ибо любое, самое ничтожное свое распоряжение всегда предварительно „согласовывал” с начальством и „обговаривал” с чиновными приятелями. Приятели эти были для него высшим авторитетом, а между тем они давали советы несколько не лучшие, чем мог бы дать любой прохожий, — поскольку их повседневные интересы лежали далеко за пределами того, чем

жил музей Толстого. Впрочем, если их советы были, мягко выражаясь, неквалифицированными, то с заботой их о музее дело обстояло еще хуже: она сплошь да рядом походила на заботу крыловского медведя о пустынке, он, как известно, согнал муху со спящего приятеля здоровенным бульжником.

Главным событием в жизни музея этих лет была его передача из ведения Академии наук в ведение Министерства культуры СССР, а затем Министерства культуры РСФСР. Смена хозяина изменила в музее все — даже характер и направление его деятельности. Прежде о работе музея судили по научным достоинствам статей, опубликованных его сотрудниками, по выразительности экспозиции, по сохранности мемориальных вещей, по уникальности книжного фонда, по степени разработанности рукописного наследия писателя, по активной связи сотрудников с теми, кто интересовался жизнью и творчеством Толстого, и все это при Софии Андреевне было поставлено так, что музей выдвинулся на одно из первых мест среди литературоведческих институтов страны.

Теперь же ничего из того, чем прежде гордился музей, министерство не поощряло и не требовало. Да и что оно могло требовать, если зарплата научных сотрудников теперь была вдвое ниже, чем прежде. Какой специалист с высшим образованием соблазнился бы семьюдесятью рублями в месяц, если уборщица в том же музее получала сорок восемь? Анекдоты из жизни сотрудников, числившихся в те годы на работе в музее Л.Н.Толстого, можно рассказывать часами.

Например, старейший из них (по стажу) В.А.Ж., четверть века изучавший творческую историю романа „Анна Каренина”, добился за прошлые заслуги разрешения ходить на работу лишь два раза в неделю и так обленился, что, как выяснилось на одном семинаре, ухитрился начисто забыть самые общеизвестные эпизоды романа. Другая научная сотрудница, М.С.Г., суме-

ла его перещеголять: после двухмесячной командировки она, войдя в коридор музея и оказавшись перед двумя дверьми, никак не могла вспомнить, какая же из них ведет в комнату, где она проработала больше года. Руководитель экскурсоводов Н.С.В., любивший экзаменовать своих подчиненных (завалаясь на мемориальную кровать или диван, а их поставив по стойке „смирно” перед собой), оказался, когда понадобилось, не в состоянии написать сочинение на школьную тему. Упомяну еще А.И.Ш., который взялся за научную разработку темы о связях Толстого с Востоком, не имея даже элементарных знаний никакого языка (кроме русского), и А.Н.З., которая всегда была в такой степени поглощена мыслями о своих домашних делах, что при переписке текста толстовской рукописи фразу „Баба сажала хлебы в печь” воспроизвела ее как абсолютную бессмыслицу: „Баба кидала тесто в печь”.

Все, кого я сейчас перечислил, были кандидатами наук и старшими научными сотрудниками. Но если научная элита музея была на столь низком уровне, чего можно было ожидать от обыкновенных экскурсоводов? А ведь они-то теперь и определяли лицо музея, поскольку министерству нужна была только популяризаторская (или, как она официально именовалась, агитационно-массовая) работа — передвижные выставки, выездные лекции, экскурсии. Главным образом — экскурсии: количество экскурсий и количество человек в каждой экскурсии.

Естественный поток посетителей (в музее Толстого, к слову сказать, всегда немалый) министерство не удовлетворял, и дирекция музея ежедневно снимала экскурсовода (а потом двух и даже трех) с его прямой работы и сажала за телефон, чтобы зазывать экскурсантов: сперва — учеников из школ, потом — студентов из институтов, потом — служащих и рабочих из предприятий и учреждений, потом — офицеров и солдат из казарм... Потом сотрудники музея поехали лично пригла-

шать тех, с кем не могли договориться по телефону... Потом вышли за пределы Москвы — в Московскую область, потом — в соседние с Московской области... Потом были изготовлены передвижные фотовыставки, и экскурсоводы на машинах начали разъезжать по командировкам — на месяц, на полтора.

Храм толстоведения начал превращаться просто в комбинат по информации о фактах жизни и творчества Толстого.

Теперь увеличение посещаемости не было только делом экскурсоводов или даже только делом музея, теперь об этом начало заботиться и профсоюзное руководство тех организаций, которые поставляли в музей экскурсантов — оно получало за „активную культмассовую работу” довольно крупные премии. Наконец, увеличение посещаемости стало тревожить руководство музея. Сперва испугались за дом в Хамовниках. Ведь ни когда он строился (1808 г.), ни когда он перестраивался и капитально ремонтировался (1882 г.), никто не рассчитывал, что деревянные лестницы, узенькие коридоры и маленькие комнатки в нем должны будут выдерживать непрерывный поток нескольких сот человек ежедневно и в течение целого дня. Впрочем, и в сравнительно больших залах литературного музея Толстого теперь возникли свои проблемы — вентиляции, сохранности художественного паркета, охраны экспонатов и т.д. Появились случаи кражи мемориальных вещей.

Естественно, что при все увеличивавшейся нагрузке экскурсоводов их экскурсии становились все хуже и хуже: экскурсоводы не имели теперь времени ни на приобретение новых знаний, ни на отдых. К тому же понизившийся культурный уровень посетителей вынуждал все более упрощать текст экскурсий. Когда этот текст стал совсем элементарен, он утвердился как постоянный, и экскурсоводы превратились в патефонные пластинки.

Отвечая на вопросы, заданные по ходу экскурсии, они часто были вынуждены держать указку на том экспонате, на котором себя прерывали — без этого они просто не знали бы, с чего им продолжать говорить после ответа. Я был свидетелем случая, который, как мне сказали, не являлся чем-то исключительным или даже редким. Дело происходило в гостиной дома Толстого. Когда экскурсовод провозгласил, что перед посетителями — шахматы, в которые писатель часто играл, а затем устремился к следующему экспонату, один из экскурсантов робко спросил: „А где же шахматы?“ Все обернулись к столику, в который экскурсовод только что ткнул указкой — шахмат действительно не было. Смутившийся экскурсовод с помощью музейных служителей тут же выяснил, что шахматы уже третий день как убраны для реставрации. Всем стало неловко.

Информация о жизни и творчестве Толстого в комбинате становится элементарной, неточной, а иной раз и прямо неверной.

В конце концов (примерно к 1960 г.) всем — от экскурсовода до директора — делается ясно, какой процесс переживает музей. Делается ясно также, что количество посетителей, принимавшихся тогда музеем, дошло до своего предела. А между тем „контрольные цифры посещаемости“, спускаемые министерством, все увеличивались. И вот в один прекрасный день сотруднику, ежедневно подсчитывавшему цифры посещаемости, пришла простая и гениальная мысль: увеличивать количество экскурсий, а в каждой экскурсии — количество экскурсантов, но только на бумаге. Это новшество, повторившее опыт всех советских фабрик и заводов, колхозов и совхозов, в музеях еще было неизвестно. Но привилось оно там отлично: посещаемость неуклонно росла, и довольны были все. Министерство — собственным отличным руководством. Дирекция музея — ведущим положением своего учрежде-

ния среди других музеев страны. Заведующий агитационно-массовой работой — получением директорских благодарностей без всякого труда. Экскурсоводы — возможностью немного передохнуть, начать лечить приобретенные из-за перегрузки ларингиты и взяться за чтение книг по своей прямой специальности.

Сперва о новации в музее знал только сотрудник, который вел учет посещаемости. Потом узнали все. Потом эта ложь стала размножаться. И у отдельного человека, и у целых учреждений. Зачем, например, экскурсоводу нужно было проводить три экскурсии, а четвертую приписывать, когда он мог провести одну, а три приписать? Или: почему сотрудники, например, музея Горького должны были выбиваться из сил и все-таки получать от министерства только выговоры, когда им ничего не стоило перенять уже оправдавший себя опыт музея Толстого и, как говорит герой Грибоедова, „и награжденья брать, и весело пожить”?

Одно было скверно: в музей человека, который всю жизнь стремился к истине, вошла ложь. Храм толстоведения перестал существовать. На его месте возник комбинат информации о жизни и творчестве Толстого, построенный на лжи и далеко не всегда правдивый и в самой этой информации.

Альберт Игнатьевич *Опульский* на протяжении многих лет работал старшим научным сотрудником, ученым секретарем и заместителем директора Музея Льва Толстого (при Институте литературы Академии наук). Им опубликовано 10 книг и более сотни статей по русской классической литературе. С 1977 года живет в Канаде. В настоящее время А.И.Опульский — профессор Монреальского университета и Университета Мак Гилл.

Памяти Евгении Гинзбург

*О детстве счастливом, что дали нам,
Звени, моя песня, звени.*

(хором)

*Спасибо великому Сталину
За наши чудесные дни!*

I

Ложные учителя моего поколения учили нас ложным истинам.

Нас учили преступать законы, — перевернув заповеди наоборот.

1. Нет Бога.

2. Поклоняться идолам (гипсовым статуям, золотому тельцу материализма; Природе, — то есть язычество).

3. Отречься от родителей (отец один — отец народов).

4. Ненавидеть (священной ненавистью. Священным больше не объявлялось ничто).

5. Красть (ведь все кругом колхозное, — и все кругом — мое!)

6. Лгать (соцреализм).

7. Сожительствовать (с кем хочешь, потому что это — искренно; мораль — фальшь. Светлый идеал — Лиля Брик).

8. Завидовать (хорошей завистью).

9. Доносить — доблесть („Не могу молчать!” Не-
посредственно и педагогично).

Милицейские учителя наши внушали нам, что нарушение правил (например, уличного движения) — опасно для жизни.

Но что нарушение всякой заповеди именно и несет в себе зародыш самоубийства или убийства — мы поняли много позже: во внеурочное время.

А тогда — сногшибательная, веселая акробатика совести!

По чистой случайности мы не разорвали друг друга. (В Японии еще недавно учили мальчиков в детских садах — разрывать живых щенков на части, сознательно воспитывая жестокость.)

Книг у нас не было.

Вместо них учебники по обесчеловечиванию и... песенники.

Ученики пели хором: „Вся страна ликует и смеется, и весельем все озарены”.

Учителя же формировали преступников, пока учителя были в неволе.

Вернувшись из неволи, Евгения Семеновна стала нашей первой учительницей.

Жуковский, наставник будущего Александра II, называл жизнь — школой страданий. В этой школе Евгения Семеновна была одной из самых талантливых учениц. А пройдя высшее образование Колымы, она и вовсе стала собой (какой была задумана Богом, а не КГБесами).

Правда, к этому времени мы уже были переростками. Но в училищах зла мы не оправдали надежд.

Наши отцы тем только избежали родительских собраний по поводу нашей неуспеваемости, что были своевременно убиты отцом самым родным, великим другом детей.

Вот откуда мы пришли к „Евгеничке Семеночке” (как называли ее лагерные дети), — и вот откуда Евгения Семеновна пришла к нам.

Евгении Семеновне дали квартиру в нашем околотке.

Школа получилась очная.

Мы глядели в ее очи.

Господи, благослови ее!

II

По субботам мы собирались к Евгении Семеновне, как в деревенской глуши деревенские ребята к городской учительнице.

Она жила на высоте семи ступеней от земли. (Но по какой лестнице она поднялась по ним, со дна какого ада!)

Дверь, обитая войлоком.

В домах прошлого это была бы комната консьержки — у самого лифта; теперь м и м о нее хлопала железная камера: вверх взвивался Солоухин, хлоп, сотрясение — вниз какой-то советский писатель — хлоп, сотрясение — вверх — голубой полковник, хлоп, вниз — какой-то холоп, хлоп, вверх — ведьма с грохотом... (другая ведьма с помелом сидела тут же на стреме. Она-то и сказала потом: „Гинзбург меня может напугать: она тут умирает, а мне сидеть работать”).

Маленький коридор Евгении Семеновны с чистыми половицами не сотрясаясь ни от чего. Трезвый спокойный свет шел от кухонного окна.

Мы долго, старательно вытирали башмаки, вешали пальто. Она встречала. Казалось, мы разувались на песке перед морем, чтобы сейчас уплыть.

Робея, мы пробирались в ее „светелку”, в ее единственную комнату на земле.

Это была настоящая комната настоящей русской учительницы.

Окно, книги, кровать, портрет сына, пианино. Мы садились за круглый стол (он был рабочим и обеден-

ным). На пианино, в почетном месте, сложены бесценные квартирные счета. Они поджаты морской ракушкой, Бог весть из каких глубин выплывшей, как и сама хозяйка, — а теперь вот — стерегущей ее очаг.

Мы понимаем, что находимся у самой аккуратной квартироплательщицы в мире. На уплаченной жилплощади, у хозяйки, прописанной по месту жительства.

А потому никто не имеет право площадь отобрать, а нас вытолкать в шею.

Евгения Семеновна гордилась своими четырьмя стенами, как классик социзма виллой в Сорренто.

Садилась за стол Евгения Семеновна всякий раз так, чтобы нет-нет да и взглянуть на ракушку со счета-ми на пианино — как музыкант на ноты, — и тогда в ней начинала заниматься музыка покоя. И музыка эта передавалась нам. Всему кружку, жаждавшему грамоты.

III

Как же выглядела сама Евгения Семеновна?

И в чем была ее суть?

Мне кажется — внешний облик ее был таким, каким долженствовал быть облик учительницы.

Облик этот в последние 60 лет стал невидалью на Руси.

Умное, живое лицо Евгении Семеновны — всегда живое, а тем более на фоне безликих, как разварившийся картофель, полуинтеллигентских харь (семья и школа) или на фоне сырого картофеля — харь невежественных (школа и семья), — того, что наводняло коридоры зелено-серых школо-кастрюль, в которых нас тушили.

У Евгении Семеновны лицо было — спокойное, а глаза — громкие.

Два лучезарных свидетеля на лице.

Самое лицо Евгении Семеновны — его архитектура — состояло из трех элементов: строгости, простоты и прелести.

Но было оно сильно освещено изнутри — здравым смыслом и редкостной памятью.

Так интересно завязано это лицо, что фиксировало на себе внимание самых сонных и дебильных учеников.

От него не хотелось оторваться, как от стремительного кинофильма.

Когда она рассказывала, мне чудилось, что фильм этот — многосерийный — бежит по ее лицу, — как тень летящего самолета по земле.

(Холмы, рельсы, озера, глаза, леса, волосы, колючая проволока, ресницы, вагоны — тени, тени под глазами, горький рот, снега, снега, а под конец цветное заграничное кино с хэппи-эндом — Франция!)

„Евгения Семеновна, а не хотелось вам остаться в Париже?“

„Что вы? Да как я оттуда на свои Кузьминки попаду? Там ведь Антон похоронен“.

Мы смотрели на ее лицо, — а она смотрела на нас, — и взор ее был до краев полон жизни и здравого смысла, как и взгляд ее на суть вещей.

Согласие между взглядом и взором! (Чего не ведали наши несчастные учителя. Взглядов своих там не бывало, а взор — один надзор.)

„Самое преступное у них — педагогика и медицина“.

Евгения Семеновна насквозь была разумна, а потому духовна (религия ясного разума).

„Какой же это врач, если он не религиозен? Обязательно выродится“.

„Больница сейчас хуже, чем тюрьма“.

„Меня вчера один старбол спрашивает — уж не верующая ли я? А я говорю: как же? Я ведь не сумасшедшая“.

Чуть косо, под углом, исподлобья смотрит, по-детски серьезно.

Как объяснить каким образом она глядела, когда говорила, — внимательно смотря в глаза собеседнику, следя за степенью его понимания?

Как лазерные лучи, которые должны падать под определенным, точно вымеренным углом, чтобы попасть в глаза, в единственную нужную точку, дабы исцелить, а не ослепить (как учителя), — так и тут был определенный, только ей ведомый угол зрения: вот и глядела она вам чуть искоса в глаза — и луч ее глаз безболезненно врачевал, а многим — возвращал зрение.

Говор, манера произносить, ритмика речи Евгении Семеновны были очень естественны (в отличие от милицейского штампованного косноязычия, на котором изъяснялись учителя) и — очень русские: живая, плавная четкость, каждое слово закончено, округлено, слова, как созревшие яблоки, — много о. Яблоки-антоновка. (Во всем сквозила память об Антоне.)

У Евгении Семеновны были роскошные волосы, полные веселой силы.

Я думаю, это были волосы Самсона.

Волосам привольно жилось на ее умной голове, как растениям на благословенной земле.

И потому они никуда не спешили от нее, как то случалось с лысыми учителями (или ведьмами на Лысой горе).

Здравомыслие оказалось вернейшим средством для волос! Учителям (см. портреты) приобрести такое средство было решительно негде (даже не выписать из Европы), а потому — должно быть, они завидовали Евгении Семеновне „хорошей завистью”.

У Евгении Семеновны были царские руки.

Несмотря на маскарад времени, легко в них было генетически узнать руки царя Давида. Такими руками он играл на арфе перед безумным Саулом, — но и поборол Голиафа. И писал псалмы. (Руки Давида — Донателло, Верроккио.)

Вообще в облике Евгении Семеновны явно присутствовала библейская статья.

Но, чтоб никто не догадался — что за высокого происхождения руки, — Евгения Семеновна, как нарочно, не расставалась с дамской сумочкой, вроде дам на игральных картах, со своим символом. В „символе” своем она хранила ключ от квартиры и паспорт.

В отличие от наших учителей — мастеров прибавлять, — Евгения Семеновна умела считать и вычитать. Она поняла, что двадцать лет, которые ей „дали”, на деле вычли из ее жизни. А стало быть, ей сейчас — она нерешительно глядела на нас — „можно бы было быть молодой? (отнимите двадцать). Если считать, что жизнь моя после заключения — „подключилась” как бы ко дню прерванной арестом жизни”.

Интонацией она как бы извинялась за шаткость своей позиции.

Но глаза ее, говорившие за нее!

А волосы — веселые.

А руки — прекрасные.

А смех — недозволенный смех школьницы на уроке!

Она действительно полна была молодости, — родившись во второй раз; — дважды именинница. И мы все у нее в гостях.

Казалось — ей вернули украденную жизнь.

Склероз, которым охвачены миллионы, — тут не предвиделся.

Евгения Семеновна была радостно умна. Она была счастлива от того, что:

1) выстрадала понимание сути вещей;

2) крайними своими страданиями искупила свою „дурость”, как она называла собственное легкомыслие в начале жизни („Бог мне дал разум, а я пренебрегала им”);

3) несправедливое обвинение, предъявленное ей, — и с п о л н и л о с ь („Я сейчас ведь только стала тем, в

чем они меня тогда обвинили”. — Последние два слова она произносила особенно четко — учительница, объясняющая ошибки в диктанте. Или: „Теперь я обвиняю себя — ту, какой была тогда, — дуру набитую”. — Последние два слова произносит в сердцах. Или: „Перед людьми я, может, и невиновна была (пауза), но — перед Богом”. — Последние два слова — очень твердо).

Евгения Семеновна поняла уроки жизни и благодарно понимание приняла. „Человек не должен быть таким, какой я была до ареста”. — Как правило грамматики, объясненное у доски.

Не виновная ни в чем, осужденная ни за что, она сама себя теперь судила за ту именно невиновность, потому что это и было ее виной.

И еще: „Понимаете, я была невинна, как невинны звери, — да ведь человеку-то нельзя быть зверем”.

Вот именно.

И мы, слушая ее, переставали быть зверями (кроме ее кота Мишеля).

За круглым столом, в исправно оплаченной комнате Евгении Семеновны, — то ли от наших диалогов в духе Платона, то ли еще от чего, — мы вдруг, изумленные, увидали, как поруганные, изувеченные Заповеди, перевернутые на голову, снова становятся на ноги: сперва очень робко, а затем — утверждаясь ступнями на земле.

Не убий. Не кради. Не доноси. Не лги. Не завидуй.

IV

*Я взываю к Тебе,
и Ты не внимаешь мне,
— стою, а Ты только
смотришь на меня.*

*Не плакал ли я о том,
кто был в горе?
не скорбела ли душа моя
о бедных?*

Иов, 30:20, 25

Вопрос страданий — очень сложный вопрос.

Когда Евгения Семеновна заболела мучительно и необратимо, — она спрашивала (снова, как ученица): „За что мне это? Разве я не отстрадала за свои грехи?“

20 лет каторги;

Голодная смерть сына Алеши (Ленинградская блокада);

Потеря здоровья, семьи и т.д.

Когда Бог испытывал Иова, — Он отнял у Иова все то, что отнято было у Евгении Семеновны. Иов знал, что он невиновен, — и задавал тот же самый вопрос Богу: „Объяви мне, за что Ты со мною борешься?“ (10:2).

„За что?“ — спрашивал своих друзей Иов. („Задание на дом” на три тысячи лет).

Друзья Иова, желая его утешить, отвечали: „Раз ты наказан, — то значит грешен”. (Мы-то, мол, в порядке!)

„Но нет у меня грехов”, — говорил Иов в отчаянии „многогоречивым” друзьям своим.

„Не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи”.

„При всем том... нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста”.

„Далек я от того чтобы признать вас справедливыми; доколе не умру, не уступлю непорочности моей” (Иов, 27:4; 16:17; 27:5).

Друзьям Иова не приходило в голову, что страдал Иов не за себя вовсе. А быть может, за них.

„Не все доступно человеческому-то разуму, но ведь не Разуму вообще”, — сказала Евгения Семеновна, отрывая голову от подушек.

Она подсказывала ответ на собственный вопрос, — делая учительскую поблажку. И, замолчав, следила глазами за степенью понимания нашего.

Иов взял на себя страдания друзей, не понявших этого тогда.

С тех пор прошло 3 000 лет, достаточное время, чтобы пораскинуть мозгами.

Мы поняли: Евгения Семеновна страдала за нас.

Как страдала она за всех и тогда, — в телячьем вагоне, где назвала каждую безвинную по имени, и огласила страдания каждой, сгинувшей в безмолвие.

И те 20 лет она, сострадавшая всем, о ком писала, несла страдания — за нас. (Ведь мы-то в лагерях не были!)

Тем, с кем она прошла заключение, — она со-страдала.

За нас же — не бывших там — по-страдала.

Даже теперь, обреченная болезнью на голодную смерть, — она страдала — от голода Алеши.

„Как же ему-то было тяжело, — говорила она, видя перед собой приблизившегося Алешу. — Мне всегда хотелось разделить его муку — и вот до-ве-ло-сь — де-лю”, — улыбка, ясный взгляд, почти ясновиденье.

Состраданье, перешедшее в страдание за других, — вот в чем была сущность Евгении Семеновны.

Господи, как же она была создана дивно!

Май 1978 г.

Д. ШТОК

Земля моя родная...

И подумать, что все это совершается теперь над тысячами, десятками тысяч людей по всей России и совершалось и будет еще долго совершаться над этим кротким, мудрым, святым и так жестоко и коварно обманутым русским народом.

Лев Толстой. Песни на деревне.

Василия Белова принято именовать „деревенским писателем” (в последнее время изобретен и еще один термин — похлеще — „деревенщик”...). Оговорюсь сразу: я против таких определений-приставок, особенно в данном случае. Ибо подобного рода уточнительные прилагательные неизбежно снижают значение основного слова. Настоящий писатель — а Белов именно таков — всегда писатель просто, не „городской”, не „деревенский”, не „анималист” и т.п. И пишет Белов —

Василий Белов. Речные излуки. Повести и рассказы. М., „Молодая гвардия”, 1964.

Василий Белов. За тремя волоками. М., „Советский писатель”, 1968.

Василий Белов. Плотницкие рассказы. Северо-Западное книжное издательство, 1968.

Василий Белов. День за днем. М., „Советский писатель”, 1972.

Василий Белов. Целуются зори... М., „Молодая гвардия”, 1975.

Василий Белов. Кануны. М., „Современник”, 1976.

как и всякий подлинный писатель — не „о деревне”, а о сути человеческой жизни, о сути жизни вообще, той сути, глубину и полноту которой ощущает он в шорохах травы, шелесте листьев и журчании ручейка, во влажном дыхании весенней земли, стрекоте кузнечиков и пении жаворонка, в простоте и естественности трудного крестьянского быта.

Василий Белов не „описывает” природу — он живет ею и в ней. Невольно ловишь себя на странном ощущении: это не писатель использует природу как „предмет” для своего творчества, а наоборот — сама природа пользуется им как способом раскрытия себя во всем многообразии и полноте, в вечной — доступной восприятию не разума, а духа — гармонии жизни и смерти, пользуется им для самовыражения на языке, понятном людям. Потому и многие страницы беловской прозы (прозы „описательной” — что на языке большинства современных читателей означает попросту — „неинтересной”) столь одухотворены, столь гармоничны, столь полны биением живой, физически ощущаемой, жизни, что читаются и перечитываются как лучшие поэтические строфы и, глубоко западая в душу, остаются в ней навсегда, помнимые и повторяемые наизусть.

„Весной в родимом лесу нечаянно быстро приходит та радостно-страшная ночь, когда весь мир и вся вселенная встает на дыбы. Жизнь и земля со всею природой выходят из своих берегов и топят душу в безжалостном счастье. Это тогда постигают многие люди, что нет нигде ни конца, ни начала.

Прошла единственная минута, короткий момент исчезания последнего холода. Ушла, изморила вконец поверженная апрелем зима. Вот в тревожной темени родилось и двинулось всесветное, уже не слоистое, а тугое, плотное тепло, превращая себя в мощный и ровный ветер. Дрогнули готовые распуститься деревья. Где-то в невидимом, но почти осязаемом небе сшиблись широкими лбами темные облака. Неяркая внешняя молния сиганула в лесную теплую мглу, и первый трескучий гром чисто и смело прокатился над миром.

Будто раскатилась каменка нездешней, какой-то сказочно-богатырской бани.

Страшная тишина томится в лесу после этого грохота. Ветер не дует, а давит сплошь, все замирает.

Дождь прошипел в ночи обильно и коротко. Везде, в снующей, исчезающей темени сопит пахнувшая корнями земля: это зашевелились в несметном числе травяные ростки, поднимая и распахивая прошлогодние листья, хвоинки и сгнивающие сучки”.

(„Весенняя ночь” — „Плотницкие рассказы”, с. 149)

Поэтика Белова основывается на четком и глубоко изнутри, всем существом его осознаваемом понимании иерархии ценностей: первичного и вторичного в духовной жизни человека. С землей, природой, животным миром человека связывают нерушимые изначальные узы кровного родства, ибо у всех у них один Отец — Сотворивший их. Город же, с его асфальтом, машинами, небоскребами и т.п. — творение рук самого человека, и как бы ни было творение это велико и целесообразно, какие бы удобства оно ни сулило и какую бы гордость ни вызывало, связь человека с ним не вечна и — даже не ненарушима...

Нет-нет, Белов — вовсе не лесной анахорет и противник цивилизации. Но рациональным соображениям разума он все же предпочитает иррациональные движения души, а суррогату, даже прекрасно подделанному, — подлинное, естественное счастье:

„Оно складывалось для меня из лесной свободы, усталости от обычной ходьбы, из ржаного ломтя, из смоляного запаха и гулких ударов шишек об родимую землю. (...) Но сейчас я думаю о том, что человеку нужно, наверное, узнать все прелести цивилизации, прежде чем прийти к такому пониманию счастья. Нет, людям нужно и то и другое. И свист рябчика не понять, пока не набьют оскомину звонки телефонов и заполнившая эфир морзянка, не понять ядерной смоляной лапы в стеклянной банке, пока не напокупаешься бескровных столичных мимоз. Не узнаешь прелесть ходьбы по лесным тропам, пока досыта не налетаешься на звенящих ТУ с их дурацкими леденцами и пристяжными ремнями...”

(„Бобришный угор” — „За гремья волоками”, с. 344)

Недаром такое большое место в творчестве Белова занимает тема *возвращения*...

„Стереть грани между городом и деревней” было решено еще на заре советской власти. Век технического прогресса, правда, увлек власть предрежащих более интересными задачами: завоеванием (и слово-то какое приятное!) космоса, стиранием граней между Землей и Луной, и т.п., но все же и деревня забыта не была. Принцип, положенный в основу „стирания граней”, был довольно своеобразен, но, тем не менее, вел к цели. И заключался он отнюдь не в строительстве асфальтированных дорог и современных домов с ванными и телефонами (где там! — и водопровода-то простенького до сих пор нет!), он был гораздо проще и дешевле: деревню убивали. Убивали — по-вампи́рски медленно, но неуклонно обескровливая ее.

Началось с раскулачивания, унесшего миллионы жизней, лишившего деревню ее костяка, ее опоры — самых работающих, самых знающих и любящих землю людей. Опустошение было страшное. Недаром и через сорок лет после этого у героя беловского рассказа „Не гарывали” складывается впечатление о произошедшей катастрофе, о грандиозном пожаре: в убогой деревушке, куда привел его случай, сиротливо светятся огоньки редко разбросанных немногих домишек, а посреди не — огромное пустое пространство, словно огромное пожарище. И деревня называется — Огнище... Нет, говорит ему приютившая его хозяйка, „не гарывали”. Но и вправду была здесь когда-то большая деревня, крепкая, 200 домов, а в середине самые лучшие дома стояли, „большие, ядреные”. Сгноили хозяев их в неведомой стороне, а дома растащили по бревнышку.

Чем же руководствовались те, кто осуществлял это „полезное мероприятие”, что вдохновляло их „революционную совесть” и определяло „классовое самосознание”? Допытывается об этом старик Олеша у соседа своего — одного из тех самых „активистов” — и получает в ответ:

„ — У Федуленка одних самоваров было два или три.

— А тебе кто мешал самовары-то заводить? Федуленок вон и по большим праздникам вставал с первыми петухами. Ты сам себя бедняком объявил, а пока досыта не выпспишься, тебя из избы калачом не выманишь.

— А что, я не двужильный.

— Ну, а Федуленок, двужильный?

— Жадный.

— Работящий”.

(„Плотнические рассказы” — „Плотнические рассказы”, сс. 78-79)

Участь оставшимся в родных избах была уготована, впрочем, не намного лучшая, чем „ликвидированным как класс”: вскоре было проведено еще одно „мероприятие” — зверское, невиданное еще в истории истребление деревни голодом.

Помогла „стиранию граней” и война, победа в которой далась непомерно, неоправданно большой ценой — жизнью десятков миллионов. Продолжило дело „восстановление народного хозяйства”, бесчисленные „стройки коммунизма”, довершается оно и сейчас: молодежь, правдами и неправдами, уходит в город... Провожая из деревни любимых в армию, девушки прощаются с ними навсегда: „Уже давно-давно не возвращались ребята после службы домой” („Девичье лето” — „Речные излуки”, с. 84). Деревня дряхлеет, зарастают бурьяном никем не посещаемые могилы:

„Ушли, все ушли — под сень памятников на великих холмах. Ушли деды и прадеды, ушел отец. И ни один не вернулся к зеленому родному холму, который обогнула золотая озерная подкова, в котором лежат их жены и матери. И никто не носит сюда цветы, никто не навещает этих женщин, не утешает их одиночество, которое не кончилось даже в земле”.

(„Холмы” — „Плотнические рассказы”, сс. 153-154)

И все же, когда человек, давно покинувший родной дом, оборвавший, казалось бы, все связи с прошлым, окончивший университеты и институты, потерявший счет времени в городской толчее, — возвращается вдруг в заброшенную свою, ветхую, покосившуюся

ся избушку, он ощущает то „счастье гстречи”, какое не может дать ему ни один самый великолепный дворец на свете:

— Здравствуй, земля моя родная...

„Тогда я ликовал: наконец-то навек распрощался с этими дымными банями.

Почему же теперь мне так хорошо здесь, на родине, в безлюдной деревне? Почему я чуть ли не через день топлю свою баню?..”

(„Плотницкие рассказы” — „Плотницкие рассказы”, с. 7)

Это не „психологический выверт” и не риторический вопрос: Василий Белов хорошо знает — п о ч е м у:

„На наших глазах быстро, один за другим потухают очаги нашей деревенской родины — истоки всего... Время вымораживает нас из родных мест, а мы снова и снова возвращаемся к тем истокам, как бы ни грешили знакомством с другими краями... Ведь человек счастлив, пока у него есть родина”.

(„Бобишный угор” — „За тремя волоками”, с. 339)

Человек возвращается к *истокам* своим, и дедов, и прадедов своих, возвращается не навсегда, а приезжает лишь на короткое время, но это необходимо ему, чтобы самому познать сущность свою человеческую, ощутить корни свои, прикоснуться к матери-земле и — как былинные богатыри — набраться у нее сил на дальнейшую жизнь, чтобы „выстоять, не согнуться”, остаться человеком.

Надо сказать, что людей сугубо городских, т.е. родившихся и выросших в городе, Белов вообще почти нигде не описывает: среди его персонажей нет даже каких-либо дачников, приехавших провести отпуск „на природе”. И это вполне понятно: выросши в деревне и сам ощущая природу всеми фибрами своего существа, вряд ли смог бы писатель понять и передать психологию людей, чье отношение к природе и все знания о ней формировались под влиянием зубрежки скучных учебников да редких воскресных „вылазок” в зоо- и лесопарк...

Да-да, это та самая старая-старая русская песенка о пропасти между городом и деревней... Старая, но, увы, до сих пор верная и актуальная, ибо пропасть эта, безусловно, и была, и есть, и пропасть — психологическая. И речь здесь идет не о большей или меньшей степени образованности (еще тоже вопрос — *в чем и как* быть образованным?!), а о формировании жизненного мировоззрения людей.

Городской ребенок с колыбели окружен лишь предметами, созданными человеком. Происходящий на его глазах непрерывный рост технического прогресса формирует его сознание, внедряя в него гордость достижениями человеческого разума, мысль о всеисилии человека, стремление к дальнейшему прогрессу, „покорению” природы (нередко, увы, наносящему ей непоправимый ущерб), „овладению” стихиями и т.п. Однако этому ощущению могущества и всеисилия человека резко противоречат реалии жизни, показывающие именно бессилие его перед разного рода случайностями, несчастьем, болезнью и — в конце концов — смертью. Человеку, не ощущающему себя одной из бесчисленных частиц живой природы, трудно примириться с сознанием своей подверженности ее раз и навсегда установленным законам — он органически не может принять мысли об этом, бунтует и мучается вопросами, зачем и почему так несправедливо, так плохо устроена жизнь...

Психика ребенка, выросшего в деревне, в этом плане более здорова и гармонична: едва научившись ходить и говорить, он — „дитя природы” — естественно впитывает и усваивает это диалектическое „единство противоположностей” — жизни и смерти — как непреложный закон бытия. Выросшая весной зеленая травка жухнет к осени и умирает, зазеленевшие деревья становятся черными и голыми, а из петушка, бывшего совсем недавно пушистым желтым цыпленком, бабушка нынче варит суп... Но приходит снова весна — и опять зеле-

неет травка, опять распускаются листочки и курица квохчет над своими цыплятами... Смысл жизни — в ней самой: в том, чтобы родиться, жить, переносить страдания и радоваться, умереть и возродиться... в том, чтобы исполнять свое предназначение на земле — как исполняет его всякое создание Божие. Поэтому и к природе, и к животным отношение у крестьянина уважительное и любовное — как к сотрудникам, помощникам и друзьям своим, товарищам по трудной земной жизни.

„Саженья в ста от него зеленой горой высилась вековая сосна. Павел замер, словно боясь вспугнуть зеленое лесное видение, никогда не видел он такой великой сосны. Ветер обдул с дерева все до последней снежинки, каждая тяжелая лапа будто жила сама по себе, гордая своей отдельной красотой и независимая от других. Но как же едины, как дружны были эти широкие лапы на отдельных толстых оранжево-медных сучьях, спадающих от материнского, в три обхвата, ствола!

— Ух, матушка! — выдохнул Павел. — Вот где тебя нашел, привел Бог...”

(„Кануны”, с. 86)

Без сосны этой не осуществить бы никогда Павлу мечты его жизни — постройки мельницы, — не осуществить бы ее и без верного Карька:

„Карько был для него равным среди них (родных. — Д.Ш.). Это было тоже одухотворенное существо, понимающее его, Пашку. Преданное, родное и верное, доверившее ему себя существо. (...) ...без Карька, без его лошадиного опыта, ни за что бы не вывезти из лесу того столба. Да и не только столба. Три сотни деревьев, которые лежали сейчас на отцовском угоре, без него, без Карька, и теперь стояли бы свечками...”

(„Кануны”, с. 123)

„В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят”, — заповедал Господь человеку (Быт., 3:19). Глубинное, изнутри — не сознанием даже, а всей сущностью своей — понимание и приятие это установления Божия и отличает крестьянскую психологию. (Крестьяне — хрестьяне —

христиане... Забавно, что даже советской власти так и не удалось переименовать их в „колхозников” или каких-нибудь „работников села”!) И именно в этом ощущении незыблемости и высшего смысла законов жизни, данных Богом, видимо, и заключается причина той необъяснимой стойкости к перенесению невзгод, того необыкновенного долготерпения русских крестьян, которое издавна служит предметом то восторгов, то поношений. Впрочем, в последнее время слышится все больше поношений и обвинений в „привычке к рабству”, статистически подтверждаемой более чем двумя веками крепостного права. Ну что ж, любителям ярлыков, пожалуй, можно и уступить в вопросе терминологии: да, вероятно, крестьяне наши привыкли к рабству, но только были они всегда рабами Божьими, а не человеческими, — и рабами добровольными, познавшими и признавшими Бога не разумом, быть может, а всем сердцем и душою своею. „Бог терпел и нам велел” — это не просто красивая фраза, пустые слова, — это извечная реальная жизнь и психология русского крестьянина. И как бы тяжело ему ни приходилось, не оставляет его ощущение *святости жизни* — и своей, и чужой, — ибо не волен человек сам распоряжаться ни жизнью, ни смертью.

В рассказах Василия Белова нигде, в общем, не говорится о Боге, почти все его герои — неверующие, они о Боге вроде бы и не думают, но все же неизменно ощущаешь Его незримое присутствие в душах их, а потому — и во всей той жизни, что описывает Белов.

Испытания, выпавшие на долю Ивана Тимофеевича („Весна”), невольно заставляют вспомнить Книгу Иова. Как Иов, Иван Тимофеевич лишается всего: одного за другим убивают на фронте троих его сыновей (известие о смерти последнего, Леонида, приходит уже после конца войны!), умирает от горя старуха-жена, падает от бескормицы и непосильной работы любимая лошадь Свербежа, которую помнит он еще „молодым

игривым жеребенком с круглым задком, с тонкими ножками и с мягкими ласковыми губами”, и даже кошка уходит из мертвого, давно не топленого дома... Ивану Тимофеевичу пришлось в жизни, пожалуй, даже потяжелее, чем библейскому Иову: Иов все же когда-то был богат и счастлив, а Иван Тимофеевич отроду ничего не знал, кроме непосильного труда и постоянных невзгод; Иов надеялся на милость Божию, и в конце концов она была ему оказана — Иван Тимофеевич ни на что не надеется; у него отнято все, и ничего, кроме тяжкого труда и одинокой голодной старости, не сулит ему будущее. В отчаянии пытается он лишить себя жизни, но, вынутый из петли соседкой, стыдясь своего поступка, прежде всего просит ее:

— Не говори, Христа ради, никому...

„Не говори...”, ибо в душе своей ощущает он, что хотел совершить грех, ведь „надо было жить, сеять хлеб, дышать и ходить по этой трудной земле, потому что другому некому было делать все это” („Весна” — „За тремя волоками”, с. 239).

Зачем? — спросит скептик. — Кому он обязан? Для кого и почему ему „надо” сеять хлеб? В чем его грех, если хотел прекратить он муки свои? Ведь ни единой души на земле не осталось, кому был бы он нужен, кому принес бы горе своей смертью?

Да видишь ли, — ответит ему беловский же другой персонаж, Иван Африканович, — „Жись. Жись, она и есть жись... надо видно, жить, деваться некуда...” („Привычное дело” — „За тремя волоками”, с. 213).

И вовсе не от необразованности своей и „темноты”, а именно исходя из этого нутряного, твердого знания законов и морали жизни, не понять, конечно, „деревне” ни богоборческих метаний Ивана Карамазова, ни надрывов Настасьи Филипповны, ни философистики Раскольниковова, ни теоретизирований Шигалева... Ибо еще задолго до того, как люди города стали мучительно искать свою — рациональную — мораль и фи-

лософию жизни, люди деревни уже имели ее в душе своей.

„Россия, Русь...” — думает в „Канунах” Владимир Сергеевич Прозоров. — „И что за страна, откуда взялась? Отчего так безжалостна к себе и своим сыновьям, где пределы ее несметных страданий? А ведь что за народ! Как прост и бесхитростен, ожидая того же от всех и каждого”.

(„Кануны”, с. 161)

Вот в этих-то *простоте и бесхитроственности*, вылившихся в абсолютное непонимание того, что кто-то всерьез может решиться уничтожить самых работающих крестьян „как класс” (да не с ума же власти сошли — а кто страну кормить будет?!), в непонимание пределов, до которых может доходить человеческая злоба и подлость (ибо настоящему трудовому человеку, созидателю, чувства эти не присущи), — и кроется причина, по коей несколькими ослепленным ненавистью вырождакам удалось уничтожить миллионы людей и ввергнуть страны в пучину разрухи и горя. Такой вывод напрашивается сам собой при чтении самого значительного произведения В.Белова „Кануны”, скромно названного автором „Хроникой конца 20-х годов”.

Жизнь деревни в период конца нэпа. Мирная, естественная жизнь: люди умеют и любят трудиться, умеют и праздновать — весело, красочно, по обычаю... Игры, свадьбы, рождаются дети, задумывается и начинается осуществляться большое дело — строительство необходимой селу мельницы. Но что-то чужое, враждебное вклинилось уже в эту спокойную, ровную жизнь, точит ее, как ржа, изнутри, прорываясь иногда на поверхность и показывая свою голую дьявольскую злобу. То без всяких оснований лишают права голоса и записывают в кулаки крестьянина Данилу Пачина, то нарушают таинство венчания объявлением тут же, в церкви, собрания по поводу „братской помощи рабочему классу и крестьянству Китая”, то — даже в нарушение закона — пытаются отобрать у крестьян весь хлеб...

Пока что это лишь отдельные всплески проявления новых порядков, которым крестьяне пытаются как-то противостоять (добивается правды-справедливости у Калинина Данила Пачин, ссылка на опубликованный в „Комсомольской правде” указ помогает отстоять свой хлеб Павлу Рогову). Но — чем дальше, тем становится все хуже: арестовывают „дворянина” Прозорова и местного священника о. Николая, облагают крестьян непосильным налогом, озверевший от ненависти „активист” Игнаха Сопронов доходит до прямой жажды убийства...

Кто же и зачем занимается разрушением мирной, нормальной жизни людей, истреблением деревни?

Да, конечно, это прежде всего те, кто „наверху”, — люди, стоящие у власти и обуянные идеей „уничтожить все сословия и переделать всю Россию” — как определяет свою цель „либеральный” коммунист Лузин. О том, во что это выльется на практике, хорошо говорит в споре с ним Прозоров (да простит мне читатель длинную цитату!):

„Вы говорите, что уничтожите старую Россию и создадите Россию новую. Но Россия не Феникс. Если ее уничтожить, она не сможет возродиться из пепла, она погибнет. Вы уничтожите религию, разрушите церкви... Уничтожив торговлю, русские ярмарки, вы остановите экономику, никто не захочет заниматься производством продуктов. Лень, бесхозяйственность будут царить в стране. Вы отберете у крестьян землю, никто не будет стремиться к заселению невообразимых просторов России. Нет земли — нет крестьянства. Дети встанут против отцов, жены против мужей. Холод голой, ничего не признающей науки заморозит живые души. (...) Вы хотите вселенской борьбы. Но дурак пойдет с топором против умного. Разве мы застрахованы от дураков? Неверующий встанет против верующего. Для вас все старое — плохое, все новое — великолепно, духовные и материальные традиции — пустой, не заслуживающий внимания хлам, нет старого, нет традиции — одно голое, пустое место! Ничего! Нет духовной узды, простор, свобода страстям человеческим! Убить человека во имя идеи — раз плюнуть. Побеждает тот, кто сильнее и нахальней, опричина, разделяй и властвуй! Совесть, честь, сострадание — все летит к чертовой матери, ос-

тается одна борьба, борьба взаимоуничтожения, оставляющая за собой запустение и страх. Горе такому народу, гибель такой стране и нации!..”

(„Кануны”, с. 111-112)

Но при всем своем желании ничего не смогли бы сделать „верховные” власти без помощи местных „активистов”, тех, кто *практически* осуществлял на селе ее „решения”, „постановления” и „указы”. Что же это за активисты? Вот они — у Белова — шесть членов Ольховской ячейки: председатель Ольховского ВИКа Лузин, председатель сельсовета Микуленок, лесной объездчик Веричев, учительница Дугина, председатель местной коммуны (и единственный оставшийся „коммунар” — остальные трое давно разбежались кто куда) Митька Усов и уездный уполномоченный Игнаха Сопронов. Все они (за сомнительным исключением пьяницы Митьки) к крестьянскому труду никакого непосредственного отношения не имеют и, не участвуя ни в работе, ни в праздниках своих односельчан, представляют собой совершенно чуждый, инородный („деклассированный”) элемент в цельном, здоровом организме деревни. Впрочем, „идейностью” из всех них страдает один лишь Лузин (на то он и „бывший рабочий”, а ныне — представитель „городской” власти), остальные же, в общем, весьма индифферентны и инертны. Микуленок искренно считает, что „чуждых элементов на нашей территории сельсовета не имеется”, и выполняет распоряжения властей из-под палки, гораздо больше занимаясь делами амурными; Митьку Усова тоже много более интересует выпивка, чем „борьба за идею” (чувствуется в нем даже какое-то смутное ощущение своей вины перед односельчанами, и смутное это „что-то” пытается заглушить он пьянством); а Веричев и Дугина вообще появляются на сцене практически один раз — для кворума при голосовании... Все они люди, по сути, безобидные, и исполнение „решений сверху” пытаются даже — бессознательно — как-то притормозить,

затушевывать, обойти... И лишь один человек — Игнаха Сопронов — не знает ни сна, ни отдыха... — нет, не от рвения в услужении партии и правительству, а от сжигающей его ненависти к людям, от страстного желания искалечить им жизнь, уничтожить их. И именно потому, что новая власть дает ему полную возможность делать это, служит он ей с неистовством фанатика. Ибо Игнаха — воплощенная, олицетворенная ненависть:

„...жизнь казалась ему несправедливой насмешницей, и он вступил с нею в глухую, все нарастающую вражду. Он ничего не прощал людям, он видел в них только врагов, а это рождало страх, он уже ни на что не надеялся, верил только в свою силу и хитрость. А уверовав в это, он утвердился в том, что и все люди такие же, как он, весь мир живет только под знаком страха и силы. Сила свершает все, но еще большая сила подчиняет ее себе, и люди считаются только с силой. Они боятся ее. (...)

...Спокойствие в других людях он принимал за выжидательность, трудолюбие — за жадность к наживе. Доброту расценивал как притворство и хитрость...”

(„Кануны”, с. 295)

Мечется Игнаха по родному селу, мучительно выискивая, какую бы еще сделать гадость, как бы уничтожить мирную трудовую жизнь, радость людей; не спит ночи напролет, подсматривая, подслушивая, строга доносы (и на напарников своих партийных тоже! — по поводу и без), вербуя стукачей...

И, естественно, не любят его односельчане (да и коллеги по ячейке — недолюбливают). Не любят, но — *жалеют*. Жалуют той простой, бесхитростной жалостью, какой всегда жалел русский человек убогих, несчастных...

Вот Павел Рогов (это ему Сопронов попытался испоганить свадебное празднество, устроив митинг в церкви во время венчания) смотрит на „махającego газетой Игнаху”:

„Ворот ситцевой сопроновской рубахи выехал из-под пиджака, непричесанные волосы смешно и жалко торчали из-за ушей. Пашке вдруг *стало жалко* Сопронова, и вслед за родней

он вышел из церкви” (выделено мною. — Д.Ш.).

(„Кануны”, с. 79)

А заболевшего, в беспамятстве валяющегося в траве Игнаху подбирает и заботливо доставляет до дому именно тот самый Данила Пачин, которого он неутомимо преследовал (и будет преследовать с еще большей яростью).

И — хотя действительно „пришло его время” и вволю удастся Игнахе портить людям жизнь, но все же — неудачник он. Неудачник, потому что не может добиться главного, самого нужного для себя: не брезгливой опаски и не жалости к себе, а ответной, столь же жгучей злобы и ненависти.

„Ты, Игнатий Павлович, меня врагом не сделаешь”, — спокойно говорит ему Павел Рогов. — „Врагом я никому не был и не буду”.

„— Будешь, — Сопронов ухмыльнулся. — Еще как будешь!

— Это почему так?

— А потому, что ты и сейчас... Первый мой недруг! Это нам на роду было написано, врагами родились.

— Кто это такую дребедень нам на роду написал?”

(„Кануны”, сс. 209-210)

Явное моральное превосходство „врагов” бесит Игнаху, доводит его до иступления, почти сумасшествия. В заключительных, кульминационных строках книги, в сцене схватки не на жизнь, а на смерть, он ставит Павла перед одним-единственным выбором:

„Бей... Бей сразу... Не жалей, сука! Ежели не убьешь... я... я тебя убью все одно... Бей, говорю...”

„Зверь, нехристь...” — думает Павел. — „За что он ненавидит меня? Зверь, он хоть кого зверем сделает, зверь, зверь... (...) Убить велит... Убить? Человека убить... Да разве он человек? Убить... нет... *это Бога убить...*” (выделено мною. — Д.Ш.) — и говорит Сопронову: „Ну, Игнатей... Гляди... Пускай судит тебя Бог... Бог... А ты знай, никому не скажу...”

Да, пока — по чистой случайности — Павел остается

жив, но, закрывая книгу, мы, умудренные событиями истории нашей страны, прекрасно знаем, что Игнаха обязательно *убьет* и Павла, и еще миллионы таких, как Павел... Он будет расстреливать по 100, а то и по 1000 человек в день, пытать до смерти, морить голодом, ломать, калечить, разрушать, душить и вытравливать все человеческое в людях. Он предпримет все, чтобы добиться основного: сделать человека зверем, убить Бога. Но и уничтожив десятки миллионов, цели он не достигнет. Ибо не в плоти человека Бог, а в душе его, душу же теряет не убитый, но убийца.

Творчество таких писателей, как В.Белов, В.Распутин, В.Лихоносов, Евг. Носов, — новое явление в истории русской литературы, открывающее огромные перспективы для ее дальнейшего развития и уже давшее миру произведения, которые смело можно поставить в один ряд с лучшими образцами мировой литературы.

„Произведение не может иметь общечеловеческой ценности, — совершенно справедливо замечает В.Васильев, — если непонятно, из нужд какого народа оно выросло, какой народ определил в нем форму мысли и чувства, уклад миропонимания. Общечеловеческая сущность может проявиться только через национальное. И чем глубже уходят корни художественного образа как воплощения бытия в народную действительность, тем большим общечеловеческим потенциалом обладает такой образ”^{*}.

Русская классическая литература посвятила „деревне”, „мужику” немало страниц (о советской „колхозной прозе” говорить не будем — за полнейшим отсутствием в ней даже намеков на художественность). И все же — не будем кривить душой, — как бы ни были талантливы наши классики, но эта тема им не удалась: деревенская жизнь, „мужицкая” психология остава-

^{*} Владимир Васильев. Сопричастность жизни. Литературно-критические статьи. М., „Современник”, 1977, сс. 178-179.

лись „белым пятном”, раздражающей загадкой, решаемой диаметрально противоположно... от возмущения „темной деревенской”, „идиотизмом” крестьянской жизни до умиления „простым мужичком”, святым, патриархальным, и призыва к „опрощению”. И в большинстве случаев подспудно ощущалось отношение к „мужичку” как к „брату меньшому” (ну, немножко все-таки стоящему выше животных), которого требуется еще долго „мыть, чистить, трепать” и „образовывать”, чтобы приподнять до уровня „старшого”, „интеллигентного”. И это было неизбежно, ибо волею судеб существовавший житейский и психологический барьер между писателем и описываемой им средой — был непреодолим.

Недавно появившаяся в России плеяда писателей, вышедших из самой гущи народа, знаменует своим творчеством новый этап в развитии русской литературы именно потому, что для них этого барьера не существует: их устами „деревня” говорит с а м а о с е б е. И читателю, давно уже пресыщенному разного рода формальными „новинками”, сетующему на оскудение и упадок художественного уровня литературы, почти смирившегося с тем, что она уже „исчерпала себя” и ничего нового в наш атомный век больше не „придумает”, — в произведениях этих писателей вдруг открылся совершенно особый, неведомый еще литературе мир — кладезь глубочайших духовных ценностей, из которого еще черпать и черпать...

Б. ДЫНИН

Религия и идеология

В современной России происходит чудо. Коммунизм осуществляет экспансию в мире и в это же время внутри него возрождается религиозное сознание, единственное, которое не может быть ассимилировано марксизмом, истолковано как его составная часть. Марксизм способен обратить себе на пользу любое теоретическое и историческое толкование проблем человеческой жизни, но религиозное понимание этих проблем может только отбрасываться марксизмом и подавляться при коммунизме. Тем не менее новое поколение советских людей, выросшее, воспитавшееся и получившее образование уже при коммунизме, обращается к религии. Далеко не все это поколение становится религиозным, но при оценке значения религиозного возрождения в России процентные отношения говорят очень мало. В основании нашей оценки этого возрождения должны лежать не теоретические определения „истинной идеологии” и не исторические аналогии современной ситуации в России с судьбой других стран (и других Церквей), а опыт построения, укрепления и стабилизации новой коммунистической (атеистической) культуры. Религиозное возрождение в России есть выражение того, как переживается этот опыт людьми, для которых коммунизм стал уже не просто идеологией, а собственной жизнью. Ее оценка, воплощенная в религиозном возрождении русской интелли-

генции, сегодня еще не является всеобщей, но завтра может стать таковой. Именно это было бы концом коммунистической культуры, но, оценивая перспективы ее существования, мы должны осознать внутренние проблемы самого религиозного возрождения в России, мы должны осознать коммунизм как проблему существования нашей культуры в целом.

Типичным примером оценки духовного характера марксизма могут служить следующие слова:

„Безрелигиозных культур, в сущности, не существует... Не существует культур, для которых „нет ничего святого”. Атеистическая цивилизация имеет свои ценности и святыни...

Атеистическая религия коммунизма имеет своих пророков, отцов церкви, свои иконы, гробницы, мощи, священное писание, догмы, патристику, имеет свои ереси, свою ортодоксию, свой катехизис, свои преследования еретиков, свои покаяния и отречения, наконец, свою прекрасно организованную инквизицию. Эта религия имеет свой избранный народ (пролетариат) и свой мессианский идеал интернационального коммунизма”¹.

Подобное отношение к марксизму — уже традиция не только в русской (немарксистской) мысли, но и в западной. Р.Арон еще двадцать лет назад заметил: „Выражение „светская религия” стало банальным”². Называть марксизм „светской религией” (т.е. „круглым квадратом”) или не называть его так — это не вопрос одних только слов. Если он таков, если он „круглый квадрат”, то естественно ожидать, что:

„Советский режим (...) обязательно приблизится к демократическому социализму по мере того, как будет прогрессировать в нем идеологический скептицизм и стремление к мешанскому благополучию”³.

Если коммунистическая культура имеет не целостные духовные основания, а какого-то духовного кентавра — „светскую религию”, то его изменение должно произойти в качестве некоего естественного процесса. Тогда религиозное возрождение в России выглядит не более как романтическое движение нетерпеливых лю-

дей. А наше отношение к этому движению — это отношение к режиму в целом.

Истолкование марксизма (коммунизма) как модификации религиозной мысли (культуры) оказывается чем-то само собой разумеющимся для современной науки. Так, американский историк Крейн Бринтон пишет о своем подходе к определению места тех или иных идей в современной культуре:

„ ...Я применяю термины, заимствованные из религиозной истории Запада, к любому организованному и продуманному комплексу убеждений о вечных вопросах — о добре и зле, о счастье человека, об устройстве мира и т.д. — убеждений, которые дают верующему по меньшей мере две вещи: помогают ему умственно разобраться в том, что происходит в мире (то есть, отвечают на его вопросы), и позволяют ему приобщиться к какому-то коллективу путем обрядов и других форм совместных действий. В таком смысле марксизм, особенно так, как он выработался в России, — одна из самых активных форм религий в нынешнем мире, которую всем образованным людям следует понять”⁴.

Благодаря использованию терминов, заимствованных из религиозной истории, мы получаем видимость определения интересующего нас культурного явления и видимость его объяснения через исторические аналогии. Оказывается, что марксистский социализм, другими словами, коммунизм

„ ...весьма жесткая ветвь или ересь мировоззрения, созданного эпохой Просвещения... Марксизм — это жесткая, догматическая, по-пуритански детерминистская, крепко спаянная секта, отколовшаяся от полных оптимизма человеколюбцев-материалистов XVIII века”⁵.

Далее К.Бринтон „развивает нашу религиозную параллель”⁶ и получает ответы на вопросы исторического анализа.

Если мы стремимся к определениям и к уяснению места феноменов современной культуры в каких-то традициях, мы можем признать результаты, например, Б.П.Вышеславцева и К.Бринтона вполне корректными.

Мы не можем дать определения коммунизма иначе, как поместив его внутрь традиций нашей культуры и сравнив его с другими ее феноменами посредством всеохватывающих терминов. А так как наша культура укоренена в христианстве, то мы и получаем ответы на наши теоретические и исторические вопросы по типу указанных выше.

Но остается без определения и без исторических аналогий факт торжества коммунизма в мире, признавшем своими высшими ценностями свободу, равенство и личное достоинство людей. Если „марксистская попытка разрядить возникшее в XVIII веке противоречие между свободой и равенством оказалась в общем еще менее удачной, чем традиционная демократическая попытка”⁷, то отчего эта менее удачная попытка оказывается удачной в своем распространении, в своей борьбе с более удачной демократической?

Ссылки на волю к власти, манипуляцию сознанием масс и на прочие подобные предпосылки успехов коммунизма есть не более, чем констатация факта его успехов. Но люди в России живут внутри этого факта, и проблемой того же религиозного возрождения в России является не теоретическое или историческое истолкование своей жизни (оно всегда может быть найдено), а отрицание или принятие этой жизни. Возвращение к религии есть свидетельство отрицания, но в этом отрицании звучит вопрос: „Какова альтернатива?” И на этот вопрос нельзя ответить исторически или теоретически. Более того, квалификация марксизма как модификации религиозного сознания не позволяет увидеть всю глубину этого вопроса.

Б.П.Вышеславцев пишет:

„Религиозное чувство всегда имело свои корни в бессознательном, и вот эти корни, не культивируемые больше сознанием, начинают порождать страшные и уродливые атавизмы, или в лучшем случае производить на свет ростки древних изжитых религий”⁸.

Но отчего человек отказывается от открытых ему христианством истин? как он теряет сознание, воспитанное самим христианством? Ответ таков:

„В истории Православия, как и в истории христианства вообще немало падений и человеческих грехов”⁹.

Само христианство, не воплощая себя в полноте своей истины, стало основанием отпадения от него людей, своего кризиса и извращения. Но если мы не находим образ христианства в его истинной полноте, как тогда определить, что есть Истина? И о. А.Шмеман дает единственный возможный для историка христианства ответ: через „бескорыстное искание Истины”¹⁰.

Для многих участников религиозного возрождения в России, так же, как и для о. А.Шмемана, Истина есть Христос. Но они не могут заниматься „бескорыстным исканием Истины”. Если мы Ее еще только ищем, значит, мы не находимся в Ней еще вполне. Но только целостное религиозное сознание, только сознание, видящее в существующей здесь и сейчас земной Церкви незапятнанное человеческим грехом присутствие Христа на Земле, может противостоять марксистскому сознанию. Трудно так воспринять Русскую Православную Церковь в России. И в этом заключается основная проблема религиозного возрождения в России. Дело не в том, что христианин должен бояться всякой критики Церкви, а в том, что марксизм способен разрушить и использовать в своих целях всякое непоследовательное сознание. Только осознавая себя причастным к полной Истине, религиозное движение в России может противостоять коммунистической культуре.

Читая, например, сборник „Из-под глыб”¹¹, мы видим, что там не идет речь о том, как социализм и коммунизм оказываются, с одной стороны, злом, а с другой — добром. Марксизм как сознание и как реальность отбрасывается здесь во всей его полноте и во всей его полноте оценивается как зло. Такая позиция

не может выражаться как „поиск Истины”, но только как владение Истиной. И эта позиция оправдана жизненным опытом.

Русская религиозно-философская мысль пророчески предсказала характер русской революции. В сборнике „Вехи”¹² (1909) русской интеллигенции ставился упрек в безрелигиозном отпадении от государства, что создало почву для распространения в России марксизма и предпосылку катастрофы русской культуры в революции 1917 года. Ее результаты подтвердили худшие прогнозы „Вех”. В сборнике „Из глубины”¹³ (1918) русская религиозно-философская мысль оценивала уже итоги революции и будущее послереволюционной, коммунистической России. Вспоминая этот сборник, мы можем зафиксировать одно важное обстоятельство. Авторы сборника, оценивая марксизм как „атеистическую религию”, т.е. как „круглый квадрат”, как беспочвенную идеологию и с религиозной, и с философской, и с социологической, и с экономической, и с прочих теоретических и исторических точек зрения, не верили в способность марксизма быть духовной основой культуры и форм ее воплощения: государства, хозяйства, науки, искусства и прочего. Атеистическая культура была для них невозможна, но она возникла, укрепилась, теперь стабилизировалась, воспроизводится на собственной основе. Невозможный, с теоретической и с исторической точки зрения, коммунизм стал исторической реальностью и находит себе теоретическое оправдание. Думая о разрушительном характере последствий большевизма при его воплощении в жизнь русские философы предвидели религиозное возрождение русской интеллигенции. И это предсказание сбывается. Но оно сбывается не в условиях саморазрушения атеистической культуры, а в условиях ее стабилизации. Это и ставит современное религиозное возрождение в России перед особой проблемой, которую нельзя решить на тех основаниях, на каких столь верно

религиозные философы предсказали характер русской революции. Думая о саморазрушении атеистической культуры, они призывали русскую интеллигенцию объединяться на религиозной почве с тем новым русским государством, которое будет возникать из хаоса последствий революции. Но сейчас мы вновь наблюдаем отпадение русской интеллигенции от государства, теперь уже религиозное отпадение. А это не может быть основанием той целостной религиозно-гуманистической культуры, о которой мечтали авторы сборников „Вехи” и „Из глубины”.

Вместе с тем на религиозной почве коммунистический режим ни с кем объединяться не может. Если он заключил союз с Православной Церковью во время войны, то по соображениям чисто охранительным. Как только он почувствовал свою стабилизацию (в начале 60-х годов), он вновь обрушился на Церковь. Когда же обнаружилось, что эта стабилизация не означала для советских людей ощутимого прогресса в экономической, политической, идеологической областях их жизни, режим опять смягчил свое отношение к Церкви, но опять по соображениям охранительным. Церковь осуществляет в основном только евхаристическую функцию и не может осуществлять пастырскую и проповедническую (случай с о. Д.Дудко показателен). Но это примиряет прихожан с условиями их жизни, не способствует возникновению у них определенного отношения к режиму (хотя бы того, что А.Солженицын назвал „жить не по лжи”). От эмпирических условий (в том числе и внешних дипломатических, военных, идеологических успехов СССР) зависит, будет ли считаться коммунистический режим с Церковью в интересах своего самосохранения.

Но то, что Церковь сохраняет себя, имеет громадное значение. Хотя религиозное возрождение русской интеллигенции началось не в силу исполнения Православной Церковью пастырской и проповеднической

функций и хотя это возрождение в духовном плане (да и не только в духовном) во многом проходит „около церковных стен”, все-таки факт существования Церкви оказывается вторым, чуждым коммунистической культуре, измерением жизни, и без него сознание советских людей не шло бы дальше идеологического скепсиса по отношению к условиям их жизни. Но во многом околоцерковный характер религиозного возрождения русской интеллигенции, возникновение в ее сознании резкого противопоставления истинной Церкви — видимой, опять затрудняет превращение этого возрождения в альтернативу коммунистической культуре, так как религиозное сознание не становится целостным.

Но только целостное сознание, определенно отвергающее коммунистическую культуру, не анализирующее ее как „с одной стороны, оправданную, а с другой — нет”, может быть духовной альтернативой этой культуре. Это явно обнаруживается на примере Демократического движения в СССР, которое во многом хотя и было выражением отпадения интеллигенции от государства, но на безрелигиозной почве. Такое отпадение имеет своей основой абстрактно-идеологические мотивы, воплощающиеся в утопических политических стремлениях. Здесь обнаруживается утопизм двойного рода. Истинный путь России воспринимается по образцу западных демократий, в то время как все традиции, позволяющие этим демократиям еще существовать, в России были прерваны в зародыше революцией 1917 года. Или же будущее России рассматривается сквозь призму противопоставления „коммунизма с человеческим лицом” (истинного марксизма) воплощению коммунизма (марксизма) в русской действительности. Такое противопоставление всегда может опереться на теоретические и исторические соображения. Но подобное двоемыслие позволяет интерпретировать коммунистический режим как феномен единой культуры,

освещенной идеалами свободы, равенства и личного достоинства человека. И в качестве такого феномена коммунизм воспринимается как система, способная к изменениям в свете этих идеалов (сам по себе или через дивергенцию с Западом). Подобное отношение к коммунизму не есть его отвержение; а всякое принятие его „с какой-либо стороны” позволяет ему воспроизводиться. Судьба Демократического движения в СССР и детант с Западом — тому подтверждение. Отчего так?

Коммунистическая культура стала фактом действительности. Рассматривая его с исторической точки зрения, мы можем думать о нем как о случайном в развитии нашей культуры явлении, возникшем в результате восприятия русской интеллигенцией одной из разновидностей западной мысли (марксизма), как будто бы не имевшей почвы в русской действительности. Но Китай и Куба, укрепление коммунистических партий в современной Европе не позволяют нам думать, что коммунизм — это случайность в развитии нашей культуры. Рассматривая коммунизм с теоретической точки зрения, мы воспринимаем его как противоречие, поскольку, попросту говоря, он не способен исполнить никаких самим им принимающихся обязательств, например, повышения производительности труда по сравнению с капитализмом. Однако он не только не развалился, но укрепился и сегодня вступает в различные отношения (не только политические, но и экономические, и научные, и культурные) со странами как коммунистическими, так и некоммунистическими. Коммунизм существует, и опыт жизни в России говорит, что он способен воспроизводиться на собственной основе, что он неслучаен и целостен как новая форма культуры. Эта его неслучайность и целостность не может быть определена теоретически и не может быть прояснена историческими аналогиями, так как мы имеем дело с феноменом культуры, имеющим особые духовные основания.

Чтобы это понять, вернемся к XVIII веку. Это был век раскола христианской культуры на религиозную и секулярные сферы, это был век, когда была определенно высказана мысль, что свобода, равенство и личное достоинство — естественные права человека, которые должны реализоваться всеми средствами. Теперь мы склонны считать наивными те формулировки и обоснования этой мысли, которые звучат в произведениях мыслителей XVIII века. Но сама эта мысль до сих пор освещает наше отношение к себе и к окружающему нас миру.

Стремление к свободе, равенству и личному достоинству стали представляться Западу чем-то естественным для человека благодаря христианству, ибо смысл христианства есть спасение человека через Христа, а Христос есть свобода от греха, перед Ним все люди равны и в Нем обретают личное достоинство, не ущемляемое никакими обстоятельствами земной жизни. Но когда это стремление было противопоставлено христианству, оно превратилось в идеологию.

Свободу, равенство и личное достоинство нельзя определить как понятия. Их парадоксы находили свое разрешение в христианстве, в факте воплощения Бога в человеке, Его смерти и Воскресении и в ожидании Его Второго пришествия. Невозможно ни рационально определить, ни иррационально представить нераздельность и неслиянность Бога и Человека в Христе, но для апостолов и уверовавших в Христа, сам Он был разрешением всех наших загадок. Но как только свобода, равенство и личное достоинство стали понятиями, соотносящимися с человеческой жизнью самой по себе, они потребовали своего определения и указания средств их воплощения в жизнь. Заклучая в себе неразрешимые для нашего мышления парадоксы, они превратились в идеалы, которые должны были быть воплощены в жизнь, несмотря на все ее противоречия. Цели идеологии были укоренены в христианстве, а

средства противопоставлены ему. Но каким образом она могла преодолеть противоречие между тем, что должно быть (и что не могло быть ни определено непротиворечиво, ни прояснено исторически), и тем, что есть? Только одним способом — ссылкой на святость идеалов, хотя бы и осознавших в качестве естественных прав человека, признание онтологического характера наших идеалов. Идеология действительно была модификацией религиозного сознания, принявшего негативную форму по отношению к самой религии. Она не была атавизмом или ростком древних пережитых религий, так как была модификацией именно христианского сознания, но она была сознанием, чье радикальное противоречие заключалось в том, что она утверждала себя как решение проблем человеческой жизни, но жизнь не воплощала это решение. Идеология потерпела крах, но секуляризированная культура вновь и вновь воспроизводит в себе такое идеологическое сознание, поскольку она ушла от целостности христианской культуры и не пришла еще к целостности коммунистической культуры.

Марксизм разрешил противоречия идеологического сознания, последовательно противопоставив веру знанию. Сейчас нет времени подробно обсуждать характер этого знания. Оно кажется, например, не соответствующим научному. Но и позитивная наука существует лишь постольку, поскольку связана с идеалами (единством знания, его бесконечным прогрессом, принципом редукции свойств целого к свойствам элементов и т.д.). Мы не можем определить непротиворечиво саму науку, и через идеологию научного познания марксизм всегда способен оправдать себя как знание (ибо никакое знание не является непротиворечивым).

Марксизм преодолел непоследовательность предшествующей идеологии, признав действие в истории естественного закона, согласно которому капитализм превращается в коммунизм, а этот, в свою очередь,

разрешает все противоречия человеческой жизни. Никаких святынь для марксизма не остаётся. Не является, например, и пролетариат „избранным народом”. Подавление пролетариата (и тогда, когда он не сопротивляется) характерно для коммунистического режима, как и „экспроприация экспроприаторов”, подавление интеллигенции и т.д. И здесь нет никакой непоследовательности. Маркс писал:

„Революция необходима (...) потому, что свергающий класс только в революции может сбросить с себя всю старую мерзость и стать способным создать новую основу общества”¹⁴.

„Мерзость” пролетариата — это не какой-то грех, хотя бы и избранного, народа. Пролетариат „мерзок” не постольку, поскольку он может творить зло (революционное правосознание как основа насилия — это не зло в глазах марксистов). Пролетариат „мерзок” постольку, поскольку он не осознает себя как субъекта революционного насилия, поскольку он не совершает это насилие согласно естественному закону истории. Маркс подчеркивал:

„Дело не в том, в чем в данный момент видит свою цель тот или иной пролетарий или даже весь пролетариат. Дело в том, что пролетариат есть на самом деле и что он, соответственно этому своему бытию, исторически вынужден будет делать”¹⁵.

Эти слова звучат философски (по-гегелевски), но для марксизма нет никакого Духа в истории. Ее закон не содержит в себе диалектики. Он не может не исполниться. Коммунизм наступит, что бы ни думали люди, в том числе и пролетариат. Люди могут иметь ложное сознание. Диалектика присуща истории, поскольку люди имеют ложное сознание. Эта диалектика возникает в ходе действия естественного закона истории и разрешается его действием.

Действие этого закона не должно определяться в терминах этики. И критики марксизма ошибаются, когда упрекают коммунистов в непоследовательности,

в нарушении собственных лозунгов. Марксизм есть знание, лишенное всяких элементов веры и тем самым всякой ответственности перед кем-либо и чем-либо. Пролетариат превращается из „класса в себе” (не знающего, что он должен делать сообразно своему бытию) в „класс для себя” (свершающий исторические деяния сообразно своему бытию) благодаря партии коммунистов. Именно она и оказывается „новой основой общества”. Ее существование разрешает диалектику истории, и в ее способности сохранять себя и свою власть заключен критерий действия естественного закона истории. А если он действует, то для коммунистов не существует проблемы добра и зла, истины и лжи.

Симона Вейль сказала:

„Марксизм — это на самом деле религия, но в порочном смысле этого слова. Он сродни как раз самым низким формам религиозной жизни и он настойчиво пользуется ими в полном согласии со словами Маркса, как опиумом для народа”.

Подобные слова впечатляют, но они предполагают, что марксисты различают добро и зло, истину и ложь, красоту и уродство и при этом сознательно обманывают народ. Но для марксизма добро и зло, истина и ложь, красота и уродство не есть характеристики естественного закона истории, они не имеют для марксистов смысла вне коммунистического движения, вне существования их партии. Ее существование и есть не что иное, как воплощение добра и истины. Но партия не существует как нечто отдельное от коммунистов и она не является для них идолом. Она воспроизводится и через репрессии над самими коммунистами, и воспроизводится именно постольку, поскольку марксизм лишает людей даже непоследовательной идеологической веры в святость (в онтологический характер) добра и других наших идеалов; поскольку люди перестают различать добро и зло, истину и ложь, красоту и уродство, поскольку все утопает в диалектике нашего познания

естественного закона истории, поскольку нравственное, теоретическое, эстетическое сознание сводится к признанию решения проблем нашей жизни действием естественного закона истории.

„В их сознании нет никакого контрольного флажка между дозволенным и недозволенным, и уже вовсе никакого представления о добре и зле”¹⁶.

Так характеризует А.И.Солженицын сознание детей, воспитанных Архипелагом ГУЛаг. Но таково же и сознание взрослых людей, принимающих коммунистический режим, хотя бы с одной какой-либо стороны. Когда марксизм воплощается в коммунистическом режиме, такое сознание становится присущим и тем, кто никогда не держал в руках книг Маркса, Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и т.д. Всегда существовали люди, для которых, выражаясь словами Солженицына, „то все хорошо, чего они хотят, и то все плохо, что им мешает”¹⁷. Но марксизм явился именно тем сознанием, которое позволило этому тезису стать духовной основой новой (коммунистической) культуры. И критерий дозволенного и недозволенного, добра и зла, истины и лжи теперь один: существование „новой основы общества” — коммунистической партии. С падением различения добра и зла как онтологических характеристик нашей жизни падают и все остальные различия (пролетариат—партия—вождь и т.п.), ибо в партии результируется знание естественного закона истории.

Марксистское сознание есть сознание, из которого исчезли все критерии различения добра и зла, истины и лжи, красоты и уродства. Марксизм начал с критики идеологического сознания, еще апеллировавшего к добру, истине и красоте. Марксизм остается отвержением такого сознания, а вместе с тем и до конца последовательным отвержением религиозного сознания, выходом за пределы последнего. Именно поэтому, взятый в качестве теоретического учения, марксизм вы-

глядит как противоречивое сознание, а коммунизм, взятый в качестве исторического движения, выглядит как утопия. Но теоретическое и историческое сознание, полагающее, что оно способно быть целостным и последовательным, само противоречиво и утопично. Таковой же и оказывается всякая теоретическая и историческая критика марксизма (коммунизма), на которую последний отвечает утверждением себя и распространением в современном мире.

Марксизм (коммунизм) приобретает целостность и последовательность не как теоретическое учение само по себе и не как историческое движение само по себе, а при своем воплощении в коммунистическом режиме. Преодолев религиозное отношение к добру, истине и красоте как к святыням и преодолев идеологическое отношение к ним как к онтологическим характеристикам нашей жизни, марксизм находит критерии их различения от зла, лжи и уродства только в существовании коммунистической партии, осуществляющей диктатуру и воспроизводящей свою власть. В деятельности партии реализуется естественный закон истории, и при этом марксизм становится духовной основой атеистической культуры, целостной и последовательной. Брежнев, Мао, Тито, Ходжа и другие им подобные могли и могут спорить между собой, но во всяком коммунистическом режиме воспроизводится один тип сознания.

Что есть истинный марксизм (коммунизм)? На этот вопрос нет однозначного теоретического и исторического ответа, так как коммунистическая культура — это выход за пределы христианской культуры, в которой укоренено современное теоретическое и историческое сознание. Поэтому именно жизненный опыт людей в коммунистических режимах и есть единственный ответ на вопрос, что есть истинный марксизм (коммунизм). И поэтому же именно религиозное возрождение в России, говорящее марксизму и коммунизму „нет!“,

может и должно восприниматься в качестве однозначного и последовательного их определения как зла, лжи и уродства. Такое определение, помещенное в традиции теоретической и исторической мысли, кажется недостаточным, не имеющим ясных оснований и доказательной силы. Но сами философы любили повторять: „определение есть отрицание”; и если мы не относимся к себе как к логическим механизмам, отрицание коммунизма в силу нашего жизненного опыта воплощающееся в религиозном возрождении внутри атеистической культуры, есть ее отрицание, которое и оказывается единственно возможным определением истинного марксизма (коммунизма).

Не с марксизма началась релятивизация добра и зла, истины и лжи, красоты и уродства. И современное теоретическое и историческое сознание продолжает признавать их релятивность. Поэтому оно способно вновь и вновь находить ценности в марксизме, противопоставлять истинный марксизм его воплощениям в жизнь, проходить мимо голосов „из-под глыб”.

Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Мао Цзэ-дун, Тито, Гусак и т.д. — это люди с одним типом сознания, верные последователи Маркса и Энгельса, знающие истину коммунизма. Те, кто не видят этого (в том числе и часть советских диссидентов), вновь идеологизируют марксизм в преодоленном Марксом смысле. Они стремятся сконструировать „истинный марксизм”, пытаются найти в теории и истории коммунизма критерии для различения его „человеческого” и „звериного” лица. Но это разрушает способность марксистского сознания быть целостным, быть духовной основой новой культуры, и обрекает „истинных марксистов” на постоянное удивление тому, что их „хорошие идеи” не воплощаются в жизнь.

„Социализм с человеческим лицом” не может реализоваться коммунистической партией, потому что только ее собственное существование и воспроизводст-

во ее власти являются критерием для различения добра и зла, истины и лжи, красоты и уродства в атеистической культуре. Думая о „социализме с человеческим лицом”, многие вспоминают Пражскую весну 1968 г. Но те, кто думают о таком социализме, хотя бы с грустью, должны прочитать слова из воспоминаний Й.Смрковского:

„Они (Брежнев, Подгорный, Косыгин, Сулов. — Б.Д.) требовали от нас (Дубчека, Черника, Билака и Смрковского — в мае 1968 года. — Б.Д.) жестких административных, здесь я сказал бы — полицейских, мер против каждого у нас в стране, высказавшего свое мнение, не находившееся в полном согласии с документами или с политикой партии.

Мы же, со своей стороны, делали упор на то, что с помощью демократической дискуссии и демократических методов мы сумеем справиться со вспышкой политической активности у нас в стране. Мы прибегли бы против крайностей к административным мерам (полицейским! — Б.Д.) в случае, если вещи выходили бы за рамки законов и наши методы не оказались бы успешными (! — Б.Д.)”¹⁸.

Даже признав предшествующий опыт существования коммунистического режима неудачным, коммунисты со своим марксистским сознанием не знают иного критерия различения добра и зла, истины и лжи, красоты и уродства, кроме партии. Руководители Пражской весны оставались марксистами. И в этом также, а не только в советских танках, заключены причины печального конца этой весны. Если существование и власть коммунистической партии не могут быть поставлены под сомнение (а они не могут быть поставлены под сомнение, ибо иных критериев для различения средств и целей у марксистов нет), тогда Гусак, Билак и им подобные восстановили ту целостность режима, о разрушении которого не мог подумать и Й.Смрковский.

Важно понять, что релятивизация нашего сознания, потеря критериев для различения добра и зла, истины и лжи, красоты и уродства началась не с Маркса, а вместе

с секуляризацией нашей культуры. Маркс до конца пошел по идеологическому пути, и его труды способствовали „расширенному воспроизводству” людей с последовательно релятивизированным сознанием. Марксист не только тот, кто называет себя таковым, кто читал Маркса и согласился с ним, но и тот, кто, никогда не читав Маркса, не признает существование добра, истины и красоты как чего-то диалектически не смешиваемого со злом, ложью и уродством. А таких людей становилось все больше в ходе секуляризации нашей культуры.

Сознание, сформировавшееся на почве христианства, но признавшее необходимым ограничить (или вообще отвергнуть) значение религии в человеческой жизни, становилось все более и более теоретическим и историческим. Идеологи признали, что есть метод и истина, которые способны организовать нашу жизнь счастливым образом независимо от признания Пути, Истины и Жизни во Христе. Но если это так, то диктатура коммунистической партии получает теоретическое и историческое оправдание. Партия может ошибаться. Но если мы отвергаем парадоксальную для нашего ума религиозную Истину и принимаем идею Прогресса, то тем самым мы признаем действие в истории естественного закона разрешения проблем человеческой жизни. Это признание и нашло свое последовательное теоретическое и историческое выражение в трудах Маркса. Партия же, и через ошибки, может и должна в таком случае выходить в ходе действия этого закона и в ходе его осмысления на верную дорогу. Обладая неограниченной властью, она обезопасит общество от уклонения с правильного пути.

Если наши вопросы ставятся со стремлением их решить теоретически и исторически, со склонностью отвергнуть все, что не имеет теоретического и исторического оправдания, все, что парадоксально, то марксизм и оказывается ответом на наши воплосы. Если пара-

доксы нашего сознания не разрешаются исповеданием факта жизни, смерти и Воскресения Христа, то они разрешимы только признанием действия естественного закона истории. Третьей возможности преодолеть парадоксы нашего стремления к свободе, равенству и личному достоинству нет.

Вне коммунистической партии марксистское (до конца релятивизированное) сознание, не имея критериев для определения собственной истинности, разрушается. Но посредством коммунистической партии оно оказывается целостным, способным тотально определять жизнь, сознание и переживания людей. Поэтому большевики и смогли победить в 1917 году, несмотря на свою малочисленность в первые месяцы революции.

Хотя марксизм как учение возник на Западе, он отнюдь не был беспочвенен в России. С исторической и теоретической точки зрения — да, он был беспочвенен. Но именно в России релятивизация сознания не только интеллигенции, но и народа зашла гораздо дальше, чем на Западе. Предпосылки этого заключены были и в русском Православии, потерявшем после церковного раскола в XVII веке свой целостный характер, но не пошедшем на компромиссы с секуляризированным сознанием русского общества. Интеллигенция становилась радикально атеистической, а народное сознание начало механически соединять религиозные и секулярные ценности. Релятивизация сознания русского общества не была продуктом распространения марксизма, но явилась почвой для его победы.

Поэтому квалификации коммунистов как политических демагогов, захватчиков власти, угнетателей народа (если и имеют смысл в политическом языке) не раскрывают всю глубину проблемы. Если Запад остается верным идее Прогресса, идеалам свободы, равенства и человеческого достоинства (связывая их осуществление с развитием секулярных форм нашей жизни, например, политических демократий), то судьба России

остается не только политическим, но и духовным уроком для Запада.

Идея Прогресса стала доминировать в современном мире. Что такое Прогресс? На этот вопрос идеология так же не может ответить однозначно, как и на вопросы: что такое свобода? равенство? человеческое достоинство? И критерием Прогресса оказывается не то или иное его определение, а именно релятивизация сознания, связанная с последовательным отвержением религии.

Например, сексуальная революция есть свидетельство продолжения прогресса секуляризированной культуры. Действительно, в ходе этой революции женщины становятся столь же свободными в сфере секса, как и мужчины, становятся равными им и перестают чувствовать ущемление своего достоинства. Но при этом релятивизируются все ценности частной жизни, интимного общения между людьми, а поскольку частная жизнь связана с общественной, то релятивизируются и ценности общественной жизни.

Свобода в сексуальной сфере мешает контролю коммунистической партии над людьми. Поэтому партия так или иначе противится сексуальной революции, открытому признанию этой революции. Христианство также осуждает сексуальную свободу, поскольку она означает отказ от свободного принятия ответственности перед Богом и людьми. Несмотря на кажущееся подобие между отношением партии и Церкви к сексуальным проблемам, это подобие заключает в себе коренное различие. Если партийный функционер ведет себя сексуально свободно, но исполняет свои функции, его сексуальная свобода — это просто нечто естественное, не требующее своего оправдания „святыми” целями или какими-либо индульгенциями. Ограничение сексуальной свободы со стороны коммунистической партии не имеет никаких иных оснований, кроме признания необходимости воспроизводства ее существова-

ния. Ограничение же Церковью сексуальной свободы имеет высшие, чем воспроизводство существования самой Церкви, основания. Это хороший пример того, как несмотря на всю возможность видеть в коммунизме модификацию религиозной культуры, он является ее отрицанием.

Сексуальная революция формирует марксистское сознание у людей, и не считающих себя марксистами. Сама по себе она не формирует это сознание в целостном виде, но вопрос заключается в том, окажутся ли люди, признавшие в сексуальной революции прогресс нашей культуры, способными посчитать коммунизм за зло, несмотря на все возможные оправдания, которые находит для него идеологическое сознание (в экономических, политических и прочих кризисах западной жизни). Релятивизированное сознание найдет критерии для различения добра и зла, истины и лжи, красоты и уродства в коммунистической партии. Тогда оно станет тотально-марксистским и, начав с идеологического оправдания свободы, кончит признанием необходимости ее ограничения по-коммунистически.

Когда сознание релятивизировано и в то же время отвергает коммунизм, то основанием для его последовательного отвержения может быть только жизненный опыт при самом коммунизме. Здесь развивается как бы естественная способность, интуиция различения добра и зла, истины и лжи, красоты и уродства (эмиграция из Советского Союза многих людей, остающихся атеистами, свидетельствует о возникновении такой интуиции). Но без своего религиозного обоснования эта интуиция исчезает, как только люди освобождаются от непосредственного восприятия коммунистической культуры. Они начинают сравнивать ее с западной и рассуждают по схеме „с одной стороны, Запад хорош, с другой — коммунистическая Россия”.

И радикальное значение приобретает тот факт, что развивающаяся у советских людей способность интуи-

тивно различать добро и зло, истину и ложь, красоту и уродство переходит в принятие религиозных ценностей, которые позволяют однозначно отвергать коммунизм без того, чтобы славить все аспекты западной жизни. Не все диссиденты становятся религиозными людьми, но характерно, как , в результате отказа от рассуждений по схеме „с одной стороны, — так, а с другой — иначе”, академик А.Сахаров заключил свою Нобелевскую лекцию следующими словами:

„Ничто не должно умалить нашего священного стремления именно в этом мире, где мы, как вспышка во мраке, возникли на одно мгновение из черного небытия бессознательного существования материи, осуществить требования Разума и создать жизнь, достойную нас самих и смутно угадываемой нами Цели”¹⁹.

В этой же лекции А.Д.Сахаров подчеркнул, что „прогресс возможен и безопасен лишь под контролем Разума”. Он считает, что „быть достойными нас самих” — это требование Разума. Но если это — наш разум, то требование „разумного прогресса” есть выражение нашего страха перед результатами прогресса (описанными в той же лекции акад. А.Сахарова). И мы, страшаясь разума, воплощенного в сегодняшнем прогрессе, можем признать требования Разума, о котором говорит А.Д.Сахаров, только преодолевая свое релятивистское отношение к добру и злу, истине и лжи, красоте и уродству, то есть на пути религиозного возрождения. А.Д.Сахаров признает абсолютные ценности (не релятивизируемые никакой диалектикой типа ленинской) и потому находит общий язык, например, с о. Д.Дудко (хотя по определению они совершенно разные люди). Эта способность признавать абсолютные ценности и при этом оставаться открытым для других людей — есть результат жизненного опыта при коммунизме. И в этом заключена надежда. Но способность последовательно различать добро и зло, истину и ложь, красоту и уродство, не скатываясь обратно к идеологическому

сознанию, может быть дана только религиозным сознанием, связанным с Церковью. Сколь бы ни казалась ее история противоречивой, в чуде своего сохранения при коммунистическом режиме и возрождения в нем, она приобретает абсолютное значение.

Целостный характер коммунистической культуры образуется при соединении релятивизированного сознания с коммунистической партией, и потому образ этой культуры двоятся в глазах тех, кто жаждет найти истину по определению. Но коммунистическая культура уже сама сформировала свое определение — Архипелаг ГУЛаг. Теперь, когда его масштабы сократились, можно вновь и вновь обсуждать, насколько он необходимо присущ коммунистической культуре, не был ли он обусловлен историческими обстоятельствами ее развития на русской почве, психологией Сталина и т.д. Но если на Архипелаге жизнь людей физически и отличалась от жизни на „воле”, то духовная основа этой „воли” и Архипелага были и остаются едиными. И для людей, подобных Солженицыну, Архипелаг ГУЛаг есть образ коммунизма и суть его духовной основы — марксизма. Не утопая в теоретических рассуждениях и исторических аналогиях, люди вновь начинают различать добро и зло. И это различие уже не может быть обосновано философски. Оно возникает как результат жизненного опыта советских людей. Когда же они хотят найти основание для оправдания своего различия добра и зла, они могут найти его только в христианстве (поскольку добро для них остается сопряженным со свободой, равенством и личным достоинством каждого человека). Всякое иное оправдание остается идеологическим и пасует перед марксизмом.

В марксистской литературе, в партийных документах, в выступлениях советских пропагандистов мы можем встретить слова добро и зло, истина и ложь, красота и уродство. И здесь опять же нет никакой непоследовательности. Так, согласно марксизму, мы можем оце-

нивать в терминах добро и зло результаты действия естественного закона истории, но само это действие не зависит от нашей апелляции к добру и злу (так же, как движение планет, которое есть „добро” для нас, ибо при космическом хаосе мы не могли бы существовать, не зависит от нашей оценки этого движения). Это было радикальным изменением сознания. Добро и зло стали фантомами не потому, что мы не можем дать им (соответственно: свободе, равенству и личному достоинству человека) непротиворечивые определения, а потому, что они не представляют собой вообще чего-то присущего самой нашей жизни, но есть лишь ее идеологическое отражение в сознании людей. Но поскольку марксизм позволяет оценивать результаты действия естественного закона истории в терминах добро и зло, он приобретает громадную психологическую привлекательность в глазах людей, теряющих способность видеть в добре и зле нечто, не подлежащее релятивизации никакой диалектикой. А в условиях расколота секулярной культуры таких людей становится все больше. Сегодня многие из них (на Западе) не приемлют марксизм (коммунизм), но именно последний восстанавливает целостность сознания, потерявшего религиозную целостность и не усматривающего здесь для себя проблемы. Коммунизм отнюдь не есть противоречие. Он есть противоречие только по отношению к религии и, более точно, по отношению к христианству, поскольку именно в нем укоренена идеология свободы, равенства и личного достоинства. Но коммунизм и сам признает свое отвержение религии. Получая целостное воплощение, коммунизм способен формировать не только сознание, но и переживания людей. Люди лишаются духовных альтернатив. В этом отношении показательны примеры того, как коммунисты и из коммунистических лагерей были способны выходить коммунистами, как массы народа добровольно участвовали в похоронах Сталина, как советские люди восприняли в качест-

ве чего-то естественного вторжение войск в Чехословакию в августе 1968 года. Можно было бы подумать, что подобное поведение советских людей обусловлено только нажимом на них со стороны режима. Но когда, после всех разоблачений преступлений этого режима, после всех его открытых деяний, коммунистические партии Запада укрепляются и многие западные интеллектуалы сохраняют приверженность марксизму, мы можем понять, что здесь дело не только в полицейском нажиме. Релятивизированное сознание не знает никакой иной альтернативы религии, кроме марксизма (коммунизма). Для такого сознания „он не является одной из гипотез, которая завтра может быть заменена другой... Отказаться от него значит поставить крест над смыслом истории”²⁰.

Здесь коренится основа противоположных оценок роли идеологии в СССР, дающихся, например, Солженицыным и Сахаровым. Оба они считают, что марксистская идеология перестала быть действительной идеологией советских людей и превратилась во фразеологию, цинично воспроизводящуюся партийными функционерами и пропагандистами и повторяемую советскими людьми по соображениям типа „жить-то надо”. Но если для Солженицына именно в идеологии заключено основное зло коммунистического режима, так как посредством нее он растлевает сознание людей, заставляет их жить по лжи, то для Сахарова — основное зло не в ней, а в форме политической власти, в партийной бюрократии.

Коммунизм означает исчезновение из сознания людей критериев добра и зла, истины и лжи. Поэтому они вполне могут скептически относиться к коммунизму и при этом думать по-марксистски. Если призыв Солженицына „жить не по лжи” не находит широкого отклика среди советских людей, то не только потому, что „жить-то надо”, но и потому, что нет никакого теоретического определения и исторического примера той ис-

тины, которая могла бы быть противопоставлена лжи коммунизма и позволила бы людям говорить себе: до этих пор я действую по истине, а с этих пор — по лжи. Это и оказывается духовной основой воспроизводства коммунизма и как политического феномена. Решение дискуссии между Солженицыным и Сахаровым заключено в признании советскими людьми коммунистической культуры злом, независимо от его определений и примеров зла в некоммунистических культурах. Это онтологическое усмотрение зла в коммунизме (независимо от возможности философского обоснования этого усмотрения, а в силу жизненного опыта) есть преодоление и его идеологии, и его политической практики. Партия не отделена от народа ни наследственными, ни юридическими, ни экономическими, ни никакими иными перегородками. Среди 14 млн. членов партии огромное большинство не имеет ощутимых преимуществ от своего членства в ней. По мере продвижения по партийной иерархии преимущества увеличиваются и достигают громадных размеров. Но верхние слои партийного аппарата должны пополняться из нижних. Опыт жизни народа может расшатывать цельность сознания партийных функционеров, хотя само продвижение вверх релятивизирует представления о добре и зле, свободе, равенстве и т.п. И осознание коммунизма во всей его полноте как зла невозможно без усмотрения в нем полного отрицания религиозной культуры, без осознания того факта, что коммунизм усиливает до предела противоречия человеческой жизни, выраженные в христианстве и преданные забвению марксизмом.

В целостном христианском сознании добро и зло имеют не только моральное, но и онтологическое значение (без него они теряют и моральное). Их диалектика разрешалась в Христе. Для идеологии добро и зло стали понятиями; свобода, равенство и личное достоинство человека — идеалами. И в качестве таковых они

релятивизировались и опустошались. Зло было в мире и до возникновения секулярной формы культуры, и оно не исчезло в результате восприятия свободы, равенства и личного достоинства человека в качестве идеалов нашей земной жизни. Но раньше христианин, даже ошибаясь в определении того, где зло, а где добро, не мог сказать вместе с Бердяевым:

„Опыт зла может даже привести к величайшему добру”. Или: „Революция есть грех. (...) Но революция есть рок истории (...) в революции и добро осуществляется силами зла, так как добрые силы были бессильны реализовать свое добро в истории”²¹.

Религиозный философ хочет оправдать Бога, это его основная задача (иначе он не был бы философом). Но Бог, который нуждается в оправдании, есть идеал и в качестве такового разделяет судьбу идеалов свободы, равенства и личного достоинства человека. Марксизм есть ответ не только на секулярную идеологию, не способную воплотить себя в жизни, но и на религиозную философию, не могущую оправдать Бога. Бог вызывается на человеческий суд, когда люди перестают переживать присутствие Бога в себе и в мире; но если они перестают переживать Его присутствие, Он не может быть уже оправдан в их глазах.

Для марксизма коммунизм не есть идеал, „с которым должна сообразовываться действительность, но действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние”²². Марксизм не нуждается в оправдании себя, замещая Христа естественным законом истории и позволяя человеку восстановить целостность своего сознания через переживание своего сопричастия действию этого закона. Здесь, а не в каких-либо особых социологических, экономических, политических аспектах марксистской доктрины, заключена сила коммунизма. И сколь бы он ни казался уязвимым для интеллектуальной критики, сколь бы ни казалось невозможным его существование, он существует и спосо-

бен воспроизводиться на собственной основе. Коммунизм — это духовная проблема расколотов христианской культуры и ее разрешение. При этом он не только на словах, а на деле есть выход за пределы религиозной культуры и в качестве такового действительно оказывается интернациональным, способным замещать и нехристианские культуры. Бердяев писал:

„Марксисты очень сердятся, когда марксистскую доктрину рассматривают, как теологию, но им никогда не удалось опровергнуть это определение”²³.

Марксисты справедливо отвергали это определение. Оно неверно, и здесь дело вообще не в определении. Кроме того, что было сказано выше о неадекватности восприятия коммунизма в терминах религиозной истории христианства, эта неадекватность подтверждается успехами коммунизма в странах нехристианской культуры. В противном случае мы должны будем признать, что ложная религия делает то, что не сумела сделать истинная — „коммунистическая теология” побеждает и православие России, и католицизм Кубы, и буддизм азиатских стран и т.д. Если быть теоретиком и историком, надо будет признать, что коммунизм оказывается истинной религией. К таким заключениям и ведут неадекватные характеристики марксизма.

Западное сознание остается расколотым на религиозную и секулярную сферы, и секулярное отношение к человеку и миру здесь все более укрепляется. Поэтому Запад и оказывается под угрозой победы и в нем коммунизма. Сколь бы ни любил Запад свободу, сама идеологическая любовь к свободе обезоруживает его перед коммунизмом. Здесь заключена причина того, что Солженицын называет духовной слабостью Запада, причина отступления Запада перед коммунизмом в условиях и экономически, и социологически, и политически благоприятных именно для Запада.

Но проблема заключается в том, что само хрис-

тианство, сама Церковь признают существующий раскол культуры на религиозную и секулярную сферы. Свобода Церкви от государства, снятие Церковью с себя ответственности за развитие науки, искусства, экономики и т.д. — все это представляется самой Церкви как преодоление соблазнов и разочарований ее истории. Она сама превращает себя только в моральную силу и, призывая политиков, ученых, художников, бизнесменов ориентироваться на религиозную истину, не находит сил реализовать эту истину во всех сферах культурной жизни. Тем самым Церковь превращается, выражаясь модным социологическим языком, в институализированную идеологию. В качестве таковой она подчиняет христианство прагматическим целям, например, защите Запада от коммунизма. Это хорошо, но это означает потерю тотального характера религиозного сознания и его слабость перед коммунистическим (не случайно левые католики находят общий язык с марксистами).

Религиозное возрождение в России тоже стоит перед проблемой стать только формой выражения демократического движения, преследующего политические, экономические, юридические цели смягчения коммунистического режима, то есть модификацией идеологического сознания, принимающего негативную форму по отношению к господствующей идеологии. Если это произойдет, это будет означать крах религиозного возрождения в России. Коммунизм может отступить только перед тотальным религиозным сознанием, а в России — перед православным сознанием, восстанавливающим свою целостность. Православие, в отличие от католицизма, было консервативной формой христианства. Его консервативность означала сохранность переживания русскими людьми своего сопричастия к Воскресению Христа и Его Второму пришествию. Сохранность этого переживания была препятствием для исторического развития православия, например, для развития

церковной мысли и освобождения Церкви от опеки государством. Но этот целостный характер православия, кажущийся недостатком с исторической точки зрения, теперь оказывается достоинством, ибо коммунистическому сознанию может противостоять только целостно-религиозное сознание, преодолевающее соблазн исторического прогресса и теоретической экспликации. Россия, ставшая первым воплощением коммунизма, может стать и первым его преодолением, развить иные формы разрешения противоречий идеологизированной культуры, нежели коммунистические.

Этим обусловлено напряжение и значение религиозного возрождения в России. Его участники начинают вновь воспринимать онтологически зло и добро в русской действительности. На основании исторических аналогий или по определению нельзя ни выразить, ни сформировать целостное религиозное сознание. Теперь его основанием может быть только жизненный опыт, опыт жизни при коммунизме. А этот опыт трудно передать другим народам, ценящим свободу, равенство и личное достоинство, но еще не познавшим на своем жизненном опыте коммунистическое решение проблем нашей культуры. Трудности раскрытия коммунистического опыта как духовной проблемы всей нашей культуры ведут к неадекватному восприятию Западом стремлений участников религиозного возрождения в России. Их мысли воспринимаются в идеологическом плане. Отсюда, например, — определения Солженицына как славянофила, националиста, сторонника автократии и т.д.

Проблема усугубляется тем, что Русская Православная Церковь озабочена вопросом самосохранения, который искажает вопрос формирования целостного религиозного сознания у ее паствы. Более того, не видно (опять же по теоретическому и историческому рассуждению), как религиозное сознание вновь может стать целостным и при этом не отбрасывать достиже-

ния секулярной (идеологизированной) культуры. Это представляется парадоксом. Но религиозное возрождение в коммунистическом режиме само уже есть парадокс для теоретического и исторического сознания. И этот парадокс может разрешиться только в ходе религиозного возрождения, только в ходе потери коммунистическим сознанием своей целостности, через укрепление восприятия советскими людьми коммунизма как зла (что бы там ни говорили теоретические и исторические соображения об относительности зла и добра). И этот парадокс должен стать проблемой и для русской интеллигенции, и для русской Церкви. Она также должна возрождаться, стремиться быть основой не просто сохранения религиозного сознания наряду с секулярным, но основой возрождения целостного религиозного сознания, охватывающего человеческую жизнь в ее полноте.

Это целостное религиозное сознание может возродиться в России только в том случае, если Церковь будет восприниматься как присутствие Христа на Руси, ничем не запятнанное. Неслиянность и нераздельность божественной и человеческой природ во Христе остается парадоксом для нашего ума и воображения. Таким же парадоксом оказывается и принятие Русской Православной Церкви как данного сейчас и здесь воплощения Истины. С исторической точки зрения, православие может представляться падшим, с теоретической точки зрения — ограниченным выражением наших проблем. Но, сохранив себя в коммунистическом режиме, оставаясь чуждым коммунистической культуре измерением нашей жизни, Церковь (даже сотрудничая в лице отдельных своих служителей с КГБ) парадоксально для нашего ума и воображения оказывается единственной основой для преодоления релятивности нашего сознания, единственной основой для различения добра и зла, истины и лжи, красоты и уродства в нашей жизни, единственной основой для определения

того отношения к коммунизму, которое формируется нашим жизненным опытом.

Религиозное возрождение в России еще не является статистически массовым, но духовные явления статистически не измеришь. Среди советских людей, не обращающихся еще к религии, укрепляется уважение к ней, ощущение, что в ней заключены проблемы нашей жизни, которые коммунизм не разрешил и разрешить не может. Это означает исчезновение способности марксизма воспроизводить себя как тотальное антирелигиозное сознание, как духовную основу коммунизма. Но этот процесс не является естественно-историческим, и его не ускоришь созданием какой-либо религиозной партии. Отсюда — страстный призыв Солженицына к Западу не торопиться сдавать свои позиции перед коммунизмом.

Коммунистическое сознание преодолет всякую идеологическую альтернативу себе, но религиозная — остается действительной альтернативой.

Ее перспективы не поддаются предсказаниям, но реализуются в самом религиозном возрождении, без которого коммунистическое сознание не может потерять своей целостности. Распад этого сознания будет означать превращение коммунистической партии в воплощение одной лишь воли к власти. Но в таком качестве она не сможет эффективно сохранять свое существование. Религиозное возрождение и есть парадоксальная надежда на преодоление коммунистической культуры, на ее распад не в течение столетий и тысячелетий, как это бывало с иными культурами, а в сроки нашей жизни, на развитие такой культуры, в которой разрешатся проблемы свободы, равенства и личного достоинства человека без релятивизации Добра и Зла, без превращения их в фантом исторического и теоретического сознания.

Я рассматривал вопрос „религия и идеология”, но говорил фактически только о христианстве и марксиз-

ме. Религиозное сознание воплощается сегодня не только в христианстве, но и, например, в иудаизме, исламе и т.д. Так же и идеологическое сознание продолжает существовать в формах национализма, политического демократизма и т.д., т.е. в формах, не совпадающих с марксизмом. Но поскольку лозунги свободы, равенства и человеческого достоинства освещают стремления большинства народов современного мира и поскольку эти лозунги стали казаться нам естественными благодаря развитию христианской культуры, и поскольку марксизм (коммунизм) оказывается результатом идеологического восприятия этих лозунгов, — постольку именно отношение между христианством и марксизмом образует сердцевину проблем современного мира, в том числе и политических.

Рэймон Арон закончил свою книгу „Опиум для интеллигенции” словами: „Будем ожидать появления скептиков — они должны потушить фанатизм”²⁴. Быть может, для западной культуры, которая находится еще где-то между Священной империей и Коммунистическим Интернационалом, скепсис — это надежда, с идеологической точки зрения, и противоядие против коммунистического фанатизма (тотальности). Но, не останавливаясь на абстрактных соображениях и присматриваясь к событиям нашей жизни, мы видим, как скепсис оказывается беспомощным перед фанатизмом. Поэтому будем ожидать, и прежде всего в России, появления все новых и новых фанатиков — людей, тотально отвергающих коммунизм и на опыте своей жизни при коммунизме способных не выражать свой фанатизм в насилии, подавлении, унижении человека.

Как это возможно?

Так же, как оказалось возможным религиозное возрождение в России.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Проф. Б.П. Вышеславцев (Б.Петров). Философская нищета марксизма. 3-е изд. Франкфурт-на-Майне, „Посев“, 1971, сс. 96–97.

² Рэймон А р о н. Опиум для интеллигенции. Перевод с франц. Мюнхен, Издание Центрального Объединения Политических Эмигрантов из СССР (Ц О П Э), 1960, с. 194.

³ Там же, с. 18.

⁴ Крейн Б р и н т о н. Истоки современного мира (История западной мысли). Перевод с англ. Рим, 1971, с. 339–340.

⁵ Там же, с. 339.

⁶ Там же, с. 349.

⁷ Там же, с. 354.

⁸ Б.П. Вышеславцев. Философская нищета марксизма, с. 96.

⁹ А. Ш м е м а н. Исторический путь Православия. Нью-Йорк, 1954, с. 387.

¹⁰ Там же, с. 382.

¹¹ „И з - п о д г л ы б“. Сборник статей. М.С.Агурский, Е.В.Барабанов, В.М.Борисов, А.Б., Ф.Корсаков, А.И.Солженицын, И.Р.Шафаревич. Москва, 1974. YMCA-PRESS, Париж, 1974.

¹² „В е х и“. Сборник статей о русской интеллигенции. Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, М.О.Гершензон, А.С.Изгоев, Б.А.Кистяковский, П.Б.Струве, С.Л.Франк. 2-е изд. Москва, 1909. Переизд. в 1967 году издательством „Посев“, Франкфурт-на-Майне.

¹³ „И з г л у б и н ы“. Сборник статей о русской революции. С.А.Аскольдов, Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Вячеслав Иванов, А.С.Изгоев, С.А.Котляревский, В.Муравьев, П.Новгородцев, И.Покровский, Петр Струве, С.Л.Франк. 2-е изд. Вступительные статьи Н.Полторацкого и Н.Струве. Париж, YMCA-PRESS, 1967.

¹⁴ К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 3, с. 70.

¹⁵ Там же, т. 2, с. 40.

¹⁶ А. С о л ж е н и ц ы н. Архипелаг ГУЛаг. 1918 – 1956. Опыт художественного исследования. III – IV. Париж, YMCA-PRESS, 1974, с. 444.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Йозеф С м р к о в с к и й. Неоконченный разговор. „Континент“, № 5, 1975, сс. 336–337.

19 Андрей Сахаров. Мир, прогресс, права человека. В сб. „О стране и мире”, Нью-Йорк, изд-во „Хроника”, 1976, с. 16.

20 М. Merleau-Ponty. Humanisme et Terreur. Paris, 1947, p. 165.

21 Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, YMCA-PRESS, 1955, с. 108.

22 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, с. 34.

23 Н. Бердяев. Царство Духа и царство Кесаря. Париж YMCA-PRESS, 1951, с. 124.

24 Рэймон Арон. Опиум для интеллигенции, с. 234.

Борис Дынин — философ. Родился в 1937 г. Кандидат философских наук. Автор нескольких книг и многих статей. С 1975 г. проживает в Канаде. — Р е д.

О российской государственности

От редакции:

Доктор К.П.Крамарж, чех по национальности, подданный австрийской империи, поскольку Чехия входила в ее состав, был видным ученым, политическим деятелем Австрии и большим другом России, которую хорошо знал. Всю свою жизнь он, по его словам, посвятил борьбе за устройство федеративной Австрии.

Вопрос о том, каким должно быть устройство России, чтобы она смогла быть не только сильным и здоровым государством, но и, в частности, могла бы здраво и справедливо разрешить одну из наиболее трудных для нее проблем – проблему национальностей, – волновал многих политических и государственных деятелей как в России, так и за ее пределами.

Д-р Крамарж по собственной инициативе набросал проект „Конституции Российского Государства”, в котором особое внимание уделил вопросу национальностей. Это и понятно – не только ввиду важности и сложности вопроса, но еще и потому, что самому автору были очень близки проблемы централизма, автономии и федерации.

Проект Крамаржа в течение 1918-1919 годов обсуждался виднейшими русскими политическими и государственными деятелями, из которых назовем таких, как П.Б.Струве, В.А.Маклаков, Б.В.Савинков, П.И.Новгородцев, А.В.Кривошеин, и многие другие. В 1920 году составитель и издатель „Архива Русской Революции” И.В.Гессен включил этот проект в первый номер своего издания.

К.П.Крамарж писал: „Я лично смотрю на свою работу только как на один из проектов, предлагаемых на обсуждение тем, кто будет призван вырабатывать новую Конституцию России, и как на пример возможного удовлетворения справедливых требований всех народов без федерации или конфедерации в единой великой России” (из вступительной части к его проекту).

Мы печатаем эту работу неполностью, выпустив текст самой Конституции и комментарии к отдельным ее статьям. Таким образом, мы взяли из нее ту часть, в которой рассматриваются общие, принципиальные вопросы государственного устройства. Эта часть наглядно показывает серьезный, глубокий, компетентный авторский подход и понимание России. Се-

годня, возможно, что-то может показаться (и на самом деле оказаться) устаревшим, что-то — уже невыполнимым: слишком изменились и страна, и мир. Но тем не менее, многие вопросы, затронутые К.П.Крамаржем, насущны и поныне, и в работе его важны не детали, а серьезный и реалистический подход к делу.

Основы Конституции Российского Государства

Примечания к главным статьям Конституции*

Мне кажется, что спор о том, должна ли Россия стать федеративной или остаться единой и дать автономию своим областям, на которые она была бы разделена, мог возникнуть только вследствие несколько небрежного употребления слов федерация и автономия. Это не ново. В стране вечных споров об этих вопросах, в бывшей Австрии, смешивание этих двух слов было почти правилом.

Тем понятнее это в странах, где вопросами этими никогда не имели надобности заниматься. Иначе не могли бы так легко принять русскую революционную фразу о „федеративной русской республике”. Ведь федерация предполагает добровольный договор независимых, самостоятельных государств о соединении в одно федеративное государство для точно определенных государственных целей. Примеры известны: Северо-Американские Штаты, Швейцария, Германия.

Подобных свободных государств в России не было, и поэтому для будущей России нет субъектов, т.е. свободных государств, для такого федеративного договора. Тот факт, что в каждой национальности нашлось несколько человек, более или менее видных деятелей, которые в Париже провозгласили себя представителями того или другого нового государства, этот

* Речь идет о проекте Конституции, написанном данным автором. — Р е д.

факт не может все же быть достаточным, чтобы эти государства в смысле международного права действительно существовали. Для этого было бы нужно не только признание их державами, но и добровольное или вынужденное согласие государства, частью которого они были, т.е. России. Во всяком случае нельзя говорить о новых государствах без формального международного акта. Нельзя творить государства подобно тому, как открывают лавочки или фабрики, и недостаточно о том заявлять в газетах или посылки письма к председателю конференции об „открытии” государства и его конторы в Париже. И нельзя предположить, чтоб союзные державы за миллионы жизней, принеся которые, Россия сделала возможной их победу, хотели вознаградить великую страдальицу-союзницу разрыванием ее на куски.

Если теперь, вследствие нежданно долгого существования советской власти, державы должны были считаться с разными государственными образованиями, возникшими на окраинах России, и если державы и признали их, то признали их только как правительства де-факто, а не де-юре, не желая сделать чего-либо предосудительного по отношению к будущей России. Разумеется, что также разные миры, заключенные советским правительством с этими „государствами”, не имеют для Учредительного Собрания никакого значения и ни к чему последнее не обязывают. Оно одно будет иметь право решать вопрос о границах государства. Я сомневаюсь, что Россия начнет свою новую жизнь согласием на расчленение своей земли, которую ее народ в столетних боях собрал своею кровью, не из жадности к чужому добру, а просто потому, что хотел свободно дышать, а это ни для какого великого народа невозможно без свободного доступа к морю. Русский народ не может допустить, чтоб маленькие народности по побережью Балтийского моря милостиво разрешали ему выход в широкий Божий мир и чтобы выход этот

по желанию могли закрыть. Также на Каспийском море Россия не может допустить существования таких государств, которые могли бы официально и еще чаще неофициально препятствовать свободному плаванию русских кораблей по этому внутреннему русскому морю, наполненному водой русской Волги. Хотеть этого — значит хотеть будущих войн, потому что великий народ просто не может не стремиться всеми силами к тому, чтобы исправить ошибки свои или своих представителей, тем более, если этими ошибками были затронуты его жизненные интересы. Это вопрос чести и достоинства будущей России. Итак, для нее никаких государств, возникших на ее территории, не существует и наверное существовать не будет. Следовательно, нет юридических оснований говорить о какой-то федеративной России. *Россия* должна была бы сначала создать своим согласием эти государства, если б хотела устроить империю, как федерацию.

Думаю, что никакие заманчивые перспективы могущества и процветания будущего федеративного государства не могут соблазнить русский народ, потому что опыт деятельности и отношение всех этих „самостийных” формаций к России не очень привлекательны, так это было как при германо-австрийском хозяйничанье в этих „республиках”, так и после победы союзников. И где гарантия, что все эти маленькие государства, по признанию их Россией, захотят вступить в федеративный союз с ней? Нельзя закрывать глаза на то, что их существование сделалось довольно важным фактором в политике разных держав. Таким образом, вопрос о заключении федеративного договора с Россией и вопрос о том, что в этой федерации будет общим, перестал бы быть вопросом, касающимся исключительно России и этих народностей, как тому надлежало бы быть. Все это для России недопустимо. Россия своей кровью добыла себе свободный выход к морю и через Кавказ и не может торговаться, под какими

условиями было бы ей возможно вновь получить туда свободный доступ.

Россия страшно, ужасно пострадала за свой прекрасный подвиг защиты свободы малого славянского народа, но она не забыла и не забудет, что без нее не было бы победы, что она Танненбергом сделала возможной Марну, и потому никогда не допустит, чтобы в отплату за все это она должна была бы потерять самые важные части своей территории, или была бы вынуждена выкупать целость России разными концессиями.

Но, с другой стороны, Россия все же за свои страдания получила возможность новой жизни не только для русских, но и для всех нерусских народностей старой России. Самодержавие не могло существовать без бюрократического централизма. Новая Россия будет свободной и поэтому может быть и централизована, и без всякой боязни может дать разным нерусским народностям полную свободу национальной жизни и национального развития. Она не захочет держать народы полицейской и военной силой, но свободной внутренней привязанностью к новой, свободной России, и не только за то, что им будет возможно жить по-своему, без всякого гнета, но еще и потому, что не будут порваны их столетние экономические связи с Россией, которыми все эти народы до сих пор жили и без которых им было бы очень трудно дальше существовать.

В этом отношении не они нужны России, а Россия им. Как независимые государства они были бы только предметом интриг разных держав, как то было раньше с Польшей; а в децентрализованной, свободной России они будут жить исключительно для внутреннего развития своего народа, без страха за свою внешнюю свободу.

В будущей России им нечего бояться. Внутренний русский империализм, равно как и внешний, умер навсегда, и будущая Россия станет действительно страной демократической свободы для всех своих граждан без различия народности.

Но эту свободу Россия должна дать себе сама свободным своим почином, без всякого давления извне, как свободное проявление верховной воли всех граждан новой России в свободно избранном учредительном или народном собрании.

Для этой свободы нет лучшего пути, чем автономия отдельных областей, т.е. право их давать себе свободно законы по всем нуждам местного характера и иметь для проведения этих законов свое независимое правительство, ответственное перед областным законодательным учреждением. Но эти области не государства. Их права ограничены, и в то же время гарантированы основным законом, принятым общеимперскими палатами и утвержденным главой государства. И тем же основным законом должны быть обеспечены также права общеимперского законодательства и общеимперского управления.

При этом возникают разные вопросы:

1. Следует ли разделить всю Россию на области или только выделить отдельные области для разных национальностей?

2. Какое основное правило должно быть принято для разделения компетенции между центром и областями теперь и в будущем?

3. Как обеспечить необходимое влияние центра на управление областей?

4. Нужно ли особое учреждение для решения споров о компетенции между центром и областями?

К пункту 1. Мне кажется, что для будущего развития России было бы большой опасностью, если бы внутреннему ее устройству предназначено было выполнять лишь одну задачу: обеспечить свободное развитие разных национальностей и таким способом уничтожить их сепаратизм. Из такой тенденции вышло бы недопустимое, для будущности особенно опасное устройство государства. Все нерусское в России было бы, как бы нарочно, подчеркнуто. При беглом взгляде на карту

России становилась бы ясной вся опасность, угрожающая ей от окраин. Избежать ее надо во что бы то ни стало. Также нельзя допустить двойного гражданства в будущей России. Россия имела бы граждан с автономными правами, зависящих от центра только в сфере общих государственных интересов и поэтому более свободных, чем граждане остальной, централизованной России. Положение последних при новых порядках отличалось бы от старого лишь новыми политическими и конституционными правами. Но эти граждане не имели бы права в своих географически и климатически однородных местностях работать свободно и независимо от опеки дальнего центра на пользу развития всех природных и других богатств близкого их душе родного края. Национально отделенные области работали бы непременно гораздо интенсивнее, чем остальная огромная Россия. Сравнение обеих неизбежно усиливало бы сомнение окраинных областей относительно их высокой культурности, — уже и теперь они ее приводят в оправдание своего стремления к сепаратизму, — и развитие русской государственной жизни неминуемо шло бы путем постоянно усиливающегося обособления окраин от остальной России. Нельзя себе представить что-либо более опасное для будущего единства России.

Но и сама русская Россия совсем незаслуженно пострадала бы от такого решения. Централистическая Россия не в состоянии вывести народ и страну из ужасного положения, в каком они находятся после войны и большевиков. Если Россия перед войной представляла совершенно недопустимую теперь картину некультурной массы с тонким слоем культурных элементов и если, несмотря на это, возможно было управление столь огромной страной, то только потому, что вся государственная работа ограничивалась организацией внешней военной и внутренней полицейской силы государства, оставляя почти совсем в стороне народ, его культурное и экономическое развитие. Вся страшная

опасность этой неразумной политики обнаружилась во время войны и в революцию. Новая Россия может возродиться только при таком устройстве внутреннего управления, какое будет содействовать самой интенсивной народной работе на местах, на всем необъятном пространстве русской территории. Эту огромную задачу централизм никогда не разрешит.

Таким, образом, и русская Россия слишком обширна для интенсивной административной работы, которая могла бы удовлетворять всем нуждам и потребностям населения; а с другой стороны, война и систематическое избиение интеллигенции так уменьшили число людей, пригодных для государственной работы, что при централистической системе было бы невозможно найти их в достаточном количестве. Надо на местах искать людей, любящих свой родной край и готовых посвятить себя работе на поднятие благосостояния тех мест, которые им дороги и близки. Трудно найти людей для управления громадным государством, но возможно их найти для работы на местах. Из этих людей потом вырабатываются деятели, которые будут полезны на более широком поприще.

Надо всю Россию децентрализовать, разделить на области и дать этим областям возможность не только свободно работать, но еще возможность самого идеального соревнования, чтобы каждая область стремилась раньше и лучше других привести себя к полному расцвету. Для этого области должны быть в своем законодательстве, в управлении и, главное, в финансах совершенно свободны и независимы.

Я умышленно не определяю размеров областей. Это сделают специалисты по политической и экономической географии России. Я хочу только сказать, что представляю себе области довольно большими, им придется заключать в себе несколько губерний с их земствами. Мне казалось, например, возможным разделить Великороссию на четыре области, Малороссию — на три и т.д.

Думаю еще, что не необходимо формировать область из одной лишь народности; на Кавказе, например, это повело бы к абсурду. Свободное развитие каждой народности, если их несколько в одной области, можно закрепить национальной автономией и обеспечением соответствующего численности каждой народности участия в управлении области, как центральном, так и местном.

Возможно также, что нельзя будет дать некоторым частям государства, как, например, в Азии, такую же полноту автономных прав, как всем другим областям. Но такое исключение не может служить аргументом против необходимости одинакового решения вопроса о внутреннем управлении во всей России.

К пункту 2. Разделение компетенции между центром и областями предлагаю решить на основании принципов, которые мы всегда защищали в нашей долголетней борьбе против централизма в Австрии. Современное государство требует единого управления на всем своем протяжении не только в вопросах внешнего могущества и силы — т.е. иностранной политики и управления военным делом, — но требует еще единства законодательства и управления во всех вопросах экономической и социальной политики, поскольку это единство необходимо для того, чтоб государство было способно к экономической борьбе на всемирном рынке.

Для этого тоже неизбежно нужно, чтобы правовые условия промышленного предпринимательства и условия работы, созданные социальными законами, были одинаковы по всей России; а также и основные условия аграрной политики, например, вопрос о частной собственности на крестьянскую землю; определение максимума помещичьего владения и вопрос о том, должна ли его величина быть одинаковою или различною в разных частях России; также и главные принципы школьной политики, столь важные для душевной и

физической работоспособности всего населения. В этом отношении установление одинаковой платы всему учительскому персоналу явится важной гарантией того, что не будет привилегированных, богатых областей в вопросе народного воспитания.

Но не одно только законодательство требует единства в этих экономических и социальных вопросах, и управление должно также быть во многих отраслях в руках центрального ведомства. При этом можно идти навстречу местным интересам, разрешив выбирать чиновников до известного уровня из местных компетентных лиц, что не представит особых затруднений, так как и центральное управление должно быть разделено на округа, которым можно дать право самостоятельно принимать на службу низших чиновников. Но что касается должностей, имеющих распорядительную власть, то выбор центрального ведомства не смеет быть ничем ограничен, если весь аппарат должен действовать безошибочно. Это особенно важно для всех отраслей транспорта, не имеющего исключительно местного характера, равно как и для управления таможен, портов, почты и телеграфа, монополий, общегосударственных финансов и т.д.

Я затрудняюсь предложить определенное решение финансовых вопросов, потому что не имею никаких данных относительно будущих нужд центрального управления России. Приходится ограничиться одними принципами. Косвенные налоги или имеют большое значение для промышленности и потому требуют равномерного управления во всем государстве, или потребление предметов, ими обложенных, не всегда бывает локальным, так что было бы несправедливо оставить их взимание на местах производства; с другой стороны, очень трудно распределить их взимание по количеству фактического потребления в разных областях. То же самое можно сказать о государственных монополиях, потребление предметов которых никогда не

бывает локальным. Что касается прямых налогов, то все налоги на промышленность, торговлю, на акционерные общества должны быть установлены равномерно во всем государстве и их взимание должно находиться в ведении общеимперских казначейств, равно как и подоходный налог. Нельзя допустить, чтобы одна какая-нибудь область притягивала промышленность на счет другой области понижением налогов или податными облегчениями. Но доход с этих налогов, поскольку он не нужен для центральных финансов, должен быть возвращен областному казначейству в том же размере, в каком он из каждой области поступил. Разумеется, нельзя думать о каких-то матриккулярных взносах отдельных областей — по примеру Германии. Области не государства, а на интересы целого государства следует смотреть как на интересы основные (*primaires*), поэтому нужды государства должны быть покрыты собственными доходами.

Компетенция и центра, и областей высчитана *taxative*, и сделано это умышленно. В бывшей Австрии мы спорили о том, что именно представляет основу государства: Королевства и Земли, или же центр — Вена? Мы, чехи, защищавшие историческое право Земель Чешской Короны на самоопределение (следовательно, и федеративный характер Австрии), всегда утверждали, что основным законодательным собранием являются сеймы и что центральный *Reichsrat* имеет только компетенцию *taxative*, высчитанную в основных законах, и законодательство о всем том, что общественная жизнь приносит нового, должно было бы по этим основным законам принадлежать сеймам. Таково было право, но Вена была сильнее, чем право и логика, почему развитие и шло путем обратным. Это вело к непрерывной борьбе и было одной из главных причин развала Австрии.

Поэтому, мне кажется, что нельзя предоставить будущее развитие компетенции центра и областей одному

случаю или вопросу, кто будет сильнее в толковании основных законов. Мне представляется самым благо-разумным оставить решение о всех изменениях компетенции центральной Думы и государственного Совета, где представители областных сеймов будут иметь решающее большинство. Для изменения основных законов нужно большинство $2/3$ голосов обеих палат. Ст. 20 относится только к обыкновенным законам, для которых Конституция не требует $2/3$ голосов *обеих* палат. Следовательно, нельзя без согласия государственного Совета, представляющего областные сеймы, переменить основные законы в ущерб областной автономии. Можно еще, впрочем, прибавить, что если бы в государственном Совете были также члены, выбранные корпорациями или назначенные главой государства, то об изменении компетенции центра или областей могли бы голосовать в государственном Совете только те его члены, которые выбраны сеймами, но не члены, выбранные разными корпорациями, или назначенные главой государства, и что для принятия изменения надо согласие $2/3$ всего состава этих выбранных членов Совета. Это было бы достаточной порукой для народностей, а также для того, чтобы перемены компетенции центра и областей не были делом случайных увлечений или политических страстей.

К пункту 3. Многие политики, охотно дающие областям самые широкие права, озабочены тем, что центральное правительство не будет иметь достаточного влияния на политику областей, если не будет специального органа центральной власти на месте, который имел бы не только право смотреть за всем, что там делается, но которому кроме того хотели бы дать право назначать местных министров. Боясь, что в центре не окажется достаточного знания местных людей, предлагают назначать в области, как представителей главы государства, нечто вроде генерал-губернаторов.

Признаюсь, что с этим мнением мне невозможно

согласиться; я даже считаю учреждение генерал-губернаторства довольно опасным. Именно народности приняли бы его теперь непременно с недоверием, как отзвук старых времен, и таким образом было бы потеряно много хороших плодов новой эры. А главное, я не могу себе ясно представить конституционный характер такого генерал-губернатора. Он не может быть главой областного правительства, так как при этом он должен быть ответствен перед областным сеймом и поэтому потерял бы возвышенный характер представителя центральной власти.

Вследствие этого пришлось бы такого генерал-губернатора сделать чем-то вроде наместника. Но если бы ему дано было бы право назначать областных министров, то нельзя было бы подчинить его государственно-му канцлеру, а только — главе государства. Центральное правительство потеряло бы при этом всякую возможность влиять на дела областей, и трудно было бы сохранить равномерное развитие последних, что так необходимо для блага целого. Таким образом, области развивались бы более самостоятельно, чем это желательно, и это со временем могло бы представлять большую опасность для единства России. Трудно было бы избежать этой опасности, так как сами генерал-губернаторы поддерживали бы такие центробежные стремления для возвышения своей власти и своего авторитета; особенно, если генерал-губернатор был бы назначен из народности, в области преобладающей, — чего следовало бы ожидать, дабы не дать повода к жалобам на старые русские централистические замашки.

Итак, мне кажется, что предложенный мною способ управления областями больше гарантирует единство России, хотя он, по-видимому, и придает правительствам областей самостоятельный характер. По моему мнению, нельзя допустить, чтобы кто-либо другой, чем глава государства, назначал областные правительства. Именно в силу того, что Россия дает своим частям та-

кую широкую автономию, следует сохранить единый источник всей государственной власти для центра и для областей. Нельзя забывать, что областные правительства суть действительно правительства, исполняющие важные государственные функции. Это не просто расширенные земства. Областные сеймы и правительства имеют большую часть государственных прав и обязанностей, которые раньше принадлежали центральному русскому правительству и государственной Думе. И так как главой всей исполнительной власти во всей России — как в центре, так и в областях — не может быть никто иной, как глава государства, то и следует, чтобы все, управляющие именем главы государства — как в центре, так и в областях, — были прямо назначены главой государства, а не посредством кого-либо другого. Иначе было бы совсем несправедливо умалено значение областной государственности, и это было бы тем менее допустимо, чем обширней компетенции областных сеймов.

Так как управляющие разными ведомствами в областях являются последней инстанцией, прямыми представителями верховной власти, и так как их ведомства являются важнейшими отраслями внутренней государственной жизни, то правительства областей следует сделать министерствами, ответственными за исполнение областных законов перед областными сеймами, подобно тому, как общегосударственные министры ответственны перед Думой и Советом. Поэтому конституционно необходимо, чтобы областное правительство было министерским кабинетом с председателем министерства во главе, политически ответственным перед областным сеймом. Хотя в России таким образом будет больше министров, чем обыкновенно бывало, но это все же — при 150-миллионном населении — нельзя считать серьезным препятствием для последовательного проведения конституционных принципов во всех отраслях государственной жизни.

Несмотря на то, что при этой системе области получают почти облик государства, можно легче, чем с каким-нибудь генерал-губернатором, сохранить нужное влияние центра на области. Во-первых, глава государства назначает и увольняет всех областных министров. Этим сохраняется непосредственная связь области с центром. Кроме того, я предлагаю, чтобы назначение областного председателя министерства, который одновременно должен быть и министром внутренних дел, было контрассигновано государственным канцлером. Это не простая формальность. Государственный канцлер этим самым принимает на себя ответственность за это назначение и его последствия перед государственной Думой и Советом, почему имеет право и обязанность следить за ходом дел в областях. При таком устройстве государственный канцлер и областной министр-президент, естественно, сочтут нужным сговориться не только о том, как вести внутреннюю политику областей, но также относительно состава областного Кабинета, хотя назначение отдельных областных министров и должно быть контрассигновано только председателем областного министерства. Так наилучшим образом будут обеспечены равномерность развития всех областей и единство *духа* правления во всей России. Все это легко можно будет контролировать, потому что вопросы будут решаться не в тайных бюрократических канцеляриях, а открытыми действиями правительств, ответственных перед сеймами, где общественная критика не будет отсутствовать.

Впрочем, это не единственная возможность влияния центра. Областные законы должны будут утверждаться главой государства и, разумеется, глава государства сочтет своей обязанностью спросить мнение общегосударственного правительства, главным образом, в тех случаях, в которых областные законы должны быть проведением принципов, установленных общегосударственным законом (так наз. *Rahmengesetz*). Кроме то-

го, все высшие областные чиновники (до IV класса) будут назначены главой государства, который может при этом совещаться с центральным правительством.

В этом не только залог единства России, но также гарантия для областей, что не будет излишних трений между частями и целым. Для того, чтоб центр не начал личностей, для областей неприемлемых, достаточно власти сеймов, перед которыми областное правительство, контрастирующее всякое подобное назначение, должно быть за это ответственным.

Помимо этого, во всех областях будут военные начальники, которым также должна быть подчинена жандармерия, и общегосударственные чиновники (казначейств, монополий, почт, железных дорог и т.д.), долженствующие всегда наглядно представлять единство государства.

Наконец, я предлагаю — по примеру Англии — назначение особых инспекторов центрального правительства, которые следили бы за проведением тех общегосударственных законов, коих проведение предоставлено областному законодательству. Это учреждение всего лучше обеспечило бы единство принципов, но также могло бы отлично содействовать и тому, чтоб в различных областях не укоренилась ленивая пассивность и чтоб все работали во взаимном соревновании для восстановления мощи и экономического возрождения России.

К пункту 4. Одной из важных забот лиц, размышляющих о будущей децентрализованной России, является опасение споров о компетенции между центром и областями. Для разрешения этих споров предлагают какой-то верховный суд, подобно существующему в Соединенных Штатах. Мне кажется, что нельзя все учреждения других стран просто переносить в Россию. Не могу себе представить состав такого суда, который не встретил бы протеста и опасений ни с той, ни с другой стороны. Прошлое России слишком мало распола-

гает к доверию к личному составу правительства и к его готовности воздержаться от оказания влияния всеми способами на решение такого суда.

К тому же, можно свободно обойтись и без него. Центральная власть в новой России не будет больше абсолютистским правительством бюрократов, привыкших смотреть на централизм как на единственное спасение России от развала. Общегосударственное управление будет конституционное, ответственное перед палатами. И вся Россия будет построена на принципе силы центра и свободы частей. В самостоятельной, деятельной жизни частей общегосударственная власть должна видеть самое первое условие собственного могущества и силы России извне и внутри; следовательно, скорее приходится опасаться слишком усиленного обособления частей.

Но правительство, сильное не только войском, но прежде всего благоразумной политикой, с благоволением смотрящее на автономную жизнь областей и при этом твердо хранящее все прерогативы центральной власти, будет иметь достаточно средств, чтобы не допустить уменьшения компетенции центра. Выше мы уже о них говорили.

Что же касается споров о компетенции центральных и областных административных учреждений, то следует дать верховному административному суду достаточный авторитет, — подбором его состава, дабы возможно было бы передавать ему решение вышеупомянутых конфликтов. При конфликтах из-за компетенции в области законодательства можно полагаться на государственную Думу и Совет. Именно Совет, состоящий из представителей областных сеймов, не допустит умаления прав областей. А с другой стороны, обе палаты, избавленные от забот о мелочах, убивавших работоспособность старой Думы, поставят себе в обязанность заниматься самыми высшими и важнейшими вопросами государственной жизни всей России и,

воспитанные таким образом в общегосударственном духе, сделаются лучшими защитниками интересов всего государства против всякого рода вредного партикуляризма.

Не подлежит сомнению, что важную роль в переустройстве России будет играть особа государственно-го канцлера, который должен воплощать в себе идею примирения децентрализации России с крепкой центральной властью. Задача, бесспорно, очень трудная! Но следует верить, что Россия найдет своих строителей, как найдет своих освободителей. Россия, основанная только на силе централистической бюрократии, развалилась как картонный домик, и этот опыт будет для всех лучшим предостережением на тернистом пути к возрождению отечества.

Я писал проект русской Конституции, когда мы все надеялись, что возрождение России, установление в ней порядка очень близки, и с этим близка огромная задача дать многострадальной империи Конституцию, которая принесла бы всем гражданам необъятного государства поруку свободы и порядка и возможность интенсивной работой в центре и на местах восстановить силу и славу отечества. Обстоятельства изменились, но моим глубоким убеждением остается, что Россия воскреснет и что все задачи ее внутреннего устройства остаются неизменными и жгучими.

Россия возродится! Быть может, позже чем мы ожидали, но возродится непременно, и те, кто должен будет дать ей внутреннее устройство, осуществляющее возможность свободно жить и работать на пользу роди-

* Звездочки означают пропуск части текста оригинала. В данном случае нами выпущены примечания и толкования к отдельным положениям „Проекта Конституции”.

ны всюду, в каждом уголке огромной земли и приносящее нерусским народностям полную обеспеченность свободной жизни в возрожденном государстве, те должны уже теперь знать, что они предложат Учредительному Собранию, а не потом лишь искать путь, по которому должна идти Россия к новой славе и новому могуществу. И я был бы счастлив, если бы мне удалось убедить всех, любящих Россию, что спасение идет не сверху, а снизу. Всюду на местах должна кипеть работа, для которой Конституция России обязана дать всю свободу и все возможности.

Сверху Россию погубили автократический бюрократизм и большевистское насилие. Пусть грядущая Россия возродится работой снизу, дружной работой всех русских и нерусских своих граждан! Потом она станет неразрушима, даже если бы новые бури сломили ее верхушки. Пусть будет каждый русский человек строителем своего нового отечества и не найдется больше силы, которая подорвала бы могущество свободной России.

Прага, 25 января 1920 года

Библиография

Г. П. ФЕДОТОВ

Эта книга, несомненно, одна из лучших и наиболее актуальных, изданных чеховским издательством. С грустью и с любовью я вспоминаю ее покойного автора, который вместе со мною много лет читал лекции в Русской Духовной Академии в Париже. Вспоминаю также наши религиозно-философские собрания по вечерам у Федотова и Фондаминского, в которых принимал участие и Бердяев. Высказывания Федотова и Бердяева были мне особенно интересны: оба исходили из идеи христианской свободы, но Бердяев говорил всегда „профетически“, без доказательств, субъективно, он говорил о том, какой он хочет видеть Россию и весь мир; Федотов, напротив, говорил как историк и философ истории, стараясь понять объективную реальность, говорил о том, какой в истории хотела быть, сейчас хочет быть и в будущем может быть сама Россия. Этим же методом написана его книга. Он обладает редким талантом историка и писателя. Его изображения культур, эпох и отдельных личностей блестящи. Они напоминают и часто превосходят Ключевского. Такова, например, характеристика Бердяева, или самого Пушкина. Кто желает понять Россию и характер русского человека, должен скорее обратиться к Федотову, чем к Бердяеву. Характеристика (русскости) здесь выполнена блестяще. Она исходит из того положения, что личность как индивидуальная, так и народная, состоит из противоположных портретов: 1) это интеллигент идейный и беспочвенный, человек Достоевского (с. 71); 2) это мало идейный, но деловитый, почвенный, связанный с землей, крепкий человек, „Хорь“ — у Тургенева, „Каратаев“ — у Толстого. Таким был Иван Калита — собиратель Московского царства. Поэтому Федотов называет этот тип „москвичом“. Но если он создавал Московское царство, то беспочвенный интеллигент его разрушал. Изумительно сделанный портрет русского революционно-интеллигента совершенно совпадает с автопортретом Бердяева, который он дает в своем „Самопознании“, но вместе с тем он является в значительной степени портретом самого Федото-

Г.П. Федотов. Новый Град. Сборник статей. Изд. имени Чехова, Нью-Йорк, 1953.

ва, каким я его знал вначале в Париже. Но вот что удивительно: он совершенно преодолел в себе интеллигентскую беспочвенность и поднялся над нею. Все революционные и социалистические предрассудки интеллигенции исчезли из его социальной философии, он понимает даже, что слово и понятие „социализм” сейчас ничего не означает. Оно не способно „определить смысл открывающихся в тумане очертаний будущего хозяйственного строя” (с. 375). Федотов понимает и отлично показывает ценность дворянской культуры, русской империи и блестящего русского ренессансства 1905-1917 гг. Федотов заметил два центральных типа русского человека, как бы два центра противоречивой русской души, как бы образующей эллипсис. Однако к какому же центру принадлежит любимый и признанный гений Пушкина? Федотов называет его русским европейцем, или универсальным человеком: „Когда мы, вслед за Достоевским и ориентируясь на Пушкина, повторяем, что русский человек универсален и что в этом его главное национальное призвание, то это не относится ни к московскому человеку, ни к настоящему интеллигенту, которому несвойственна универсальность. Напротив, они отличаются узостью косности или узостью сектантства”. Петровская форма впервые создала породу русских европейцев, поэтому ею восторгался Пушкин. В сущности здесь открывается третий центр русской души и русского сознания. Чтобы понять русскую культуру, необходимо помнить об „русском европейце”, которого так часто не замечает Западная Европа; но достаточно взглянуть на Петербург, на величие и мощь его дворцов и площадей, как это сделал еще Жозеф де Местр, чтобы увидеть европейское и всемирное значение русского искусства, русской поэзии, музыки, науки и философии. Больше того, Федотов решается высказать следующее смелое историческое суждение: „В течение долгого времени Европа, как целое, жила более реальной жизнью на берегах Невы или Москвы-реки, чем на берегах Сены, Темзы или Шпрее”. Конечно, все эти черты русской души подверглись искажению в большевизме, однако они целы даже в своих искажениях: от интеллигента осталось якобинство догматической идеологии; от москвича — упорство и деловитость; от русского европейца — интернационализм и стремление к вселенскости. Осталось ли *чувство свободы*? Быть может, его никогда и не было у русских? Здесь мы встречаем у автора историческое исследование о рождении и развитии социально-правовой свободы. Эту свободу создала и спасла Англия и затем Америка, а вовсе не Франция. „Трудно понять, — говорит автор, — каким образом Великая французская революция могла считаться колыбелью свободы”. „Созданием революции была

централизованная империя". Из трех русских типов только „русский европеец" был верным другом свободы, начиная с декабристов и самого Пушкина. Но вот что необходимо помнить: русская империя петербургского периода вовсе не была какой-то страной рабства и деспотии, как это себе представляют западные европейцы со слов русской революционной интеллигенции. Федотов делает эту важнейшую историческую поправку, которую необходимо раз навсегда запомнить и усвоить американцам, англичанам и французам; он говорит: „Мы обычно недостаточно ценим ту бытовую свободу, которой русское общество пользовалось уже с Петра и которая позволяла ему долгое время не замечать отсутствия свободы политической". Вот почему один англичанин высказал Пушкину, что русский человек гораздо свободнее у себя в России, чем англичанин в своей Англии. Этот парадокс касается именно бытовой, а не политической свободы. Книга Федотова прежде всего интересует судьбою свободы в мире и в будущей России и дает подробный анализ различных возможностей. Размер настоящей заметки не позволяет мне войти в детали его исторических оценок и прогнозов, в которых есть много нового и парадоксального. Часто он решительно возражает главным русским историкам: Соловьеву, Ключевскому и Платонову. Нам остается добавить в заключение, что такие книги, как „На путях к свободе" Тырковой-Вильямс и „Новый Град" Федотова необходимы для познания судеб России и самосознания русского характера, чего так не хватает не только западноевропейцам, но и самим русским, самой новой и старой эмиграции.

Проф. Б.П.Вышеславцев
(1877—1954)

Женева, Швейцария

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Для людей, испытавших на себе все особенности коммунистического тоталитарного государства, проблема, какая из систем — коммунистическая диктатура или демократическое правовое государство — предпочтительней, не существует, настолько ясна для них неприемлемость коммунистической диктатуры. (Мы говорим, конечно, о подлинно демократических государствах, экономика которых базируется на частном предпринимательстве и рыночных отношениях.)

Но для людей, такой практикой не обладающих, этот воп-

рос оказывается не столь уж ясным. Это объясняется, по-видимому, несколькими причинами.

Во-первых, естественным несовершенством демократических порядков, поскольку никакая система, созданная человеческими усилиями, не идеальна и нуждается в постоянном улучшении и совершенствовании.

Во-вторых, психологической особенностью нашего мышления, а именно, склонностью к идеализации того, что еще лично и практически не испытано.

В-третьих, повышенно критическим отношением к переживаемой действительности со всеми ее повседневными трудностями. Такое отношение ведет к тому же к новым осложнениям, когда начинается работа по устранению имеющихся недостатков и совершенствование существующего порядка, — иными словами говоря, когда проявляется деятельность в связи с сохранением дееспособности демократических стран. Потому что случается иной раз и так, что для улучшения строя вырабатываются такие предложения, которые при реализации оказываются (или могут оказаться) гораздо большим злом, нежели те недостатки, для устранения которых эти новые предложения и были выработаны.

В качестве подобного примера можно привести предложение провести всеобщую национализацию крупных предприятий с целью ограничить их тенденцию к излишней концентрации капитала и образованию монопольных концернов, что неизбежно приведет к неограниченной единой неконтролируемой государственной монополии (вместо имеющихся ныне монополий, ограниченных и подверженных контролю).

Другим примером могут служить программные требования крайне левых анархических групп, которые сводятся к известной по тексту коммунистического гимна „Интернационал” схеме — „мы старый мир разрушим до основания, а затем...”. При этом что и как будет „затем”, остается неизвестным. Главное — разрушить, и разрушить до основания то, что уже имеется. К сожалению, слова М. Горького „нет работы спoree, чем ломать” оправдываются — такая программа находит, увы, своих последователей, и в достаточном количестве.

Все вышеназванные явления существуют во всех странах Западной Европы, но в особо сильной степени они проявляются в ФРГ. Объяснение этому следует, вероятно, искать в тех потрясениях, которые пришлось пережить Германии: полный военный разгром в двух последних войнах и раздел страны на две части, входящие в состав двух мировых блоков с совершенно разным политическим устройством.

Естественно, что упомянутая проблематика вызвала появ-

ление обширной литературы. В частности, издательством Зеевальд в Штутгарте был выпущен ряд книг на эти темы (несмотря на то, что изданы они несколько лет назад, актуальность их отнюдь не утрачена): Л.Боссле, „Демократия без альтернативы”, М.Шефер, „Рыночное хозяйство завтрашнего дня” и „Благосостояние как задача”, Х.Винделен, „СОС для Европы”, К.Штайнбух и др., „Гуманное общество” (По ту сторону капитализма и коммунизма) и К.Штайнбух, „Корректурa курса”^{*}.

Не излагая подробно содержания изданных работ, которое, кстати сказать, четко обозначается в самих их названиях, отметим только, что авторы указанных трудов — высококвалифицированные деятели в области реальной политики (как Манфред Шефер и Генрих Винделен) или в области высшего образования (как Лотар Боссле и Карл Штайнбух^{**}; последний к тому же крупный специалист по компьютерной технике, кибернетике и т.п.).

Книга „СОС для Европы” посвящена в основном проблеме разлагающего (путем пропаганды) влияния на западноевропейское демократическое общество, идущее из стран коммунистического блока, будь то СССР, красный Китай или титовская Югославия. Автор подчеркивает также повышенную восприимчивость Запада по отношению к этой пропаганде.

Книга „Корректурa курса” посвящена в большой мере той же тематике, но с акцентом на разлагающем влиянии коммунистических стран в студенческой среде. Автор касается также и тех опасностей, которые связаны с этим разложением (в частности, в высших школах Западной Германии) и которые поставят западное демократическое общество под угрозу в ближайшем будущем, а именно, когда это новое — разложенное — поколение войдет в рабочую структуру общества и многие из бывших студентов займут ведущие или руководящие в государстве посты.

Во всех перечисленных книгах отмечается, что положительные, конструктивные решения, касающиеся сохранения де-

^{*}Lothar B o s s l e. Demokratie ohne Alternative.

Manfred S c h ä f e r. Marktwirtschaft für Morgen. Wohlstand als Aufgabe.

Heinrich W i n d e l e n. SOS für Europa.

Karl S t e i n b u c h u. a. Die humane Gesellschaft. Jenseits von Kapitalismus und Kommunismus.

Karl S t e i n b u c h. Kurs-Korrektur.

Seewald-Verlag, Stuttgart 1972.

^{**} См. его статью „Европейские демократии на пороге решений” в „Г р а н я” № 103, 1977. — Р е д.

мократической системы и ее улучшения, могут быть осуществлены не одноразовым всеохватывающим мероприятием, а непрерывной длительной творческой работой по преодолению отдельных недостатков и введению такого же рода улучшений. При этом следует учитывать как духовно творческий потенциал общества, так и предполагаемые материальные ресурсы.

Кроме того, следует подчеркнуть, что авторы рассматриваемых трудов в той или иной форме отмечают, что достижение положительных результатов при решении стоящих перед обществом проблем требует солидарности отдельных, составляющих это общество групп в плане постановки задач и методов их решения. Особенно четко это сформулировано у проф. К.Штайнбуха, который видит в солидаризации членов общества, хотя бы в минимальном комплексе идей и проблем, залог его дальнейшего существования.

С. Кирсанов

ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ

Автор рецензируемой книги Борис Пылин начал свою жизнь в типичной интеллигентской семье России начала XX века: полной либеральных идей, но и искренней привязанности к русскому традиционному укладу жизни. События начала 1917 года семья Пылиных встретила „одобрительно, с надеждой, что они помогут России выйти из тупика” (сс. 11-12). В самое, пожалуй, неподходящее для этого время одиннадцатилетний Борис поступил во Второй Московский кадетский корпус и переехал в нем, оторванный от семьи, события осени 1917 года. Весной 1918 года ему удалось с сестрой приехать в город Ливны, куда в конце лета 1919 года пришли Добровольческие части. Семья Пылиных разделилась между Харьковом и Ливнами, и, при отступлении добровольцев в конце 1919 года, мальчик потерял своих родных. Его приютил Алексеевский полк, с которым он прошел весь трудный путь от Ливен до Новороссийска. Пережив ужасную новороссийскую эвакуацию, Борис был в Крыму отдан в Константиновское училище (в Феодосии) и покинул Россию 31 октября 1920 г., вместе с армией генерала Врангеля.

Борис Пылин. Первые четырнадцать лет (1906-1920). Калифорния, 1972.

Воспоминания Бориса Пылина читаются с большим интересом; удача его книги обеспечена по крайней мере двумя основными достоинствами — простотой, ясностью и привлекательностью языка автора и свежестью передачи восприятия страшной Гражданской войны одним из ее самых молодых участников — четырнадцатилетним мальчиком-алексеевцем. Поражают также в книге сдержанность и спокойный тон ее автора, качества не столь часто встречающиеся в мемуарной литературе о Гражданской войне. Борис Пылин не сомневается в правильности избранного им пути, но и не замалчивает то темное, что порой марало белый мундир добровольцев: он описывает, например, расстрел добровольцами по ошибке знакомого их семьи — учителя гимназии. Наряду с этим автор отмечает ту радость, с которой встречали Добровольческие части при их входе в Ливны, и быструю „нормализацию” жизни, связанную с их господством в городе.

Большая часть книги посвящена описанию пребывания Бориса среди алексеевцев, очень живо передан рассказ разведки, им произведенной в Ростове-на-Дону по личному поручению ген. Кутепова, за что был награжден орденом св. Георгия. Автор сообщает много интересного об Алексеевском полке, причем особенно бросается в глаза молодость его бойцов и командного состава. По рассказу Бориса Пылина, его командиру, капитану Бузуну, было „двадцать семь — двадцать восемь лет” (с. 59). „Состав полка был, — пишет в другом месте автор, — молодые офицеры, юнкера, студенты, кадеты, гимназисты. В общем, идеалистически настроенная учащаяся молодежь” (с. 96).

В книге Бориса Пылина несколько интересных замечаний, идущих вразрез с обычно принятыми представлениями о Белой армии. Он пишет, например, что „Добровольческая армия, боровшаяся за „Единую и Неделимую Россию” состояла в своем большинстве из уроженцев Украины” (с. 70). Как сообщает далее автор, „больше половины офицеров Генерального штаба — ученых специалистов и профессионалов военного дела — оказались по тем или иным соображениям, вольно или невольно в стане большевиков и помогли им создать сильную Красную армию. Борьба же с большевиками всей своей тяжестью легла на плечи рядового офицерства; даже не кадрового, таковое было выбито во время Мировой войны, а тех, кто пошел на войну из школ прапорщиков, т.е. вышедших в своей массе из рядов русской интеллигенции, которую обвинить в реакционности было бы трудно” (с. 139-140).

В последнее время в русской свободной печати, зарубежной и „самиздатовской”, прозвучали несколько раз обличения

Белой эмиграции в бегстве, отсутствии воли к сопротивлению и т.д. В свете этих обвинений хотелось бы и привести отрывок из книги Бориса Пылина, где он объясняет, почему он, четырнадцатилетний мальчик, сознательно решил покинуть родину: „После решительных колебаний я все-таки решил ехать. Я понимал, что мое появление в Керчи, где жили мои сестра, брат и мачеха, им принесло бы только вред, так как все соседи знали, что я служил в Белой армии. Да и очень уж не хотелось оставаться у большевиков, когда все вокруг уезжают, смириться и признать себя окончательно побежденными. Ведь все говорили, что уезжают только на короткое время, что там армия отдохнет, а следующей весной мы вернемся назад и борьба продолжится. Как это ни может показаться странным тем, кто этого не пережил, но большинство из уезжающих действительно в это верили” (с. 205). Кроме того, Борису, как он сам признается, хотелось и „посмотреть чужие края, испытать что-то совсем новое, еще неизведанное”, но вряд ли стоит настаивать на том, что для большинства уезжающих в неизвестность, нищих и бросивших все дорогое, последняя мотивация маловероятна... Следует прибавить, что, несмотря на все трудности зарубежной жизни за границей, для определенного количества бывших добровольцев борьба продолжалась, — в частности, под руководством ген. Кутепова. Б.Пылин пишет, например, о своем сверстнике, что „в эмиграции, после окончания кадетского корпуса он вступил в организацию, пытавшуюся активно бороться с большевиками. Этой организацией он был послан в Советский Союз на закрытую работу. Там и погиб” (с. 187).

Книга Бориса Пылина — ценный документ об эпохе и людях, о которых, к сожалению, не все о них судящие имеют и по сей день должное представление.

Н. Редриков

ИЗ ТЬМЫ ВЕКОВ

Книга „Греческая скульптура”^{*} вышла третьим изданием. И это не случайно: первые два издания получили очень вы-

^{*} Reinhard Lullies. Griechische Plastik. Von den Anfängen bis zum Ausgang des Hellenismus. Aufnahmen von Max Hirmer. — München: Hirmer-Verlag, 1972. 102 S.

сокую оценку в мировой печати. Действительно, это, пожалуй, наиболее полное фотографическое воспроизведение античной греческой скульптуры за восемь веков ее развития до Р.Х. Многие снимки опубликованы впервые. М.Гирмер приложил немало усилий, чтобы сфотографировать такое количество скульптур, рассеянных по 25 музеям Европы и Америки.

Характерно для его „творческого почерка” то, что он почти не пользуется приемом контрастного освещения скульптур, к которому часто прибегают фотографы ради достижения большей их рельефности. Но именно потому, что М.Гирмер снимает в мягком, не резком освещении, его фотографии „натуральны, и „первую скрипку” играет не эффект светотени, а сам материал — мрамор. Он действительно „как живой”: тончайшие нюансы формы, как и фактура мрамора, не исчезают в тени.

Во вступительной статье, написанной проф. д-ром Р.Люблисом из Базеля, говорится не только об исторических путях греческой скульптуры, но и о новых достижениях науки в этой области. Так, известная скульптурная группа „Лаокоон” из Ватиканского музея датируется теперь 1-м веком до Р.Х., а не — как раньше считалось — более ранним периодом.

Между прочим, хочется обратить внимание на удивительное сходство так называемых грифонов: бронзовых, найденных в Олимпии, середины VII в. до Р.Х., и деревянного из Пазырыкского кургана № 2 на Алтае, датируемого учеными V-IV вв. до Р.Х. (см. древнее искусство — памятники палеолита, неолита, бронзового и железного веков на территории Советского Союза, „Аврора”, Ленинград, 1974, ил. 52). Учитывая большое количество эллинских сведений того времени о скифах, можно это сходство грифонов принять за свидетельство культурного влияния греков на скифов.

В конце книги помещены подробные описания скульптур с реконструктивными рисунками архитектурных деталей, хронологическая таблица исторических событий в древней Эллад с указанием времени создания скульптур, библиография и указатель музеев, в которых хранятся воспроизведенные скульптуры.

*

Третьим же изданием вышел монументальный труд „Кхмер — искусство и культура Ангкора”*. Для русского чи-

* Khmer. Kunst und Kultur von Angkor. Aufnahmen von Hans Hinz. — München: Hirmer-Verlag, 1973. 308 S.

тателя, интересующегося культурой этого исчезнувшего царства, он особо ценен, т.к. на русском языке о Кхмере почти ничего нет.

Государство Кхмер, занимавшее территорию примерно нынешней Камбоджи, существовало с VII по XVII в. после Р.Х. Столица его, Ангкор, была в XI в. самым многолюдным городом в мире.

Когда в 1858 г. французский ученый Анри Муо открыл в джунглях руины Ангкора, то он писал: „Превосходнее всего, что нам оставили Греция и Рим”. За более чем сто лет открыто еще много памятников культуры Кхмера, немало реставрировано и все основательно изучено. Своего рода итогом усилий ученых и является эта книга.

Автор текста, хранитель Национального музея в Пном-Пене, Мадлен Жито, многие годы проживающая в Камбодже, один из лучших знатоков искусства Кхмера. Ее книга — наиболее обстоятельный, пожалуй, труд в этой области.

Во „Введении” дан обзор религий, истории структуры общества и искусства Юго-Восточной Азии. Затем следуют три больших раздела об искусстве Кхмера: „Камень”, „Бронза” и „Дерево”. Развитие этих отраслей скульптуры дано в историческом разрезе с детальным разбором стилей и школ, описанием скульптур и технических приемов работы.

Иллюстративный материал размещен тематически, соответственно тексту. Автор снимков, известный фотограф Г.Гинц, провел в Камбодже три месяца. Сделанные им фотографии — многие публикуются впервые — прекрасно передают все детали пластики и фактуру материала. Он мастер формы, и при помощи искусного освещения ему удастся подчеркнуть все тонкости работы.

Добрую треть книги занимают: каталог, составленный по темам („исторические личности”, „женские фигуры”, „украшения” и т.д.), и приложения — объяснение значения слов кхмера и санскрита; карта Камбоджи и планы Ангкора; восемь хронологических таблиц, охватывающих исторические события от Рождества Христова до 1450 г. на территории Камбоджи, Юго-Восточной Азии, Индии, Китая и на Дальнем Востоке, в Западной Европе и на Ближнем Востоке.

*

Книга „Китайская керамика”* — труд классический, завоевавший признание во всем мире. Это, собственно, деталь-

* Michel und Cecile Beurdeley. Chinesische Keramik. München: Hirmer-Verlag, 1974. 300 S.

нейший каталог-справочник китайской керамики с исчерпывающей документацией, охватывающей всю историю Китая, со времени „неолитикума” до начала XX века, т.е. шесть тысяч лет!

Об этой книге можно писать много. Постараюсь сжато рассказать о самом важном.

Китайская керамика — одно из ярких проявлений культуры Китая. Искусство керамики занимало почетное место в художественной жизни этой страны. Оно достигло необычайно высокого уровня развития и заняло особое место в сокровищнице мировой культуры. Но только сравнительно недавно, благодаря раскопкам и открытиям археологов, стало возможным восстановить полную картину исторических этапов китайской керамики.

В книге это нашло свое выражение в четком распределении материала „по временам” царствовавших династий. Этих периодов тринадцать; две главы посвящены последним двум векам, когда в Китае стали изготавливать керамические изделия по заказам европейцев („Китай по заказу” — на языке специалистов).

Каждая глава снабжена особым каталогом с дополнительными сведениями о данном времени.

Книга превосходно иллюстрирована замечательными цветными фотографиями, рисунками, картами и планом. Многие экспонаты опубликованы впервые. Вообще же снимки сделаны в разных музеях и частных собраниях. К сожалению, богатейшие коллекции китайской керамики в музеях нашей страны в книге не представлены.

В заключительной части книги помещены документально-справочные данные о материалах и технике изготовления керамики в Китае, о символических знаках, таблицы династий с их названиями по-китайски, так называемые циклические даты (китайская система летоисчисления) и „марки” — клейма, которые стали ставить на фарфор со времени Минг (вторая половина XIV в.).

Представить себе лучшую книгу о столь богатой истории фарфора Китая просто трудно.

А. Русак

ТРОЕ В РАЗНЫХ ЛОДКАХ

Речь идет о трех новых тонких литературно-художественных журналах на русском языке — об „Эхо” и „Ковчеге” (Франция) и о „Глаголе” (США).

В обращении к читателю один из редакторов „Эхо”, Владимир Марамзин, так определил его назначение: „Журнал (и все тяготы, с ним связанные) предпринят нами исключительно оттого, что мы все переполнены рукописями — в основном, из России. Рукописей много, русских изданий недостаточно”; „Никаких ограничений языку и сюжету. Только так можно реализовать свободу. Единственное руководство — вкус”.

Если применить эти критерии к оценке опубликованного в двух вышедших номерах журнала, далеко не все в них удачно, однако, — и это в основном относится ко второй книжке, — есть и бесспорные удачи: самиздатовская повесть Бориса Вахтина „Одна абсолютно счастливая деревня”, драматическая поэма Александра Введенского „Кругом возможно Бог”, статья Иосифа Бродского „На стороне Кавафиса” (переведенная с английского оригинала А.Лосевым); интересны и повесть Владимира Губина „Бездожде до сентября”, открывающая первый номер журнала, и статья Владимира Марамзина „Русский роман Владимира Максимова” (о „Прощании из ниоткуда”), и стихи раннего Бродского, Эдуарда Лимонова, Алексея Хвостенко — там же. О вкусах, как говорится, не спорят: другим могут прийти по душе иные публикации: стихи, проза, публицистика — особенно это касается сторонников авангардизма в литературе, к которому „Эхо” явно испытывает симпатию.

В еще большей степени это можно сказать о „Ковчеге”. Судя по редакционному „Предуведомлению читателя”, журнал должен отдавать предпочтение авторам, увлеченным „описанием существенного, какими бы новыми или сложными выразительными средствами они ни пользовались”. К сожалению, однако, сомнительная новизна или нарочитая сложность подчас заслоняют в „Ковчеге” существенность в ущерб художественности. Тем не менее, многое из опубликованного там заслужи-

„Эхо”. Литературный журнал. №№ 1, 2. Париж, 1978. Ред. В.Марамзин, А.Хвостенко.

„Ковчег”. Литературный журнал. №№ 1, 2. Париж, Ред. А.Крон и Н.Боков.

„Глагол”. №№ 1, 2. Ардис. 1978.

„Синтаксис”. Публицистика. Критика. Полемка. № 1. Париж, 1978. Ред. М.Розанова, А.Синявский.

вает внимания. Короткая рецензия, увы, поневоле превращается в инвентарный список авторов и произведений: назовем, для примера, прозу Николая Бокова и Михаила Соковнина, Леонида Черткова и Кирилла Сарнова, Александра Котлина и Василия Яновского; поэзию Эдуарда Лимонова и Евгения Рейна, Александра Крученых и Юрия Лехтгольца; балетное либретто Ольги Черемшиановой; публицистику Н.Кононовой, А.Амальрика, А.Ласкова.

Несомненно, более традиционен и солиден, что ли, альманах „Глагол”, выпускаемый издательством „Ардис”. В „Глаголе”, прежде всего, обращает на себя внимание хорошая, добротная проза, в том числе переводная, что стоит подчеркнуть особо (для зарубежного русского журнала это хороший почин, тем более, если учесть нынешнее плачевное положение переводной литературы в СССР). В первой книжке „Глагола” с отрывком из нового романа „Между собакой и волком” выступает Саша Соколов, заслуживший за свое первое произведение — „Школа для дураков” — одобрительный отзыв покойного Набокова, с которым его многое роднит. Но гвоздь номера, безусловно, „Стальная птица” В.Аксенова, написанная им еще в 1965 году, но так и не пробившая броню советской цензуры. В этой повести Аксенов предстает в новом качестве фантаста, мастера сатиры и гротеска, в традициях автора „Собачьего сердца”. Впрочем, портреты жильцов дома № 14 по Фонарному переулку в Москве заставляют вспомнить и авторов „Двенадцати стульев”. Финал повести, по времени действия, явно совпадает с низвержением Хрущева и начавшимся процессом ресталинизации. По ходу рассказа-аллегии старый, сталинский, дом рушится, и жильцы, едва начав избавляться от страха перед загадочным человеком-птицей, и уже забывая о нем, переезжают в новый дом в новом районе, но „птица” оживает и летит. Где-то она приземлится, чтобы снова пугать и тиранить?..

Во второй книжке „Глагола” наиболее примечательны неопубликованная глава из романа Фазиля Искандера „Сандро из Чегема”, изувеченная советской цензурой, и глава из романа Андрея Битова „Пушкинский дом”, только что опубликованного издательством „Ардис” и уже косвенно знакомого читателю „Граней” по статье Ю.Карабчиевского (см. № 104).

Собственно, к хорошей русской прозе можно отнести и переводы (с английского) столь многообразного Иосифа Бродского (рассказ Оруэлла „Убивая слона”) и В.Козловского (рассказ „Цвет иудина дерева”) Кэтрин Энн Портер — в первом номере журнала и рассказ Джона Апдайка „Музыкальная школа” — во втором).

В первой книжке „Глагола” привлекают внимание под-

борки стихов Алексея Цветкова и Бориса Чичибабина, талантливая лирика которого распространяется Самиздатом. В этой же книжке — и замечательные переводы Ивана Елагина из американской поэзии.

Особо следует сказать об „Архиве” журнала, где помещены ценные в историко-литературном отношении материалы: о неизвестном поэте 30-х годов А.Ривине; письмо Пастернака Ю.И.Юркуну; письмо Иванова-Разумника А.Белому (о последних днях Федора Сологуба); письмо Николая Евреинова Н.И.Бутковской из Америки; фрагменты из записной книжки Вл. Ходасевича; письма М.А.Булгакова (см. также во втором номере воспоминания о нем его второй жены Л.Е.Белозерской); глава из неоконченной книги Льва Шестова о Тургеневе...

Мы назвали эту краткую рецензию „Трое в разных лодках”, перефразируя название известной книжки Джерома К.Джерома. Следовало бы лишь добавить: „не считая „Синтаксис”, который, строго говоря, нельзя причислить к литературно-художественным журналам, ибо он сам себя ограничил публицистикой, критикой и полемикой. Как явствует из наименования и из редакционного предуведомления к журналу, он посвящается редактору первого „Синтаксиса” (Москва, Самиздат, 1959—1960) Александру Гинзбургу. О нем же — вводная статья Н.Рубинштейн; в его защиту выступают Ю.Даниэль и (в мемуарном очерке о Петрове-Агатове) А.Синявский, который — в качестве автора и соредактора — играет, конечно, первую скрипку в журнале. Судя уже по первым опубликованным материалам, новый „Синтаксис” обещает быть острым, содержательным и высоко профессиональным по уровню.

Подводя итоги, хотелось бы высказать сожаление по поводу досадного распыления журнальных сил третьей эмиграции. Но, видимо, пожелание усадить всех в одну „лодку” так и останется пожеланием, а „Современным запискам” суждено остаться лишь уникальным фактом в истории.

В. Володин

БРАТСТВО ГОНИМЫХ

В Израиле опубликована примечательная книжка — „Поэзия в концлагерях”. Издана она Центром исследования тюрем,

„Поэзия в концлагерях”. Публикация Центра исследова-

психотюрем и концлагерей СССР и составлена организатором этого Центра, бывшим политзаключенным и автором известной „лагерной” книги „Четвертое измерение” (Посев, 1973) Авраамом Шифриным.

В этой уникальной поэтической антологии представлены — не считая „известных” авторов — пятнадцать поэтов: русские, евреи, украинцы. Некоторые из них, отбыв срок заключения, покинули СССР и живут в Израиле или на Западе, другие пребывают по-прежнему в Малой или Большой зонах — за колючей проволокой или за „железным” занавесом.

Вероятно, наиболее значителен — ныне уже трижды заключенный — Валентин Соколов. Специалисты наверняка найдут в его близких к верлибру стихах немало погрешностей, обратят внимание на многочисленные скрытые реминисценции (от Маяковского до Надсона, от Бодлера до Верлена), но они — не говоря уже о рядовом читателе — не смогут не почувствовать большой взрывчатой силы и страсти его порою фрагментарных произведений, рожденных талантом и поистине уникальным опытом человека, который отказался плыть по течению и предпочел покою опасную борьбу за правду. „Столько вытянули жил/— До луны тех струн хватило б!” — восклицает он и признается: „О, тяжелый, горький крест:/По ночам дымить махоркой/В самом сердце Азии”, „Трудно грезить куполами/Золотыми.../Трудно чистыми сберечь/И глаза и имя,/И дела и речь”. Однако — и это характерно не только для него, но и для большинства других поэтов сборника — он не питает чувства злобы к жизни и ко всему живому. Его горький опыт переплавился в очистительное и примиряющее с миром (но не с бесчеловечным режимом) ощущение вечного присутствия Божества. Поэтому: „Все, что написано — проба,/Проба подняться из гроба./Проба понять тебя, небо”, понять „с высоты креста”.

Я доволен тем, что видел.
Правда, было много стен,
Но они мне не мешали
Видеть небо.

Отсюда его щедрость к обделенным верою людям:

Проходя по вашим улицам,
Я готов дарить цветами
Всех вас, бедных и богатых,
Потерявших веру в солнце.

ния тюрем, психотюрем и концлагерей СССР. Составитель — А. Ш и ф р и н. Редактор — Э.Шифрин-Полтинникова. Рисунок на обложке политзаключенного А.П. (получен из лагеря № 07 Дубровлага). Израиль, 1978.

Даже в зловещей по содержанию, неизмеримо более зловещей, чем, скажем, „Баллада Редингтонской тюрьмы”, поэме „Гротески” лейтмотивом звучит светлое:

Жил и мысли тайно нежил,
Мысли все одни и те же:
Как бы ласковым остаться,
Чистым, сильным, светлым, юным,
Перед идилом чугунным
В грязь лицом не распластаться?..

И еще:

Мир всем людям, духом нищим,
Землю скорбью тяготящим:
Мир всем мучимым в застенках,
Мир вам!

И наконец:

Тише, вкрадчивей рыдания —
Скоро зори,
Скоро зори щедро хлынут
В ваше горе,
И растает ваше горе,
Да, растает!

Печатью профессионализма отмечены чеканные строки Геннадия Черепова, тяготеющего к форме сонета, к символистской поэтике и эзотеризму. В философско-лирических стихах этого многолетнего мученика ГУЛага воплотилась вся его трагическая судьба, полная жестоких страданий („Кто мучился еще, как я?”), но не сломившая его и не примирившая:

Прочтя пророчества, пройдя сквозь все потери,
В тюремных камерах духовно возмужав
И ощутив в себе пульс мировых артерий,
Мы вышли к этим дней великим рубежам.
Еще рывок — и в бой! Чтоб дописали перья
последние стихи к последним рубежам (сонет, посвященный А.Шифрину, в день его освобождения из лагеря).

Читатель найдет немало хорошего, подлинного, выстраданного, а не придуманного и высосанного из пальца, и в стихах Юрия Мулина, и в лирических, философских миниатюрах, полных глубокого религиозного смысла, Ильи Бокштейна, и в поэтическом тюремном Самиздате Игоря Авдеева (Тираж 1 экземпляра. Заказ особый. Адрес типографии: Камера № 25 (спецстрогий режим, лагерь № 10, „Дубровлаг”), и в произведениях

Бориса Вайля, Доры Кустанович, недавно умершего Юрия Домбровского (известного большинству как прозаик), Якова Хромченко, с его песенной простотой и прозрачностью. Особо следует отметить стихи поэтов, имена которых не приводятся, дабы не повредить им, а также приводимые в оригинале произведения украинских концлагерных поэтов, имена которых широко известны из хроники правозащитного движения и борьбы за национальную культуру и независимость, таких, как Игорь Светличный, Ирина Сенык, Евгений Сверстюк, Василий Стус.

В заключение хотелось бы оценить по достоинству труд и энергию составителя и автора общего и кратких справочно-биографических введений к произведениям, помещенным в сборнике, Авраама Шифрина, сумевшего не только сохранить верность тюремно-лагерному братству гонимых, но и трудными, неисповедимыми путями донести их творчество до читателя.

„Где-то ковыляет на перебитых в лагере ногах Геннадий Черепов: брови вразлет над громадными глазами, смотрящими в запредел. Где-то опять втиснулся в уголок, сгорбил и пишет на колене, спрятавшись от стукачей, Валя Соколов.

Храни вас Господь, друзья мои!”

Скажем и мы: храни вас Господь!

В.Чернявский

РИО-ГРАНДЕ ВПАДАЕТ В ВОЛГУ

Течет Рио-Гранде.
Ветер и синь.
Детства книжного
Очная ставка.

.....
Ветер и синь.
Синь и пески.
И кто-то белым
Издали машет...

Это — из стихов Владимира Шаталова, киевлянина, а нынче — жителя города Филадельфия. Это — о детстве, о прошлом. Это — о России, ибо для всех нас, эмигрантов, Россия — в прошлом. Да, Россия, физическая Россия — для нас в прошлом. И

Альманах „Перекрестки”, № 1, Филадельфия.

не только мы, но и наши творения, — пророчит Игорь Чиннов, — едва ли очутятся в этом прошлом-будущем:

В Россию — ветром — строчки занесет...
Эх, эмигрантские поэты!
Не ветром, а песком нас — занесет.
И стаю строчек у глухих ворот
Засыплет временем — бесчувственным, как лед,
Как злые зимние рассветы.

Всего в альманахе представлено 13 русских поэтов: Дмитрий Кленовский, Владимир Шаталов, Иван Буркин, Игорь Чиннов, Олег Ильинский, Валентина Синкевич, Иван Елагин, Татьяна Фесенко, Борис Нарциссов, Борис Филиппов, Лидия Алексеева, Ольга Анстей и Ираида Легкая. 13 поэтов, „хороших и разных”: я не нашел в сборнике ни одного нестиха, — я не утверждаю, что там нет слабых стихов, они неизбежно присутствуют, но вот нестихов — нет. Это весьма отраднo; ведь именно нестихи — под видом стихов — заполняют и переполняют многие издания, как советские, так и внесоветские.

Следовало бы написать обо всех 13-ти, но... (как обычно в рецензиях: ограниченный рамками и т.д.) Так что упомяну только некоторых, руководствуясь своим пристрастием.

Итак, в порядке очереди.

Иван Буркин. Среди 5-ти его стихов (считая „Миниатюры” за одно стихотворение) по-настоящему хорош „Танец живота”:

Смеется китаец:
Весь мир — суета.
Придумали танец
И для живота.

Только, сдаётся мне, это стихотворение не закончено, оно как-то неожиданно и резко обрывается:

Придумали люди
Наш мир для людей,
Огонь для орудий
И соль для идей.

Может быть, в заключение следовало бы повторить 1-ю строфу в опрокинутом виде:

Придумали танец
И для живота:
Смеется китаец:
Весь мир — суета.

Из строчек

Она как пропеллер
Вращает живот

неясно, кто „как пропеллер: „она” или же ейный „живот”? Кстати, ни в разговорной речи, ни на техническом жаргоне (утверждаю это как специалист) слово „пропеллер” вот уже лет 40 не употребляют, теперь говорят „винт”.

Стихи Игоря Чиннова — остры и интересны; это не так-то просто — особенно по поводу столь избитого явления, как смерть:

Все хочу я подумать о смерти.
Дождь и ночь. Ай люли, ай люлю!
Вот „последняя воля” в конверте.
Скоро к чертовой бабушке, черти,
Я житейскую прозу пошлю!

И не велика беда, что Игорь Чиннов сбивается порой на другого Игоря, Северянина: „волшебство-нарядный балет”, „розовато-жемчужное трико” и прочие „пуанты” — все это сочинил Игорь 2-й, а вполне бы впору и Игорю 1-му.

Приведу еще (с комментарием) такие строчки Игоря Чиннова:

Ну, а если тюрьма, стена —
То заключенный нарисует дверь на стене —
И выйдет через нее.

Комментарий: дельный совет заключенным, к примеру, Владимирской тюрьмы, а?

Валентину Синкевич приятно читать уже потому, что ее стихи очень женские:

А дождь накрапывает
вкрадчивым шепотом
по крыше,
взбегает на крыльцо
и падает неистовыми
ручьями и слезами
на сухое и горячее лицо.

Пол всегда присутствует в подлинных стихах. Что это такое: бесполой поэт? Трансвестит это, а не поэт! В общем — Зинаида Гиппиус.

Иван Елагин представлен в альманахе, к моему огорчению, только переводами из С.В.Бенета. Не берусь судить — за полным незнанием английского — насколько этот перевод со-

ответствует подлиннику. Но как русский стих он сделан крепко, по-елагински.

Я не согласен с лирическим заявлением Татьяны Фесенко:

Говорят, только сборник второй
Позволяет назваться поэтом.

Кто это говорит? Почему говорит? Причем тут 2-й или 22-й сборник? Не знаю, издал ли Франсуа Вийон или Вильям Шекспир при жизни хоть один сборник, боюсь, что нет. Федор Тютчев издал, вроде, всего один, а вот Виктор Урин, знаю, выпустил через Совпис целых 15 штук. Ну, и что же? Причем тут поэзия?

Ираида Легкая, судя по ее стихам, — замечу, отличным — женщина страстная. Страсть ее столь неистова, что сметает на своем пути прописные буквы и знаки препинания. Все это, пожалуй, безобидно, поэты подчас не прочь чуток поиграть (Владимир Маяковский размещал строчки лесенкой, Иван Рукавишников — в виде чаши). Ничего криминального тут нет, хотя иной читатель, может, и заворчит: чего она, мол, балуется? Ведь не маленькая, 1932 года рождения!

Но что я считаю всерьез неприемлемым, то это строчки (правда, не самой Ираиды Легкой, а переводные):

Я вывернула себя наизнанку и была
иисусом

И сам образ, и имя нашего Господа, написанное со строчной буквы — к чему же так? Это уже не баловство, а настоящее кощунство. Понятно, поэт-писатель волен сочинять, как ему угодно. Можно написать, к примеру, что Анна Каренина отплясывает стриптиз, а князь Мышкин распивает в подъезде поллитра на троих. Можно. А для чего? Нет, я — за самоцензуру.

Один абзац о живописцах. Их в альманахе двое: Владимир Шаталов (как видим, он един в двух ипостасях) и Сергей Голлербах. Как стопроцентный неспециалист в живописи я не берусь судить об их работах, тем паче по не очень четким репродукциям. Однако представляется, что оригиналы картин значительны и интересны, а их репродукции удачно дополняют альманах, не будучи просто иллюстрациями к стихам.

В заключение пожелаю: так пусть же течет Рио-Гранде! Помоему — это добротный приток полноводной Волги русской поэзии. Единой русской поэзии, не разделенной плотинами и препонами.

Юрий Иофе

СПИСОК КНИГ, ПРИСЛАННЫХ НА ОТЗЫВ

А р м а л и н с к и й Михаил. Маятник. Третья книга стихов. Ленинград, 1976. Printed in Minneapolis, U.S.A., с. 128.

V v e d e n s k i j Aleksandr. Minin i Pożarskij. Arbeiten und Texte zur Slavistik. 15. Herausgegeben von Wolfgang Kasack. München, Verlag Otto Sagner in Kommission, 1978, 50 S.

В л а д и м и р о в а Лия. Пора предчувствий. Вторая книга стихов. Тель-Авив, изд-во „КРУГ”, 1978, с. 96.

К а з а к о в Владимир. Случайный воин. Arbeiten und Texte zur Slavistik. 17. Herausgegeben von Wolfgang Kasack. München, Verlag Otto Sagner in Kommission, 1978, 216 S.

„К о в ч е г”. Литературный журнал № 2. Под редакцией А.Крона и Н.Бокова. Париж, 1978, с. 96.

К о м а р о в Борис. Уничтожение природы. Обострение экологического кризиса в СССР. Франкфурт-на-Майне, „Посев”, 1978, с. 208.

Siri Sverdrup Lunden. Russenorsk. Revisited. „Meddelelser”, Nr. 15, 1978. Universitetet i Oslo, p. 32.

Das Muckelmännchen. Ungewöhnliche Geschichten von Ha. A. Mehler. Verlag für Angewandte Philosophie, Wiesbaden, 1978, 122 S.

„Н а д е ж д а”. Христианское Чтение, выпуск 1, 1977. „Надежда”. Составитель данного сборника Зоя К р а х м а л ь н и к о в а. Possev-Verlag, 1978, Frankfurt/Main, с. 294.

„Н а с л у ж б е Р о с с и и”. Народно-Трудовой Союз. Франкфурт-на-Майне, „Посев”, 1978, с. 72.

О с и п о в Владимир. Три отношения к родине. Статьи, очерки, выступления. Франкфурт-на-Майне, „Посев”, 1978, с. 222.

С и н к е в и ч Валентина. Наступление дня. Стихи. Русский и английский тексты. Обложка и иллюстрация Владимира Шаталова. Филадельфия. „Перекрестки”, 1978, с. 108

Ш а х о в с к а я Зинаида. Рассказы. Статьи. Стихи. Les Editeurs Reunis, Paris 1978, с. 227.

„The Russian Review”. An American Quarterly. Devoted to Russia. Past and Present. July 1978. Vol. 37, Nr. 3

СОДЕРЖАНИЕ

с № 107 по № 110

ПРОЗА

АНДРЕЕВ Даниил

Изменение. (Повесть), 110

ГАВРИЛОВ В.

Завещание. Рассказ, 107

ДАНИЛЬЦЕВ Л.

В войну, трудную и для собак. (Рассказ), 110

ДАР Давид

Ленинград. Судьба. Поэт, 110

КАРАБЧИЕВСКИЙ Ю.

Жизнь Александра Зильбера. Отрывки из романа,
108

НЕЧАЕВ Вадим

Одиноким сдается угол. Повесть, 108

ОЛИН Ник.

Продается дача. — Жил-был колокол. Рассказы,
107

ОЛИН Ник.

Третья скамейка слева. Повесть, 109

ПАВЛОВА Муза

Прибежали в избу дети. Маленькая пьеса для бала-
гана, 107

Подъяпольский Григорий

О времени и о себе. Главы из книги, 107

ПОЭЗИЯ

АФАНАСЬЕВА Зоя

„Отечество нам — Царское Село”. Восемь стихо-
творений: Провинциальные стихи и др. Баллады для
Майи. С послесловием Василия Бетаки, 107

ВОЗНЕСЕНСКАЯ Юлия

Двенадцать стихотворений (из цикла „Книга разлук”): „Сон птицы” и др., 108

ЕЛАГИН Иван

Два стихотворения: В туристическом бюро..., Клок бумаги. Протокол..., 109

КРИВУЛИН Виктор

Четыре стихотворения: „Ящик” и др., 108

НЕКИПЕЛОВ Виктор

Три стихотворения: Телевизор и др., 107

ОХАПКИН Олег

Совість. Шесть стихотворений, 110

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

ГУСАРОВ Владимир

Баба Феня. Глава из книги „Мой папа убил Михо-эlsa” 109

Из переписки двух священников. Из самиздатовского сборн. „Надежда. Христианское чтение”, 108

М.К.

Памяти Евгении Гинзбург, 110

НАЙДЕНОВИЧ Ада

Родная почва, 107

ОПУЛЬСКИЙ Альберт

Вокруг имени Льва Толстого. Расцвет и гибель одного литературного института, 110

РУДКЕВИЧ Л. КОНОНОВА Н.

„Дело” Юлии Вознесенской, 108

РЫБАКОВ В.

На китайской границе. Рассказы, 107

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНДРЕЕВА Д.

России сердце не забудет... О творчестве Александра Галича, 109

БРЕЙТБАРТ Е.

Путешествие по времени и по собственной жизни.
Проза Виктора Некрасова после России (О книгах:
„Записки зеваки” и „Взгляд и нечто”), 107

РАЙС Эммануил

Против реалистического романа.

Часть 1, 107

Часть 2, 108

РЖЕВСКИЙ Леонид

Триптих В.Е.Максимова, 109

УМРИХИНА Светлана

Мистический план романа „Бесы”. Опыт лингвас-
тилистического анализа, 108

ЧЕРНЯВСКИЙ Владимир

Обреченный бессмертием. Сологуб и его роман
„Мелкий бес”, 108

ШТОК Д.

Земля моя родная... (О творчестве Василия Бело-
ва), 110

ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

БРЕЙТБАРТ Е.

Пока безумный наш судья... О книге В.Турчина
„Инерция страха”, 108

ДЫНИН Б/орис/

Религия и идеология, 110

ЗЕМЦОВ Илья

СССР — господствующая элита, 109

КОМАРОВ Борис

Секретный воздух. Глава из книги („Уничтожение
природы”), 109

КРАСНОВ Владислав

Виктор Карл Маркс фон Франкенштейн, или Генеа-
логия коммунизма, 107

ЛЕРТ Р.

Подступы к „Зияющим высотам”. Опыт ненаучно-
го анализа, 108

НЕЧАЕВ Вадим

Нравственное значение неофициальной культуры,
108

ПАРАМОНОВ Борис

Гибель человечества или кризис культуры? (О книге И.Р.Шафаревича „Социализм как явление мировой истории” и ее проблематике), 108 .

ПЕТРОВ Роман

Коммунизм: реальность и миф (По поводу книг Р.Редлиха), 107 .

РЕДЛИХ Роман

Православная схоластика. Проблема подлинно сущего в философии русских духовных академий,
107

О РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

КРАМАРЖ К.П.

Основы Конституции Российского Государства.
Примечания к главным статьям Конституции, 110

СОКОЛОВ Борис

Защита Всероссийского Учредительного Собрания,
109

РЕДАКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

О введении нового раздела в журнале: „О российской государственности”, 109, с. 306

О д-ре К.П.Крамарже, 110, с. 234

БИБЛИОГРАФИЯ

„Г л а г о л”. №№ 1, 2. — Анн Арбор/США: Ардис, 1978.
(В.Володин), 110, с. 266

Зиновьев Александр

Зияющие высоты. См. отд. „Публицистика”,
Лерт Р., 108, с. 279

- „К о в ч е г”. Литературный журн. №№ 1, 2. Ред.: А.Крон и Н.Боков. — Париж: 1978. (В.Володин), 110, с. 265
- Некрасов Виктор
Взгляд и нечто. См. отд. „Лит. критика” Брейт-
барт Е., 107, с. 175
- Некрасов Виктор
Записки зеваки. См. отд. „Лит. критика” Брейт-
барт Е., 107, с. 175
- „Перекрестки”. Альманах. № 1. — Филадельфия. (Юрий
Иофе), 110, с. 270
- „Поэзия в концлагерях”. Публикация Центра исследо-
вания тюрем, психотюрем и концлагерей в СССР.
Сост. А.Шифрин. Ред. Э.Шифрин-Полтинникова. —
Израиль: 1978. (В.Чернявский), 110, с. 267
- Пылин Борис
Первые четырнадцать лет (1906—1920). — Кали-
форния: 1972. (Н.Редриков), 110, с. 259
- Редлих Роман
Советское общество. (Очерки большевизмоведения. Книга 2.) См. отд. „Философия...” Петров Ро-
ман, 107, с. 261
- Редлих Роман
Сталинщина как духовный феномен. (Очерки
большевизмоведения. Книга 1.) См. отд. „Филосо-
фия...” Петров Роман, 107, с. 261
- „С и н т а к с и с”. Публицистика. Критика. Полемика.
№ 1. Ред.: М.Розанова, А.Синявский. — Париж:
1978. (В.Володин), 110, с. 267
- Турчин В.
Инерция страха. См. отд. „Публицистика” Брейт-
барт Е., 108, с. 263
- Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Ве-
ры Николаевны и другие архивные материалы, под
редакцией Милицы Грин: В 3-х т. Том 1. Франк-
фурт-на-Майне: „Посев” 1977. 368 с. (В.Володин),
107, с. 284

Федотов Г.П. Новый Град. Сборник статей. — Нью-Йорк: Изд. им. Чехова 1953. (Проф. Б.П.Выше-славцев), 110, с. 254

Шафаревич И.Р.

Социализм как явление мировой истории. См. отд. „Публицистика” Парамонов Борис, 108, с. 253

Шаховской Иоанн, архиепископ

Биография юности. — Париж 1977. (В.Володин), 108, с. 292

„Э х о’ . Литературный журн. №№ 1, 2. Ред.: В.Марамзин, А.Хвостенко. — Париж: 1978. (В.Володин), 110, с. 265

Beurdeley, Michel u. Cecile

Chinesische Keramik. — München: Hirmer-Verl.. 1974. (А. Русак), 110, с. 263

Bossle Lothar

Demokratie ohne Alternative. — Stuttgart: Seewald-Verl. 1972. (С.Кирсанов), 110, с. 258

Khmer. Kunst und Kultur von Angkor. Aufnahmen von Hans Hinz. — München: Hirmer-Verl. 1973. (А.Русак), 110, с. 262

Lullies, Reinhard

Griechische Plastik. Von den Anfängen bis zum Ausgang des Hellenismus. Aufnahmen von Max Hirmer. — München: Hirmer-Verl. 1972. (А.Русак), 110, с. 261

Schäfer, Manfred

Marktwirtschaft für Morgen. Wohlstand als Aufgabe. — Stuttgart: Seewald-Verl. 1972. (С.Кирсанов), 110, с. 258

Steinbuch, Karl

Kurs-Korrektur. — Stuttgart: Seewald-Verl. 1972. (С.Кирсанов), 110, с. 258

Steinbuch, Karl

Die humane Gesellschaft. Jenseits von Kapitalismus und Kommunismus. — Stuttgart: Seewald-Verl. 1972. (С.Кирсанов), 110, с. 258

Windelen, Heinrich

SOS für Europa. — Stuttgart: Seewald-Verl. 1972. (С.Кирсанов), 110, с. 258

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН АВТОРОВ

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Андреев Даниил, 110 | Некипелов Виктор, 107 |
| Андреева Д., 109 | Нечаев Вадим, 108 |
| Афанасьева Зоя, 107 | Олин Ник., 107, 109 |
| Брейтбарт Е., 107, 108 | Опульский Альберт, 110 |
| Вознесенская Юлия, 108 | Охупкин Олег, 110 |
| Володин В., 107, 108, 110 | Павлова Муза, 107 |
| Вышеславцев Б.П., 110 | Парамонов Борис, 108 |
| Гаврилов В., 107 | Петров Роман, 107 |
| Гусаров Владимир, 109 | Подъяпольский Григорий, 107 |
| Данильцев Л., 110 | Райс Эммануил, 107, 108 |
| Дар Давид, 110 | Редлих Роман, 107 |
| Дынин Б., 110 | Редриков Н., 110 |
| Елагин Иван, 109 | Ржевский Леонид, 109 |
| Земцов Илья, 109 | Рудкевич Л., 108 |
| Карабчиевский Ю., 108 | Русак А., 110 |
| Кирсанов С., 110 | Рыбаков В., 107 |
| Комаров Борис, 109 | Соколов Борис, 109 |
| Кононова Н., 108 | Умрихина Светлана, 108 |
| Крамарж К.П., 110 | Чернявский Владимир, 108, 110 |
| Краснов Владислав, 107 | Шток Д., 110 |
| Кривулин Виктор, 108 | |
| Лерт Р., 108 | |
| Найденович Ада, 107 | |

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Тематический указатель охватывает только те материалы, которые посвящены творчеству, мировоззрению или жизнеописанию людей.

- | | |
|--|--|
| Белов. Василий, 110 | Некрасов Виктор, 107 |
| Бровкович Никанор,
архиеп., 107, с. 190 | Нефедов Степан Дмитрие-
вич, 110, с. 140 |
| Булгаков В.Ф., 110,
с. 97 | Редлих Роман, 107 |
| Вознесенская Юлия, 108 | Сологуб Ф., 108 |
| Ворошилов Климент,
110, с. 74 | Тареев М.М., 107, с. 217 |
| Галич Александр, 109 | Толстая Александра, 110,
с. 74 |
| Гинзбург Евгения, 110 | Толстая-Есенина София Ан-
дреевна, 110, с. 64 |
| Голубинский Ф.А., 107
с. 190... | Толстой Лев, 108, с. 221, 110 |
| Гусев Н.Н., 110, с. 83 | Турчин В.Ф., 108 |
| Достоевский, 108 | Храповицкий Антоний,
митрополит, 107, с. 219 |
| Зиновьев Александр, 108 | Шафаревич И., 108 |
| Кудрявцев В.Д., 107,
с. 190 | Шелли Мэри Уоллстоун-
крафт, 107, с. 223 |
| Максимов В.Е., 109 | Шмелев Иван, 107 |
| Маркс Карл, 107, с. 231 | Юркевич П.Д., 107, с. 190 |
| Несмелов В.И., 107, с. 211 | Эрзя, см. Нефедов Степан |

СПИСОК КНИГ ИЗДАТЕЛЬСТВА „ПОСЕВ”

АВТОРХАНОВ Абдурахман

Загадка смерти Сталина (Заговор Берия)

1977, 316 стр.

н. м. 24.—

Прекрасный знаток „кухни” советской верхушки и аналитик действительности, автор изучает официальные и неофициальные советские документы и приходит к поразительному выводу: Сталин не умер естественной смертью — его убили заговорщики! Автор ничего не навязывает читателю: он приводит факты, слухи, расшифровывает недомолвки, а выводы читатель может делать сам. Эта серьезная работа написана исключительно увлекательно и читается как криминальный роман.

Карманный формат. 2-е изд.

Происхождение партократии, т. I, II

Т. I — ЦК и Ленин. Т. II — ЦК и Сталин

1973, 2 т., 1264 стр.

н. м. 64.—

На основании многочисленных документальных данных автор показывает, как „ленинские принципы” превратили большевистскую партию в инструмент единоличной диктатуры; сталинщина — лишь логичное завершение ленинизма. Книга написана живым языком и читается легко.

Карманный формат.

Технология власти

2-е, расширенное издание в 4-х частях

1976, 812 стр.

н. м. 44.—

Этот „классический” труд автора был написан в 1955-1957 годах и выпущен ограниченным тиражом большого формата. Книга давно стала библиографической редкостью. „Переизданию” она, однако, неожиданно подверглась дважды в СССР: в возникшем намного позже ее выхода Самиздате началось ее размножение фотоспособом и путем перепечатки, а для партийной элиты вышло закрытое бесплатное издание в издательстве „Мысль”.

Требования на книгу из России и побудили нас к выпуску второго издания, которому автор предпослал (не обновляя самой книги) развернутое „Введение ко второму изданию” и добавил четвертую часть — „От Хрущева к Брежневу”.

Карманный формат. Убористый шрифт.

Вскоре выходит:

Сила и бессилие Брежнева

Политические этюды о внутренней и внешней политике в брежневский период советской власти.

АЛДАНОВ Марк

Истребитель

1967, 56 стр.

н. м. 6.—

Рассказ о советском гражданине, о Ялтинской конференции и о том, как она отразилась на его жизни; с художественной характеристикой трех главных участников конференции, решавших судьбу мира.

Повесть о смерти

1969, 410 стр.

н. м. 22.—

Это вполне законченное и самостоятельное произведение входит в серию исторических романов Алданова.

АЛЕКСАНДРОВ Ростислав

Письма к неизвестному другу

1951, 191 стр.

н. м. 18.—

Книга издана более 20 лет назад, но и сейчас нисколько не потеряла своей актуальности. Затронутые в ней вопросы — вечны. Отталкиваясь от трагедий наших дней, автор ставит вопросы о сокровенном ритме жизни культур и эпохи, о сущности и ценности искусства, о добре и зле, о смерти, любви и вере. Язык автора образен и выразителен. Философская мысль облечена в художественную форму.

АРСЕНЬЕВ Н.

Дары и встречи жизненного пути

1974, 340 стр.

н. м. 24.—

Книга — мемуары в лучшем смысле слова. Она содержит воспоминания автора о жизни в дореволюционной России, о Московском университете (1906–1910 гг.), об отдельных представителях русской интеллигенции; статьи о выдающихся представителях русской религиозно-философской мысли.

БЕК Александр

Новое назначение

1971, 234 стр.

н. м. 21.40

„Ты обо мне не думай плохо, моя жестокая эпоха” — это тщетная надежда главного героя романа, крупного сталинского сановника, Онисимова. Добровольное, беспрекословное подчинение вождю и обожествление его — вот и вся идеология Онисимова. Во что превращает человека эта идеология и на что способны такие люди — это одна из сущностей сталинщины. А.Бек раскрывает именно эту сущность сталинского периода истории России. Дорога в ад вымощена благими намерениями — вот основная идея романа. Эта идея реализована автором с присущим ему мастерством. В СССР, после смерти автора, выпущено собрание его сочинений. Эта книга, однако, в него не вошла.

Твердый переплет, суперобложка.

БОРОДИН Леонид

Повесть странного времени

1978, 239 стр.

н. м. 24.50

Пять рассказов Л.Бородина — „Встреча”, „Перед судом”, „Повесть странного времени”, „Вариант” и „Посещение” не связаны ни сюжетами, ни персонажами. Но между ними внутренняя, временная связь, ибо в них последовательно отражены кульминационные моменты острых психологических конфликтов между разными людьми, начиная с военного времени и до наших дней. Это книга об ответственности за свои дела.

Леонид Бородин отсидел 6 лет в лагере за членство во Всероссийском Социал-Христианском Союзе Освобождения Народа. Он известен как поэт. Это первая книга его прозы.

БУЛГАКОВ Михаил

Мастер и Маргарита

4-е изд., 1977, 500 стр.

н. м. 31.—

Полный, не сокращенный текст. Выпущенные советской цензурой места напечатаны курсивом. Главная тема этого известного романа — борьба Добра и Зла, борьба света и тьмы.

Твердый переплет с золотым тиснением, суперобложка.

БУНИНЫ И.А. и В.Н.

Устами Буниных

Том первый: Части „До перелома” и „Одесса”

1977, 368 стр.

н. м. 38.—

Тома второй и третий — в подготовке

Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы, под редакцией Милицы Грин. В трех томах. В твердом переплете.

ВАРДИ Александр

Подконвойный мир

1971, 290 стр.

н. м. 18.—

Автор описывает сложный, с внешней стороны кажущийся однообразно серым, мир концлагеря. В нем много групп с разными интересами и отношением к проблемам жизни. Сложность взаимоотношений описана автором с фотографической точностью.

ВЛАДИМИРОВ Леонид

Советский космический блеф

1973, 209 стр.

н. м. 16.—

Космические полеты советских спутников, управляемых кораблей и автоматических межпланетных станций окутаны, как все в СССР, пеленой секретности. Официальная информация, появляющаяся в печати только после запуска, часто неверна и преследует главным образом пропагандистские цели. Книга Л.Владимирова — до 1966 года советского научного журналиста и одного из редакторов журнала „Знание — сила” — впервые воссоздает истинную картину того, как ведутся исследования космоса в Советском Союзе.

Карманный формат.

ВЛАДИМОВ Георгий

Верный Руслан (История караульной собаки)

Большой формат, суперобложка

1975, 176 стр.

н. м. 22.—

Переплет „Скай” с золотым тиснением, уменьшенный карманный формат

1976, 176 стр.

н. м. 17.—

Повесть о трагической судьбе собаки, служившей в конвое, после роспуска лагерей отпущенной на волю, но до конца жизни оставшейся верной внушенному ей людьми долгу. Проникнутая огромной болью и величайшим гуманизмом, отличающаяся глубиной и своеобразием жизненной философии, написанная подлинным художником слова, эта повесть по праву займет место в первом ряду лучших произведений мировой литературы.

ВРАНГЕЛЬ Петр, генерал

Воспоминания

1969, 648 стр.

н. м. 60.—

Воспроизведено из сборника „Белое дело” со всеми схемами и иллюстрациями. Воспоминания ген. Врангеля — лучшая документация о гражданской войне на Юге России. Не прочитав этой книги, невозможно судить об этом периоде русской истории.

Художественный переплет с серебряным тиснением. Увеличенный формат.

ВЫШЕСЛАВЦЕВ Борис

Философская нищета марксизма

3-е изд., 1971, 245 стр.

н. м. 14.70

Борис Петрович Вышеславцев, известный русский философ, высланный в двадцатых годах из Советского Союза, вскрывает несостоятельность советского толкования марксизма и намечает пути к его преодолению. Это классический труд по критике марксизма.

Карманный формат.

ГАЛИЧ Александр

Поколение обреченных

3-е испр. изд., 1975, 304 стр.

н. м. 17.70

Популярность Александра Галича неуклонно растет. Исключение из Союза писателей, вынужденная эмиграция не подорвали ее. „Поколение обреченных” — первый сборник стихов в нашем издательстве, выдерживающий третье издание. Хотя и в старом виде сборник отличался четкостью текстов (несмотря на то, что большинство из них было взято с плохоньких магнитофонных лент), автором внесены в новое издание все необходимые поправки.

Карманный формат.

Генеральная репетиция

1974, 250 стр.

н. м. 16.50

Сюжет произведения составляет история запрещения постановки пьесы А.Галича „Матросская тишина” после просмотра ее генеральной репетиции в Студии Московского Художественного театра. Автор дает широкую картину жизни московских театральных и литературных кругов, с которыми он был тесно связан более тридцати лет.

Карманный формат.

Когда я вернусь

1977, 112 стр.

н. м. 13.—

Книга новых стихов-песен Александра Галича, написанных им в России и уже за границей. Эти песни, полные глубоких чувств к исковерканной, но все же горячо любимой родине — России, уже звучат на ее просторах.

Редактирует Редакционная Коллегия

Главный редактор Н. Б. Тарасова

Адрес редакции журнала «Грани»:

**Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt/M., 80**

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими из произведений, напечатанными в нем ранее, редакция журнала «Грани» выпускает 2 раза в год карманные сборники избранного текста из 7—10 номеров «Граней».

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатанные на тонкой бумаге и содержащие в среднем 512 страниц, легко укладываются в карман или женскую сумочку. Каждому путешественнику — советскому ли за рубежом, иностранному ли в России — ничего не стоит взять их с собой.

Мы обращаемся к нашим читателям в России:

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число наших читателей;*
- просите своих друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!*

Мы обращаемся к нашим читателям за рубежом:

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

Эти сборники сделаны и предназначены для России! Каждый желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ — может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:

**А. Kandaurov c/o «Possev-Verlag»
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80**

К настоящему времени выпущены следующие сборники «Граней»

- ☐ Сборник № 1 — избранное из №№ 87/88-94
- ☐ Сборник № 2 — избранное из №№ 78-86
- ☐ Сборник № 3 — избранное из №№ 71-77
- ☐ Сборник № 4 — избранное из №№ 69-70

Редакция

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:

в издательстве — 48 н. м.

через магазины — 60 н. м.

ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

и

ВОЛЬНОЕ СЛОВО

САМИЗДАТ · ИЗБРАННОЕ

В издательстве: «Посев» (12)
и «Вольное слово» (4) — 75 н. м.
«Посев» (12) — 60 н.м.

Через магазины: «Посев» (12)
и «Вольное слово» (4) — 90 н. м.
«Посев» (12) — 72 н. м.

Доплата за воздушную доставку:

«Посев» и «Вольное слово» зона I — 24 н. м.

зона II — 36 н. м.

«Посев» зона I — 20 н. м.;

зона II — 30 н. м.

I зона — Северная Америка и Ближний Восток

II зона — Южная Америка и Дальний Восток

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:

«ГРАНИ» — 15 н. м. «ПОСЕВ» — 6 н. м.

«Вольное слово» — 6 н. м.

В США и КАНАДЕ, при теперешнем курсе доллара
около двух марок, следует цены, для определения их
в местной валюте, делить на два

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на

Konto 2412755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

или на почтовый счет

Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.